

РАССКАЗЫ  
ЗАРУБЕЖНЫХ  
ПИСАТЕЛЕЙ

Моя артистическая карьера



**РАССКАЗЫ  
ЗАРУБЕЖНЫХ  
ПИСАТЕЛЕЙ**

Мериленд Аллен. *Одержимость*  
Перл Бак. *Мелисса*  
Арнольд Беннет. *Две стороны медали*  
Джеймс Болдуин. *Возвращение*  
Генри Джеймс. *Частная жизнь*  
Вашингтон Ирвинг. *Антрепренер бродячей труппы*  
Джек Иэмс. *Актер*  
Трумэн Капоте. *Дети в день рождения*  
Джеральд Керш. *Поденщик*  
Ирвин Кобб. *Моя*  
Ринг Ларднер. *Один день в обществе Конрада Грина*  
Ринг Ларднер. *Ритм*  
Виктория Линкольн. *Моя артистическая карьера*  
Леонард Меррик. *Кукла в розовом платье*  
Сомерсет Моэм. *Голос горлицы*  
Шон О'Кейси. *Работа*  
Джон Бойнтон Пристли. *Король демонов*  
Джон Бойнтон Пристли. *Мой дебют в опере*  
Роберт Л. Стивенсон. *Провидение и гитара*  
Вирджиния Трейси. *Громовержец*  
Гилберт Кит Честертон. *Алиби актрисы*

*Моя  
артистическая  
карьера*

Москва  
«Искусство»  
1974

Сб 3  
М 87

Перевод с английского  
*Составитель Р. Л. Рыбкин*  
*Послесловие В. П. Марецкой*

М 80105-102 46-72  
025(01)-74

© Перевод на русский язык, издательство «Искусство», 1974

# Мериленд Аллен

## *Одержимость*

У нее теперь нет возраста, ибо она в зените славы. Ее окружает рой поклонников, у нее множество поистине прекрасных вещей. Библиотеку ее загородного дома украшает не одна китайская ваза эпохи Мин, и многие метры венецианского кружева лежат в ящиках ее комода. Она может позволить себе держать симпатичную надежную женщину, единственная обязанность которой — присматривать за ее гардеробом. У нее великолепные туалеты — последнее слово роскоши и элегантности, — против которых не может возразить ни один мужчина, потому что она купила их сама, так же как древнекитайские вазы, венецианские кружева, загородный дом и бесчисленное множество всячины.

Она самая смешная актриса мира — и не в разнузданном воображении своего агента по рекламе, а на самом деле.

Она может рассмешить любого, она смешит всех. Вечер за вечером — в гигантских современных театрах, посещаемых самой широкой публикой, в небольших частных театрах, предназначенных для самой избранной публики, в греческих амфитеатрах, где громовым раскатам смеха вторят далекие голубые горы, в заведениях для слепых, в больничных палатах — везде, всегда она всех смешит. Отупевшего от нищеты поденщика, всецело погруженного в повседневную борьбу за существование, государственного деятеля, живущего в страхе потерять голоса избирателей, угнетенного и подавленного непокорностью наций, а также нескончаемые толпы несчастных — всех их она смешит, всех до одного. Она не имеет равных в своем деле,

а это не так уж часто случается с женщинами. Она самая смешная актриса мира.

Когда она дома — а это бывает редко, — к ней рвутся множество посетителей, она же хочет только одного — уединения. «Знаете ли, мне приходится так много развлекать в театре», — умоляюще говорит она своим капризным голосом, в котором печали не меньше, чем веселья.

Но в это раннее утро ее захватили врасплох. Три девчонки — а они были всего-навсего девчонки — настигли ее, когда она сидела на скамейке там, где бархатный зеленый дерн лужайки ниспадал крутым отрогом, вдалеке среди деревьев вилась серебряная лепта реки. Они остановились перед ней счастливые, но перепуганные, хихикающие, но серьезные. Они запинаясь, бормотали что-то невнятное, извинялись и трепыхались. На подкуп садовника ушла трехнедельная зарплата всех троих. А узнать они хотели только одно: как ей удалось добиться признания и славы, благодаря какому волшебству она стала этим редчайшим существом — самой смешной актрисой мира.

Девчонкам, колышущимся перед ней на сбитых набок каблуках, ничего не стоило задать ей этот вопрос, и им казалось, что ей ничего не стоит ответить на него. Она посмотрела на них своим насмешливо-добродушным взглядом, посмотрела на их глупые, возбужденные, густо засыпанные лиловой пудрой лица, на которых голо, как дверные ручки, торчали носы. Потом ее взгляд спустился по бархатистому зеленому склону к светлой глади реки, чьи извивы поблескивали среди тенистых деревьев.

Думала ли она о той девчонке? Вспоминала ли она, улыбаясь своей загадочной улыбкой, не горькой и не веселой, вспоминала ли она, раскинувшись на скамейке, ту девчонку? Вспомнила ли она, как ей не давала жить одержимость, гнавшая ее вперед, как жалящий бич, и причинявшая боль куда более жестокою, чем подзатыльники, которыми награждала ее тяжелая на руку мать. Одержимость, приказывавшая ей: «Я должна прославиться, должна во что бы то ни стало».

...Она была последней в многочисленном выводке из двенадцати душ, и ей даже не удосужились дать имя. В тот мрачный час, когда она появилась на свет, дул ветер, пропитанный запахом бойни. Он проникал даже в ту душную каморку, где она боролась за первый глоток воздуха, — каморку в одном из беднейших домов трущобного Чикаго. Запеленатая в вонючие тряпки соседкой, второ-

пах вызванной с верхнего этажа, новорожденная в первый раз опробовала свой голос в слабом, но пронзительном писке; может быть, ей не понравился запах, просачивавшийся сквозь плотно закрытые окна и заглушавший затхлые запахи помещения. Как бы там ни было, протест оказался тщетным, потому что соседка тут же отбыла восвояси (ей и приходиться-то не очень хотелось), а безвольная и смирившаяся с судьбой мать отвернулась к грязной, заляпанной стене и не пожелала оказать этому нежеланному ребенку какие-либо знаки внимания.

Первые минуты предопределили ее детство.

Отца она также не занимала. Он приносил домой жалованье, отдавал его жене, а дети его не интересовали. Братья и сестры, рвавшие друг у друга кусок из горла, также не замечали младшую девчонку. И у девчонки, брошенной беспечной рукой судьбы в мрачное житейское море, — где только от нее зависело выплыть или погибнуть — первой сознательной мыслью была мысль о еде и единственным стремлением — наесться досыта. И поскольку полуголодной девчонке всякая еда казалась прекрасной — «плюшка» была первым словом, которое она произнесла. И долго, удивительно долго оно оставалось единственным известным ей словом. Потому ее так и называли в семье и на улице: Плюшка. Лет до десяти Плюшка помнила свою жизнь только отрывочно. Беспощадная борьба за еду, побои, слезы, бесконечные детские болезни, то и дело вырывавшие ее из-под бдительного ока школьного надзора.

Она валялась на полу в темной каморке и глядела на треугольное пятно света, появлявшееся в высоком окне, выходящем в затхлый вентиляционный колодец. Ее очень интересовало, что же это такое — ведь она жила в многоквартирном доме, а не под открытым небом. Постепенно пятно превращалось в шар, светящийся белый шар, который плыл где-то в вышине, неотступно притягивая ее взгляд.

Шар этот был необъяснимо связан с той странной раздрающей болью, которая поселилась в ее груди. Все это было непонятно, удивительно, странно. Она не думала о нем, она не знала, что такое думать. Просто ее мучила странная, ни на что не похожая боль в груди, она приписывала ее голоду и продолжала глядеть на прекрасный мерцающий шар. Поначалу он являлся ей только во время болезни, когда, валяясь на скомканном тряпье, она гляде-



ла в темное окно; потом он стал неизменно присутствовать в ее мечтах.

Когда ей пошел одиннадцатый год, боль в груди усилилась, она встревожилась и стала доискиваться, чем эта боль вызвана.

Через год или два отец ее умер. К этому времени старшие дети вышли из-под материнского контроля, и мать постаралась внушить представителю школьного надзора, что Плюшка умерла. Теперь Плюшка могла без помех помогать семье в отчаянной борьбе за кусок хлеба, и она включилась в нее с присущей ей самоотверженностью. Девчонку взяли судомойкой к Мэвериду.

Грек Мэверик держал в двух шагах от их дома открытую днем и ночью забегаловку, где подпольно приторговывал спиртным. В этой тесной конуре небывалая худоба Плюшки делала ее незаменимой. Обеды, которые она уносила домой в своих красных, разбухших от горячей воды руках, были немалым подспорьем. Потом ее мать взяла жильца и успокоилась на этом, решив, что сделала для семьи все, что могла.

Жилец этот знал лучшие времена. Но они были далеко позади, иначе он никогда не поселился бы у матери Плюшки. Пьянство и распутство превратили человека, весь облик которого прежде отличало незаурядное благородство, в руину. Спина его сгорбилась, руки тряслись, ветхая рваная одежда болталась на нем, как на огородном пугале. Щеки жильца покрывала паутина синих алкоголических жилок, нос походил на мухомор, красные глаза еле выглядывали из-под набрякших багровых век. Голос у него был хриплый, еле слышный, за исключением тех случаев, когда он намеренно повышал его. Тогда голос становился на удивление красивым и звучным, в нем появлялись щемящие душу отзвуки былого благородства.

Однажды вечером, простояв весь день на ногах у раковины, усталая и измочаленная Плюшка, услышав, как жилец что-то говорит громким, звучным голосом, толкнула его дверь и заглянула в щелочку. Жилец стоял посреди комнаты и произносил что-то (девчонка про себя назвала это «куском»). Большой рот Плюшки презрительно скривился — так родилась на свет ее прославленная улыбка. Жилец продолжал говорить: он был под градусом. Немного погодя Плюшка приотворила дверь пошире и вскарбкалась на ящик, куда ее мать ставила свечу.

Жилец продолжал говорить, а Плюшка сидела, зажав в руке свечу, забыв обо всем на свете, и диковинные блики плясали на ее изможденном лице.

Откуда ей было знать, что она была последней слушательницей величайшего шекспировского актера, какого когда-либо видел мир.

В этот вечер озадаченная и посерьезневшая Плюшка, как обычно, заползла на свое место между двумя старшими сестрами; они брыкались, скрипели зубами и храпели, а она снова и снова вспоминала этот чудесный голос и трепетала, повторяя красивые, звучные слова, которые произносил жилец. Она заснула, и ей приснился мерцающий шар света — единственная прекрасная вещь, которую ей довелось видеть за всю свою жизнь; ей казалось, что шар этот выведет ее из тьмы, как бы мучителен и долог ни был этот путь. На заре она проснулась в слезах, ее била дрожь, ей вдруг стала понятна та странная боль, которую она приписывала голоду и пыталась утолить объедками с тарелок мэвериковских клиентов. Она прижала руки к груди и простонала:

— Я должна прославиться во что бы то ни стало!

И слова эти принесли ей облегчение.

Она встала, и с этих пор жизнь перестала быть для нее неосознанной борьбой за пищу, а стала походом, битвой — битвой за то, чтобы прожить один день и дожить до следующего, и так далее, до тех пор, пока длинная череда дней не вытянулась перед ней, как анфилада комнат, которые надо пройти, чтобы достичь той, где находится слава, этот мерцающий шар света — воплощение всего прекрасного, — который ей во что бы то ни стало надо достать.

— Ой, да как же он может так говорить, — то и дело вспоминала она, склоняясь над грязными тарелками у Мэверика.

И в тот же вечер она задала жильцу этот вопрос, предварив его почти нетронутой бараньей отбивной, от которой был отрезан всего один кусок (ее обладателю, предупрежденному о полицейском налете самим Мэвериком, пришлось поспешно смыться).

— Ой, да как же это вы так научились говорить? — спросила Плюшка, облизывая свои длинные тонкие пальцы, хранившие еле уловимые подтеки жира с бараньей отбивной. Жилец сел на ящик, а свечу переставил на пол. Он был трагически трезв — в этот день фортуна от него

отвернулась. Он хищно, как пес, рвал обломками почерневших зубов отбивную.

— Книга меня научила, — сказал он, — и практика, и опыт, и еще кое-что. — Он запнулся. — Тогда это называли гением, — сказал он горько.

Плюшка сделала шагок ему навстречу. Грызущая, ноющая боль в тощей грудной клетке толкала ее вперед.

— Научите меня, — сказала она.

Жилец перестал жевать, его грязная рука с бараньей костью остановилась на полпути ко рту, он уставился на Плюшку. Ученица — у него!

«Ах, вот чего ты хочешь! Ну, не смейся.

Я сумасшедший, взбалмошный старик...»<sup>1</sup>.

Забубённое лицо жильца с распухшим носом, похожим на мухомор, преобразилось. Перед Плюшкой возник седовласый старец — сумасшедший и вместе с тем величественный. У нее перехватило дыхание, слезы потоками хлынули из глаз. Жилец неприятно засмеялся и снова принялся за отбивную.

— Ты думаешь, раз уж я здесь, я стану тебя учить — тебя, тебя! Тебя, оголодавшую подзаборную кошку, — рявкнул он.

Но Плюшка и глазом не моргнула. Ругань ей была не в новинку.

— Ну, предположим, я тебя научу, — глумился он, — а тебе-то зачем это? Что ты с этим будешь делать?

— Я прославлюсь! — воскликнула Плюшка.

Жилец расхохотался. Он смеялся, уронив голову, его распухшее багровое лицо перекошилось, нечесанные волосы встали дыбом. Он хохотал — опустившаяся, жалкая развалина, — с высоты своих воспоминаний глядя на тощую, уродливую трущобную девчонку, которую дерзость делала еще более уродливой.

— Значит, ты думаешь, стоит мне тебя научить — и ты тут же прославишься? Так, что ли? — Даже слова этой подзаборницы он ухитрился повернуть так, чтобы они звучали лестно для него.

Плюшка кивнула, хотя на самом деле она об этом не думала. Те часы, которые она провела, тупо уставясь на вентиляционный колодец, с годами выработали в ней упор-

<sup>1</sup> У. Шекспир, Король Лир, акт IV, сцена 7. Перевод М. Кузина.

ную решимость. Впереди был свет, и она во что бы то ни стало должна его достичь.

Боль, поселившаяся в тощей грудной клетке, толкала ее вперед. Она не думала, что хочет быть актрисой. Она еще не скоро узнала, что такое актриса. Она не знала, кем был жилец.

Нет. Инстинктивно, на ощупь, неосознанно она распознала в нем остатки бывшего величия, угадала в нем обитателя того храма, в который — хотела она того или нет — ей предопределено проникнуть или умереть.

Жилец посмотрел на дочиста обглоданную кость. Сочное жареное мясо благотворно действовало на его изголодавшийся желудок. Мясо. Это слово неразрывно связывалось в его сознании с другим словом, которое обрекло его на гибель, превратило в оборванного попрошайку, вышвырнуло в трущобы, где живут лишь люди, попавшие па дно! Выпивка! Он поднял голову и окинул Плюшку оценивающим взглядом.

— А чем ты мне заплатишь за учење? — спросил он и снова посмотрел на кость.

К счастью для Плюшки, мысль о письме пришла к нему не сразу. Поначалу ему хотелось только одного — добыть пищу и выпивку, особенно выпивку, без особых усилий.

Плюшка перехватила его взгляд, все поняла и улыбнулась — такое облегчение она почувствовала. Она была права, прихватив отбивную, — ей стало ясно, что путь к славе станет короче или длиннее в зависимости от того, удастся ли ей добывать для него еду.

— Я тебе буду приносить еду, — сказала она вкрадчиво, — от Мэверика, — добавила она. Этим она сразу предупредила, что еда будет не первого и не второго сорта, попросту говоря, объедки.

Жилец кивнул.

— И выпивку, — добавил он, следя за ее лицом.

— И выпивку, — согласилась Плюшка.

Так была заключена сделка, которая стала невыносимым бременем для девчонки. Еду она могла красть и справлялась с этим довольно лихо — ведь ее никто не воспитывал, ею руководили лишь природный ум и та боль в груди, которая велела ей ни перед чем не останавливаться и горячо оправдывала кражу. Но с выпивкой дело обстояло не так просто. Выпивку ей негде было красть. За выпивку надо было платить деньгами. А те деньги, что Плюшка по-

лучала у Мэверика, мать отбирала, едва она переступала порог. Если она утаивала хотя бы десять центов, мать давала ей трепку. В последние годы жизни Плюшкина мать не только наловчилась избегать полицейского и школьного надзора, но стала еще и поколачивать девчонку.

Девчонка старалась приносить жильцу как можно больше еды, что же касается выпивки — тут она кормила его обещаниями. Но жилец был неумолим.

— Еда, — глумился он. — А ты помнишь, что говорится в Библии, ты что, не слышала о Библии, а? — Плюшка покачала всклокоченной головой. — Нет? А между тем это стоящая книга, — заметил жилец. Ему в тот день улыбнулось счастье, он был сильно навеселе. — Там есть верные слова, недаром многие считают эту книгу неоспоримым авторитетом: не хлебом единым жив человек. Да, выпивка. Я пью, когда у меня есть возможность, а иногда и когда нет возможности... А ты знаешь, что такое выпивка, ты, подзаборница? Так вот, считается, что, выпив, человек может показать, на что он способен, но я тебе ничего не стану показывать, пока ты мне не притащишь выпивку. А теперь убирайся!

Плюшка ушла и, рано постигнув суровую мудрость нищих, унесла еду с собой. Этого жилец никак не ожидал, тут он впервые почувствовал уважение к Плюшке (если он вообще был способен на такие чувства).

Пристроившись за бочками на повороте аллеи, Плюшка утешилась как могла, съев в одиночку все объедки, и стала ломать голову над тем, как же ей все-таки раздобыть выпивку, раз уж она должна учиться и раз уж другого учителя, кроме жильца, ей не найти.

Тут она услышала топот, потом крик и звуки ударов. Очень осторожно, как и подобает ветерану здешних мест, Плюшка выглянула из-за бочки. Она увидела рыжего Дэна, что торговал газетами у лавки Джера Дули; он изо всех сил тузил мальчишку, который был куда больше его. Большой мальчишка плакал.

— Да газетами кто хошь может торговать, — вопил рыжий Дэн, вбивая науку могучими ударами кулака. — Слышишь ты — кто хошь!

Плюшка незаметно выползла из своего укрытия. Рыжего Дэна она зауважала еще больше, судьба другого мальчишки ее нисколько не занимала. Теперь она знала, откуда добудет деньги на выпивку. Значит, все свободное

от ученья время ей придется работать; значит, ее будут бить еще сильнее; значит, ее будет одолевать нещадная усталость. Но она продавала газеты и покупала выпивку.

Ее мать не знала, где она пропадает. Деньги от Мэверика доставались ей сполна, а остальное ее не интересовало. Жильца тоже не интересовало, как Плюшка добывает выпивку: он ее получал — на остальное ему было наплевать.

Поначалу уроки его забавляли — длинная, неуклюжая, полуголодная, замордованная девчонка так живо преобразилась в сцены все, о чем он рассказывал. Насытившись обедами от Мэверика (он давно перестал быть разборчивым), взбодренный принесенной Плюшкой выпивкой, жилец получал какое-то извращенное удовольствие, позируя перед девочкой. И он играл прекрасные пьесы, как мог играть только он, и глумливо наблюдал за сменой выражений на ее грязном лице. Да, он несомненно был волшебник. В прошлом он был мастером первой руки, подлинным гением в редком искусстве творить иллюзии. Он заставлял Плюшку подражать ему, орал на нее, проклинал, колотил, надрывался от хохота, снова пил и снова заставлял ее играть.

Вечер за вечером, едва не валясь с ног от усталости — ведь ей приходилось вставать еще затемно, — она приносила наполненную до краев тарелку и непочатую бутылку в комнату жильца и, переставив свечу на пол, садилась на упаковочный ящик. Обеспечив себе хороший прием, она вечер за вечером попадала в общество воинов и любовников, королей и кардиналов, королев, шлюх и воров. Если бутылка за десять центов была недолита на два пальца, жилец укорачивал уроки. Поначалу Плюшка пыталась его улестить:

— Ой, давайте, сыграйте мне Ромео на улицах Мантуи!

Но жилец никогда не был пьян настолько, чтобы согласиться хоть на малейшую побрякушку.

— Да, оборвашка, я Ромео, спору тут нет. Но бутылка недолита.

И она больше не пыталась нарушать установленный им порядок. Она твердо усвоила горький урок, и, если продажей газет не удавалось добыть денег на полную бутылку, смотрела неприятным фактам в лицо и, не заходя к жильцу, прямо ложилась спать.

Может, именно эти редкие моменты передышки и помогли ей выжить.

Жилец уже несколько лет давал ей уроки, когда ее мать умерла и была похоронена на «земле горшечника»<sup>1</sup>. Плюшке удалось оставить за собой две комнаты их убогой квартиры, и весть о кончине хозяйки так и не дошла до отуманенного выпивкой сознания жильца. Узнай он об этом, он бы смылся, чего Плюшка сильно опасалась, ибо лишилась бы своего единственного шанса пробиться. Она не знала жильца. Знай она его, все могло бы обернуться по-другому. Но он никогда не был для нее человеческим существом, он был лишь орудием, средством для достижения великой цели.

Братьев ее раскидало по свету — кто попал в исправительные колонии, кто в другие тому подобные места. Плюшка не знала, где они; по правде говоря, ее это несколько не интересовало. Ее не приучили думать о других. Ее ничему никогда не учили. Мысль о том, что она должна прославиться, мелькала во всех ее мечтах блуждающим огоньком, она росла вместе с ней, причиняя невыносимую, непрекращающуюся боль, утихающую лишь в те моменты, когда Плюшка чувствовала, что идет стремительными шагами к цели.

Она по-прежнему продавала газеты — некрасивая, неуклюжая, долговязая девчонка в коротких не по росту лохмотьях — и батрачила у Мэверика, добывая еду для жильца, чтоб он учил ее и она прославилась.

Поначалу его интересовала только еда и выпивка, особенно выпивка, но постепенно в нем появилось что-то новое. Правда, Плюшка не заметила этой перемены. Она думала только об одном — жилец должен ее учить, и тогда она прославится. Жилец кричал на нее и раздавал тумачи, перемежая их взрывами свирепого сардонического хохота.

— Господи, — кричал он, — если б Нойз ее видел!

Нойза этого он, как видно, презирал всей душой. В третьей стадии опьянения он никогда не учил Плюшку, а только поносил своих врагов, и на долю Нойза доставались самые нелестные выражения. Именно он, втолковывал жилец Плюшке, которая слушала его, скрючившись на старом ящике, именно Нойз был причиной всех несчастий жильца. Не будь Нойза — а за этим именем всегда следовал поток тягчайших проклятий, — он был бы в ореоле славы, этом предмете вожделенных мечтаний Плюшки. Не

<sup>1</sup> Земля, где хоронят бедняков и людей без роду и племени (Евангелие от Матфея, 27, 7).

будь Нойза, он играл бы в своем собственном театре, ездил бы в лимузине, носил бы бриллианты, угощал бы друзей на собственной золотой посуде.

В трезвом виде он не занимался с ней, бывал мрачен, ожесточен, недоволен жизнью, без конца ругался — страшно и, на удивление, изобретательно. В такие минуты он обвинял Нойза в самых тяжких грехах.

Как-то вечером Плюшка следила за жильцом, выжидая момент, когда он перестанет ругаться и приступит к урокам.

— Да на вашем месте, — сказала она наконец, — если б мне кто так насолил, как вам этот самый Нойз, я б уж нашла, как ему досадить. Я б уж с ним свела счеты, ей-ей, а не стала бы разговоры разговаривать.

— Как же, как же, оборвашка, уж ты бы свела, — сказал жилец и отхлебнул из бутылки. — Кому и свести, как не тебе. Ты у нас, ни дать ни взять, вылитая королева Екатерина<sup>1</sup>.

И ежевечерний урок начался под обычный аккомпанемент проклятий, тумачков и злобного хохота. К концу урока жилец достиг третьей стадии опьянения, — а она неминуемо наступала, когда бутылка подходила к концу, — и устался на свою ученицу.

— Да, уж ты бы отомстила! А что, разве нет? — повторял он снова и снова. — Отомстила бы ты?

С этих пор он переменился. Ее слова разбудили его ненависть, и она стала расти как на дрожжах. Он стал интересоваться обучением. Это с благодарностью отметила и сама девчонка. Плюшка подумала, что та грубая шелуха, от которой ей необходимо избавиться, чтобы стать знаменитой, начала спадать. Время шло, и с каждым вечером жилец ругался все меньше и меньше, тумачки раздавались все реже, а смех его стал звучать чаще.

И Плюшка, которая вот-вот должна была превратиться из подростка в девушку, так же как и жилец вот-вот должен был расстаться со своей подорванной выпивкой жизнью, удваивала свои старания.

Она понимала, что жить ему осталось недолго, белая горячка стояла на пороге. Понимала, что после его смерти

<sup>1</sup> Екатерина Арагонская, первая жена Генриха VIII, героиня пьесы Шекспира «Славная история жизни короля Генриха VIII» (написанной, очевидно, в соавторстве с Флетчером). Женщина характера гордого и сильного.



ей уже не придется учиться, останется лишь попытать счастья. И вот в один прекрасный вечер, играя сцену с сонным питьем, она вдруг почувствовала, что перевоплотилась в страстную красавицу Джульетту; она забыла обо всем, увлеченная любовной трагедией, когда голос жильца вернул ее к действительности.

— Да остановись ты, бога ради, остановись! — вопил он. — И как только ты так можешь? Ты что, не понимаешь, что человеческому терпению есть предел, ты, подзаборница?

Он едва не свалился с ящика. Глаза его чуть не выскочили из орбит, а лицо в прыгающих отсветах свечи исказилось до неузнаваемости. Позже, в своей другой жизни, Плюшка привыкла к такому выражению чувств, ей случалось видеть его на самых разных лицах. По правде говоря, потом она даже удивлялась, не видя его. Но в ту пору она еще не понимала, что оно означает.

Ей показалось, что жилец прервал ее, потому что был потрясен ее игрой, и Плюшка была вне себя от счастья. Впрочем, Плюшка не ошиблась — так оно и было. Но потрясения бывают разными.

Назавтра жильца лихорадило, он непривычно быстро приступил к уроку и так же быстро его закончил, после чего свалился на тюфяк в углу и велел Плюшке принести свечу.

— Я тебе оставлю одну идею, подзаборница, — сказал он. — Вряд ли я тебя еще увижу. Смерть разрывает все узы. А те, что связывали меня с тобой, были очень материальными, замарашка, весьма, весьма материальными. Благодаря тебе я хлебал эту отраву из бутылки забвения. — И он захохотал. — Шекспировская актриса — ты! — И он снова захохотал, и хохотал долго, не в силах остановиться. — Но я о тебе не забыл, — продолжал он. — Кроме той науки, которую я в тебя вколотил, я оставляю тебе и еще кое-что. Смотри.

Пошарив за спиной, он протянул ей квадратный конверт.

— Отнеси письмо вот по этому адресу, — сказал жилец, — и посмотри, что предпримет этот джентльмен, — оп снова разразился хохотом. — Нойз, — завопил он, и из его слабеющих уст полился поток ругательств. Плюшка вышла из комнаты, ни разу не оглянувшись на жильца, она была настолько раздавлена усталостью, что даже не посмотрела на письмо, зажатое в ее грязной руке.

Наутро жилец умер. Его тоже похоронили на «зем-

ло горшечника», неподалеку от его прежней квартирохозяйки.

После вторых похорон Плюшке пришлось расстаться с прибежищем, которое она, не зная более подходящего ему имени, называла домом. Она решила поставить на кон псе долгие годы так тяжело доставшегося ей обучения. И, зная, какой ценой она их купила, понимала, что не может провалиться. Она развернула газету, вынула из нее конверт, полученный от жильца, и внимательно изучила адрес.

Плюшка умела читать и писать, переняв эту науку от одного из официантов у Мэверика, который к тому же помогал ей красть объедки, столь необходимые для уплаты за артистическое образование. Наблюдая за тем, как Плюшка утаскивает каждый день груды еды, официант не переставал удивляться, почему она остается все такой же тощей, и продолжал крутиться около нее в надежде стать ее любовником, если она когда-нибудь поправится. Но даже если б чудо и свершилось, услужливый официант все равно бы остался с носом. Идеалом Плюшки была королева Екатерина; Клеопатра — образцом роковой соблазнительницы.

Следуя урокам доверчивого хлебодара, Плюшка бегло прочла па конверте: «Артуру Пейсону Нойзу, Национальный театр»,— и с присущей ей твердостью и решительностью тут же отправилась по адресу. Она сказала привратнику, дремлющему на сломанном стуле у входа, что у нее письмо к мистеру Нойзу. Привратник, увидев большой шикарный конверт, надписанный изящным почерком, привстал со стула, пропустил ее и снова плюхнулся на место.

Плюшка очутилась в странном помещении, напоминающем сарай,— не то в комнате, не то в коридоре, слабо освещенном единственной электрической лампочкой над дверью. Она не спеша огляделась. Если мистер Нойз живет тут, значит, это невелика птица и волноваться нечего. К тому же она хочет прославиться, а больше ей ничего не нужно.

— Ну-ка, ну-ка,— раздался резкий голос— Говори, зачем пришла. Нам не нужны статисты. Мы не помещали объявлений. Во всяком случае, в этом году нет.

Из темноты появился приземистый толстяк. Это был светлый блондин с шегольской прической и круглыми глазами навывкате, казалось, они того и гляди выскочат от

изумления. Плюшка смотрела на него в упор. Она знала, что рождена для славы, а славе присуще достоинство, которого начисто лишен простой успех.

— А я вовсе не статистка,— ответила она.— Я пришла к мистеру Нойзу.— И она снова предъявила большой квадратный конверт. Он представлялся ей ножом, с помощью которого она надеялась выковырять из грубой скорлупы эту устрицу, всемирную славу.

Человек разинул рот от изумления и пристально посмотрел на нее.

— Идем,— сказал он.

И Плюшка пошла за ним по узкому проходу; сначала они свернули направо, потом спустились на пять ступенек, пересекли узкий вестибюль, поднялись на три ступеньки — Плюшка на всю жизнь запомнила эти нечетные цифры — и остановились перед закрытой дверью. Толстяк постучался и, не дожидаясь приглашения, открыл дверь.

— Здесь одна особа, которую, я думаю, ты примешь,— объявил он, становясь перед Плюшкой и загораживая собой комнату.— У нее письмо от...— Тут толстяк понизил голос и что-то тихо пробормотал.— Совершенно точно,— сказал он громко после короткой паузы.— Я его лапу всегда узнаю. Тут сомнений быть не может.— Он распахнул дверь настежь, посторонился и оглядел Плюшку.— Входи,— сказал он.

И она вошла. Бесподобно. Ее походка воспета в поэмах.

Она вошла к квадратную комнату с цементным полом и грубо оштукатуренными стенами. Но Плюшка ничего этого не заметила по трем причинам: из-за ковра, застилавшего пол, четырех картин на стенах и человека, который смотрел на нее.

Плюшка и этот человек вперились друг в друга с внезапным жгучим интересом. Он был гением в своей области, она — ничуть не меньшим — в своей. И инстинктивно они отдали дань непостижимому и яркому таланту друг друга.

— Он пишет, что вас зовут просто Плюшка, это правда? — Человек кивнул на письмо жильца, и тут она поняла, что это и есть Артур Нойз. И что он гений.

— Да,— ответила она.

— Он говорит, что именно такая шекспировская актриса, как вы, нужна мне.— Нойз снова кивнул на письмо.— Вы читали Шекспира?

— Всю дорогу,— ответила Плюшка. Может, королева

Гкатерина дала бы другой ответ, но как он был произнесен!

— Подойдите сюда,— Нойз указал на середину восхитительного ковра,— и сыграйте сцену с сонным питьем.

Плюшка вышла вперед.

Может, вам выпало счастье видеть ее. Если так, вы ведь знаете: ей достаточно сделать шаг вперед—и она готова.

Она встала в позу, она забыла обо всем. И вдруг она услышала голос жильца, он кричал:

— Остановись, бога ради, остановись! И как тебе это только удастся? Ты что, не знаешь, что есть предел человеческому терпению, ты, подзаборница? — Она замолчала, смущенно уставясь в пространство, ища глазами растерзанную фигуру старика, скрючившегося на ящике. И вдруг вспомнила, где она. И тут она увидела, как человек в клетчатом костюме привалился к стене. Челюсть у него отвисла, глаза выскочили из орбит, а лицо страшно перекошилось — так часто бывало с жильцом.

Плюшка посмотрела на Артура Нойза. Лицо его было блее письма в его руке, темные глаза расширило страдание, словно ему только что неожиданно нанесли смертельный удар.

— Ко мне, Крам! — закричал он так, словно в комнате не было никого, кроме них двоих.

Р! Крам кинулся к нему.

— Ну что ты об этом думаешь? — спросил Нойз, а Плюшка стояла и слушала.

— Я... я, — в изнеможении бормотал Крам.— О господи,— простонал он,— это выше человеческих сил. Но какая техника!

— Да, техника,— услышала Плюшка голос Нойза,— так учить мог только он. И учил не один год, это совершенно ясно. Но послать ее ко мне! Шекспировская актриса для меня! Так оскорбить...

— Нет, это выше моих сил, босс,— снова повторил Крам.—И все же... О господи...— Тут спина его затряслась.

— Позвони Майеру,— неожиданно предложил Нойз.

— Майеру? — Крам несколько поутих, но Плюшка заметила, что он крайне удивлен.— Уж не хочешь ли ты сказать, что ты собираешься... Да после этого? Да она же все наперед знала. Ты только посмотри на нее. Классная проделка!

Оба одновременно обернулись и посмотрели на Плюшку, которая невозмутимо стояла в другом конце комнаты. Она была просто великолепна.

— Да, проделка бесподобна,— сказал Нойз.— И грош цепа мне была б, если б я этого не признал.— Тут он понизил голос, и теперь Плюшка слышала только отдельные слова.

— Такой талант... раз в столетие... свести с ним счеты. На это он не мог рассчитывать... начать все сначала... никакого возврата... Пусть сам в этом убедится. Позвони Майеру.— И он повернулся к Плюшке.

— Садитесь, пожалуйста,— сказал Нойз любезно.— Я послал за человеком, который может дать вам ангажемент.

Она ответила ему таким безмятежным взглядом, что он удивился. Во взгляде ее не было ни нервозности, ни игривости. Реакция этой маленькой аудитории, состоящей всего из двух человек, не удивила ее, она осталась спокойной. Она так долго трудилась над тем, чтоб добиться славы, что теперь ее интересовала только суть, а не разговоры вокруг да около. О Плюшке она в это время не думала. Как, впрочем, и всю свою жизнь. Она думала только о том, чего она дождалась: в конце длинного туннеля ей забрезжил свет.

Не прошло и минуты, как Нойз сказал:

— Это мистер Майер.

Вошедший смерил ее оценивающим взглядом.

Плюшка поклонилась мистеру Майеру, дебелому, кричаще одетому мужчине с толстыми волосатыми руками. Майер посмотрел на Нойза и покачал головой. Плюшка поняла, что они уже говорили о ней.

— В глаза не видел,— сказал мистер Майер.

— Повторите, пожалуйста, сцену,— предложил Артур Нойз.— Теперь,— добавил он вежливо,— вас не прервут.

И Плюшка снова с головой окунулась в шекспировские страсти. На этот раз, несмотря на шум и беспорядочное многоголосье, она довела сцену до конца. «Иду к тебе. И за твое здоровье пью, Ромео!» Она упала навзничь и с минуту лежала, глядя на божественные краски ковра.

— Го-о-осподи боже! — выдохнул мистер Майер, и Плюшка вскочила.

Она увидела, что он сидит, раскачиваясь на стуле, у которого стоял, когда она начала сцену. Его толстое лицо побагровело, в глазах стояли слезы. Но Артур Нойз не из-

менялся. С выражением смертельной обиды на бледном лице, он стоял, прислонясь к столу, прямой и стройный.

— Меньше двух сотен в неделю для начала ей нельзя предложить, — сказал он, словно был наедине с Майером.

— Нет, нет, нет, ну уж нет, — выдохнул Майер, вытирая глаза. Он встал и неожиданно почтительно поклонился Плюшке, продолжая утирать глаза своими волосатыми, ширококостными руками. Оба мужчины, явно не новички в театре, имеющие за плечами большой и нелегкий опыт, дали самую высокую оценку ей, приняв ее за опытную актрису. И это было самой высокой оценкой педагогического таланта жильца.

— Я заправляю государственным театром, мисс, — сказал Майер. — Приходите сегодня вечером в семь. Вряд ли вам стоит репетировать. Ну уж нет, нет, нет! А теперь, может быть, — сказал он, окинув ее оценивающим взглядом с головы до ног, — может быть, вы позволите проводить вас в ваш отель?

Плюшка ответила ему безмятежным взглядом — так непоколебима была ее вера в жильца и его уроки.

— Я буду у вас в семь, — сказала она. — Нет, спасибо, не надо меня провожать.

Она ушла из театра и просидела в маленьком сквере напротив до назначенного часа.

Потом она прошла к актерскому входу, предъявила карточку мистера Майера и вошла. В театре ее тут же провели в уборную, где ее ждала уютная, пожилая женщина. Вскоре в уборную вихрем ворвался мистер Майер.

— Ну-с, вам, конечно, известно, что вы будете участвовать в обзрении, — объяснил он, почтительно потирая руки, чего Плюшка по неискушенности никак не оценила.

Она кивнула в знак согласия.

— Мы смешим людей, — сказал мистер Майер. И Плюшка снова кивнула: она не понимала, что такое обзрение, и его слова ничего ей не объяснили. Пока Лифи одевала ее, Плюшка сидела притихшая и молчаливая. После тяжелых голодных годов, ушедших на мелкие, но насущные житейские задачи, ей наконец засиял свет. Все эти годы она была занята так, что не успела заметить, как превратилась из ребенка в женщину. В жизни она знала только одно — свою жгучую одержимость, себя же она не знала вовсе.

Майер подошел к ней и взял за руку. С его бледного большого лица тек пот, казалось, его ужасает спокойствие

Плюшки. Он вывел ее из уборной, провел через толпу мужчин и женщин в странных одеяниях, с красиво и диковинно размалеванными лицами, которые глазели на нее. Какая-то женщина покачала головой. Мужчина сказал: «Убей меня бог! В глаза ее не видел». И тут Майер вытолкнул ее на яркий свет.

— Начинайте, — прохрипел он, — ступайте туда и начинайте.

И Плюшка повиновалась. Она вышла на ослепительный свет, который так давно и неотвратно притягивал ее. Пришла ее пора. Яркий свет, бьющий в лицо, вскоре превратился в огонь свечи, стоявшей на ящике в той далекой комнате, и она перенеслась в волшебную страну, созданную воображением. И только когда Джульетта, выпив яд, упала наземь, она услышала рев толпы. Крики жильца: «Остановись, остановись ты, бога ради...» — усиленные в миллион раз. Вот что она услышала.

Плюшка медленно приподнялась на руках, ошеломленно вглядываясь в этот яркий свет, который причинил ей столько мучений и который столько лет манил ее. Когда глаза ее привыкли к свету, она различила лица, поднимавшиеся рядами до самой крыши. Смеющиеся лица, багровые лица, лица, орошенные слезами, лица с выпученными глазами, перекошенные той же странной гримасой, которую она замечала и раньше, сотни лиц, громоздящихся полукружьями друг над другом. Но все эти лица объединяло одно — они смеялись.

Она поднялась на колени и так и застыла на четвереньках, вглядываясь в зал.

Хохот! Громовые аплодисменты перекатывались оглушительными волнами, то затихая, то снова вздымаясь. Крики: «Еще, еще!» — терзали ее слух, попеременно с криками: «Остановитесь, остановитесь, сил больше нет!»

Наконец занавес упал, отделив ее от зала стеной, и шум заглох. Майер подошел и поднял ее. Он еле шел — так его разморило от смеха.

— Даже Нойз, — выпалил он, — сам Нойз смеялся. О-о-о-о госпа-ади боже!

И тут Плюшка перевела взгляд на окруживших ее мужчин и женщин. Это были те же люди, что глазели на нее, когда она шла на сцену, но теперь они смотрели на нее совсем иначе!

— Нет, нет, ни слова критики, — воскликнула какая-то женщина. — Она не имеет себе равных! Такие, как она,

появляются раз в столетие, чтобы служить образцом для всех нас.

— Майер, — кричал какой-то мужчина, — Майер, почему она не идет на сцену, она сорвала представление!

Плюшка спокойно и невозмутимо ушла от них. И вскоре — ей показалось, что не прошло и минуты — Лифи взяла ее за руку.

— Мистер Майер снял для вас апартаменты в этом отеле, — сказала она. — Не хотите немного поесть, мисс?

— Поесть? — Плюшка за всю свою жизнь ни разу не наелась добыта. Да она всю свою жизнь только и делала, что раздобывала еду для жильца, чтоб он учил ее, как добиться славы. Лифи поднесла ложку горячего супа к ее губам, и она тут же проглотила. Добродушная костюмерша подносила ей кусок за куском с роскошно накрытого стола. Она ела, и сытная пища способствовала активной работе мысли. И тут она увидела Артура Нойза — он стоял, прислонясь спиной к двери. В его глазах была жалость, сочувствие, удивление и еще какое-то чувство. Тогда она не поняла, что это за чувство. Потом из него родилась любовь, которую они пронесли через всю жизнь. Однако этому нет места в нашем рассказе.

— Расскажите мне, — начал он, — как вас зовут, где вы живете и кто те, кто любит вас? — Тут он запнулся и слегка отступил от двери. — Не надо так, — попросил он. А ведь она только посмотрела на него и улыбнулась. Но тут же ее пронзила мысль, что его вопросы охватывают всю жизнь женщины. Имя, дом и тех, кто ее любит. А у нее — у нее нет имени, она даже не знает, как звали жильца. И она с удивлением оглядела свою развившуюся фигуру, свои женские руки. И увидела себя тощей, оборванной, растрепанной девчонкой, ступающей по туго натянутому канату над темной пропастью вслед за плывущим где-то перед ней сверкающим шаром, который манит ее за собой. И вдруг прекрасный шар лопнул, и девчонка падает все ниже и ниже под громовой хохот бесконечных рядов лоснящихся белых лиц... и пробуждается женщиной.

— Расскажите мне о себе, — нежно попросил Артур Нойз.

И она рассказала — просто и прекрасно. Она знала Шекспира, только этому языку ее и учили. И так, Нойз узнал, как она стала орудием в руках человека, который смертельно ненавидел его. И, слушая ее, он в ужасе размышлял о том, как из всего этого мрака и грязи, из опу-



стошающей злобы жильца появилось это редчайшее из человеческих существ — женщина, которая может заставить смеяться весь мир.

— Он всегда ненавидел меня, — сказал Нойз. — Я сказал ему, что он променял свой талант на пьянство, он так никогда меня и не простил. Где он сейчас?

— Сейчас? — Плюшка уставилась на него в изумлении. Она вдруг поняла: он думает, что жилец сегодня был здесь, в государственном театре.

— Сейчас? — повторила она. — Да он же умер.

Нойз целую минуту приходил в себя.

— А что вы будете делать? — спросил он ее. — Послужит ли вам отправной точкой ваш блестящий дебют? Пойдете ли вы по этому пути?

Он не смел сказать ей, что ни в каком другом жанре ей не достичь успеха — после рассказанной ею истории это было бы бесчеловечно. Он ждал ее ответа с любопытством и не без некоторого страха. Ему казалось, что ответ будет истинной проверкой ее таланта.

Она подняла на него глаза — в них было столько печали и радости, горечи и веселья!

— Да, мой дебют послужит мне отправной точкой, — сказала она и невольно поднесла руку к груди. — Ведь другого пути у меня нет. Понимаете ли, — сказала она с юмором, трогавшим сильнее слез, — я ведь должна прославиться. — И на губах ее появилась улыбка, от которой ему стало горько, улыбка, которую так любит мир, готовый отдать все, лишь бы увидеть ее.

...Самая смешная актриса своего времени оторвала взгляд от реки, струившей воды за деревьями, и посмотрела на хихикающих перепуганных девчонок.

— Раскрыть секрет славы, — сказала она, — нельзя. Каждый должен сделать это сам. Так что позвольте мне вместо секрета предложить вам чай.

# Перл Бак

## *Мелисса*

— Дорогая, как ты теперь себя чувствуешь? — спросила тетя Мелиссу.

— Хорошо, тетя, — ответила Мелисса.

Тетя замешкалась.

— Я бы осталась, если бы могла... Ты не уверена...

— Нет, все в порядке, тетя Мэри, — сказала Мелисса. — Это же не первый мой спектакль.

В зале театра было темно. Тетя Мэри склонилась к Мелиссе и поцеловала ее.

— Ты прекрасно знаешь свою роль, я говорила режиссеру.

— Она легкая. И режиссер мне очень нравится. Хорошо, что он молодой.

— Это его первый спектакль на Бродвее. Надеюсь, все пройдет хорошо. Не думай, Лисса, что я могу потратить заработанные тобой деньги на что-нибудь, кроме твоего образования. Помни об этом, Лисса...

— Я знаю, тетя Мэри.

На этот раз ее тетя что-то уж очень замешкалась.

— Когда ты сидишь здесь, в этом большом пустом зале, одна-одинешенька, ты мне кажешься такой крошечной! Не лучше ли тебе перейти вперед, поближе к сцене?

— Мне здесь нравится, тетя Мэри.

Тетя вздохнула.

— Ну что ж, ладно, дитя мое. Я приду за тобой в семь часов. Вот твой завтрак — сэндвич с ореховым маслом и джемом. Можешь попросить импресарию, когда он пойдет пить кофе, купить тебе кока-колу. Где твои два пятицентовика?

— У меня в кошельке.

— Прощай, дитя мое.

— Прощайте.

Тетя на цыпочках пошла к выходу, а Мелисса поудобнее устроилась в кресле. Для своих десяти лет она была мала ростом и очень худа. Она была шатенкой, но в пьесе речь шла о белокурой девочке, и тетя покрасила ее волосы в серебристо-платиновый цвет; теперь Мелисса чувствовала себя так, как будто она и в самом деле девочка из пьесы, волшебное дитя по имени Мелодия. Ей нравилась роль, она быстро запомнила слова:

« — Ты влюблена, мама? И поэтому ты так счастлива?

— Нет, Мелодия, я не влюблена и поэтому счастлива.

— Но мне казалось, любовь делает людей счастливыми...

— Мне она причиняет только горе».

Мелисса не помнила своей матери, а тетя Мэри не любила говорить о ней. Тетя Мэри была младшей сестрой ее матери.

Отец Мелиссы умер не очень давно: его она хорошо помнила — высокий, стройный, с темными волосами, темными, как у режиссера, глазами и, совсем как у него, мягким голосом.

Сейчас режиссер расхаживал по сцене, мелом помечая на ней определенные места. Импресарио следовал за ним по пятам. Они разговаривали, но со своего места Мелисса не слышала о чем. Импресарио был уже старик. Он ни разу не говорил с нею. Она бы ни за что не стала просить его купить кока-колу, если бы не обещала тете Мэри, что никогда не выйдет на улицу ни одна, ни в сопровождении кого бы то ни было. Ее оставляли в театре одну, и она должна была оставаться здесь до тех пор, пока за ней не придут.

Ослепительно белый свет верхних прожекторов падал на сцену. А вокруг, над всеми креслами, вплоть до сводчатого потолка, распростерлась тьма. В прошлом году Мелисса играла в этом же театре, и все время ей казалось, что в темноте одна из огромных, свисавших с потолка люстр сорвется и похоронит ее под осколками разбитого стекла. Но в прошлом году она была совсем маленькая, ей было всего девять лет, гораздо меньше, чем сейчас. Тем не менее она взглянула вверх и увидела, что сидит прямо

под тяжелой центральной люстрой. Мелисса встала и направилась в третий ряд.

Молодой режиссер обернулся.

— Уже здесь, ранняя пташка! — воскликнул он.

— Доброе утро, мистер Кин, — ответила Мелисса.

Он снова занялся делом, и она вдруг почувствовала себя одинокой. Ей хотелось, чтобы он снова заговорил с ней, но она, конечно же, знала, что актер не должен отрывать от работы режиссера-постановщика. Это позволено только «звезде». И Мелисса тихо сидела, наблюдая за ним. Теперь, когда она была близко от сцены, она видела его слегка оттопыренные уши. Наконец он кончил делать отметки мелом, выпрямился и вытер руки. Потом легко спрыгнул со сцены и сел рядом с ней. Она улыбнулась ему.

— Да знаете ли вы, какая вы прелесть? — спросил он.

— Я думаю, что и вы прелесть, — ответила она.

— Спасибо, — сказал он таким тоном, будто она была взрослая.

— У вас есть дети, мистер Кин? — спросила она.

— Еще нет, — сказал он. — По совести говоря, у меня еще и жены нет.

— О, мне бы так хотелось, чтобы у вас были дети, — вежливо сказала она. — Они приходили бы сюда на репетиции, и мы бы играли вместе, — разумеется, совсем тихо.

Он рассмеялся.

— Ну разве вы не малютка из старинной сказки?

— Не знаю, — сказала она. — А это не значит, что вам не нравится, как я играю свою роль?

— Мне безумно нравится, — возразил он. — А вчера вы были сказочно прекрасны, просто сказочно! Как только я увидел вас, я сразу понял, что вы как раз та девочка, которая нам нужна.

— Спасибо, — сказала она.

Он снова рассмеялся, как будто она сказала что-то очень забавное, потом с любопытством взглянул на нее.

— Это ваша мама привозит вас сюда и приезжает за вами?

— Нет, это моя тетя Мэри.

— А мамы нет?

— Она уехала куда-то, когда я была ребенком.

— И папы нет?

— Он умер.

— Когда вы были ребенком?

— Но я помню его.

Она подумала, а не сказать ли ему, что он напоминает ей ее молодого отца — такой же высокий, стройный, ласковый, — но оробела.

— Вы приходите сюда и остаетесь здесь на весь день? — спросил он.

— Я к этому привыкла. — Она поправила спюю коротенькую юбочку. — Я играю уже три года. Вам хранится мое платье?

— Очень миленькое, — ответил он. — Юбочка будто сшита из лепестков цветка. И сами вы как цветок, ей-богу, цветок с бледным маленьким личиком, оправленным в сияние серебра. Вы когда-нибудь играли на солнышке?

— Когда я работаю, нет, — сказала она. — Мне рано приходится ложиться спать. Моя тетя не разрешает мне вставать с постели до самой репетиции, даже если я уже проснусь. А между репетициями я готовлю уроки.

— У вашей тети есть еще дети?

— У нее нет даже мужа. Она работает.

— Кем?

— Секретарем.

— А вы не хотите работать секретарем?

Она взглянула на него, не шутит ли он, и решила, что шутит. Она рассмеялась.

— Я же актриса, так как же я могу хотеть быть секретарем?

— Логично. Но почему вы актриса?

— Моя мама была актрисой. Она пела и танцевала. Она была «звездой».

— Была?

— Она вышла за кого-то замуж. В Англии.

— И вы никогда не видели ее?

Она помолчала в нерешительности.

— Боюсь, не умерла ли она, — произнесла наконец она.

— Понятно. — Он резко поднялся. — Ну вот и остальные актеры. Мы еще поговорим.

Он вспрыгнул на сцену, а она осталась сидеть, чувствуя, как согревает ее странное чувство нежности. Может быть, теперь у нее появился друг? Она любила задумываться над тем, приобретет ли друзей среди коллег по спектаклю. Каждый раз в очередном спектакле актеры относились к ней, конечно, чудесно. Угощали ее жевательной резинкой, сладостями, которые Мелисса относила до-

мой и раздавала соседским ребятишкам, потому что ей всегда нужно было помнить о фигуре. Ей не следовало привыкать к сладостям. Потом, когда она вырастет, ей трудно будет отвыкать, а актрисам, если они хотят остаться красивыми, нельзя полнеть. Но «чудесно относиться» — еще не значит «быть другом». Она поняла это уже в своем первом спектакле. Тогда она была влюблена во всех, особенно в прекрасную «звезду», и «звезда» обнимала и целовала ее, и Мелиссе казалось, что все это искренне. Но это было не так. Теперь-то она знала. Это повторялось в каждой новой постановке. Почти сразу все начинали притворяться, что они друзья между собой, и скоро уже верили в то, что они действительно друзья, и кое-кто из них влюблялся, и почти всегда примадонна становилась любовницей ведущего актера или режиссера. Спектакль возбуждал, и это возбуждение перерастало во влюбленность; к премьере все были влюблены друг в друга. Потом все менялось. Все менялись, если даже спектакль имел успех. Если же он проваливался, на другой день после премьеры вы бы решили, что эти актеры никогда раньше не встречались. Первый спектакль, в котором играла Мелисса, потерпел неудачу, и на другой день они не разговаривали с ней — никто, даже «звезда». После первого акта Мелисса подошла к ней, чтобы обнять ее, но та грубо оттолкнула девочку от себя.

— Уйди, Мелисса, не приставай.

Мелисса не поверила бы своим ушам, но лицо актрисы, всегда такое прелестное, улыбающееся, рассеяло сомнения: в этот момент оно было искажено гневом. И тут она поняла, что должен был чувствовать отец, когда ее мать бросила его.

Тетя Мэри часто говорила ей:

— Его это сразило, как молния в лесу сражает молодое деревце. И я решила для себя: никогда не позволю себе влюбиться. Никогда!..

В этот момент на сцену взошла новая примадонна, примадонна этого спектакля; все посторонились, уступая ей дорогу, но в то же время пытались сохранить достойный вид. И эта примадонна была хороша собой, она была кинозвездой. После десяти лет работы в Голливуде это был ее первый спектакль на Бродвее, и все наблюдали за пей, потому что это была ее последняя попытка вернуть свою популярность. У нее были золотые волосы и большие черные глаза. Волосы были крашенные, но все равно цвет их был

очень хорош, а фигура с полной округлой грудью была просто прелестна.

Мелисса ужасно переживала отсутствие бюста у себя. Грудь была пока что абсолютно плоская, правда, тетя Мэри говорила, что все это изменится, обязательно. Только вчера они обсуждали эту проблему, когда тетя вытирала ее после ванны. Возвращаясь с репетиций, Мелисса буквально засыпала на ходу, и тетя всегда помогала ей добраться до постели.

— Почему у меня такая плоская грудь, тетя Мэри? — спросила Мелисса, касаясь двух маленьких «пуговичек» на своей груди.

— Подумаешь, горе какое, дитя мое! Они начнут набухать, и довольно скоро.

— А когда у тебя набухли?

— О, примерно годам к двенадцати или около того.

Во время этого разговора тетя стояла на коленях перед Мелиссой и надевала ей тапочки. Она сняла платье, чтобы не замочить его, и ее маленькая, но довольно упругая грудь была хорошо видна.

— Сейчас они у тебя уже хорошо набухли, — сказала Мелисса. Тетя покраснела.

— Ох ты горе мое! — воскликнула она, поднялась с колен и протянула полотенце Мелиссе. — Вот возьми, вытирайся дальше сама...

Платье у примадонны было с очень большим вырезом, но она не обращала внимания на взгляды окружающих. Она подошла вплотную к режиссеру, притворяясь, что хочет сказать ему что-то, однако теперь-то Мелисса знала, что примадонны только притворяются, будто хотят что-то спросить. Они обращаются к режиссеру таким образом, чтобы он мог разглядеть, какие они хорошенькие, какие длинные у них ресницы и какое низкое декольте. Режиссер попробовал улизнуть, но примадонна неотступно следовала за ним.

Я ее ненавижу, подумала Мелисса.

— Прошу внимания, — обратился режиссер к труппе. Он стоял перед группой из семи человек. Потом повернулся и посмотрел вниз, в темноту пустого зала.

— Мелисса! — сказал он. — Почему вы не со всеми?

— О, вы этого хотите, да? — на одном дыхании выпалила она и бросилась к нему.

Он ждал ее, протянул ей руку, и вот она уже стоит рядом с ним, чувствуя, как тепло и надежно поместилась

ее рука в его большой ладони. Ее любовь неожиданным потоком хлынула навстречу ему. Мелисса смотрела на примадонну, на эту блондинку, а ведь она не верила блондинкам, даже настоящим. Волосы ее тети были мягкого рыжеватого-каштанового цвета, и глаза у нее были темные, почти черные — не блестящие, а матовые, бархатистые.

— Давайте разберемся в пьесе, — говорил тем временем режиссер. — Это комедия в классическом смысле слова. То есть это трагедия, но без убийств, смерти, насилия. Это пьеса интеллектуальная...

— Мистер Кин, извините меня, — сказала Мелисса, — что такое «интеллектуальная»?

Он сверху взглянул на нее, потом на остальных.

— Может быть, кто-нибудь объяснит маленькой актрисе это слово?

Все промолчали. Они ждали его разъяснений: им и самим это слово было не очень понятно.

— Быть интеллектуальным актером, — сказал наконец он, — значит независимо от своей роли уметь создать подбавляющую атмосферу в спектакле. Конечно, слова роли — это не ваши собственные слова, но вы в ответе за то, что вы выразите этими словами.

— Это мне понятно, — сказала Мелисса.

Красивая примадонна надула губки.

— Мне кажется, ни одна женщина не стала бы говорить так, как написал автор во второй сцене второго акта. К этому моменту героиня влюблена в партнера, во всяком случае, должна влюбиться, и она, скорее всего, высказала бы ему это откровенно.

Режиссер посмотрел на нее и не произнес ни слова. Она похлопала длинными ресницами и опустила глаза.

— Это мы решим, когда дойдем до второго акта, — сказал он. — Никогда заранее не знаешь, к чему приведет любовь. И не все женщины ведут себя одинаково, когда любят. Мы с вами вместе посмотрим, как поведет себя эта женщина.

Примадонна снова подняла свои ресницы.

— Вы в этом лучше разбираетесь, — сказала она.

— Тетя Мэри, примадонна уже крутит с ним роман, — рассказывала за ужином Мелисса.

— Не «крутит роман», — поправила ее тетя, — а любила его.



— Нет, именно крутит, — настаивала Мелисса. — Это игра в любовь.

Тетя поставила на стол масленку.

— Я все думаю, правильно ли я делаю, когда на весь день оставляю тебя там, наедине с такими людьми.

— Но я же актриса, тетя Мэри.

— Ты маленькая девочка, тебе всего десять лет.

Тетя вздохнула, села, помешала салат.

— Завтра отпрошусь на работе и останусь там с тобой, посмотрю, что это за люди.

Мелисса открыла было рот, чтобы возразить, и тут же закрыла его.

Время от времени ее тетю охватывало беспокойство, и тогда она проводила целый день в театре. В таких случаях Мелисса чувствовала себя униженной, маленькой. Актрисы могут сами за собой смотреть, им совсем ни к чему родственники, которые сидят там и глядят. А главное — сейчас она была уверена, что режиссер ее друг.

Но тут ей пришло в голову, что режиссер увидит тетю и скажет ей: «Я друг Мелиссы». И тогда тетя скажет: «Спасибо, не зайдете ли вы как-нибудь вечером к нам и не поужинаете ли с нами?» — и тогда все они станут друзьями.

— О, как бы мне хотелось, тетя, чтобы вы остались со мной, — сказала Мелисса. — Иногда я ужасно боюсь этого большого зала.

— Чего же ты боишься?

Мелисса выглядела совсем беспомощной, несчастной.

— Я боюсь, что люстра упадет и убьет меня.

— Перестань представляться, — сказала тетя. — Ничего ты не боишься и сама прекрасно это знаешь.

Слезы наполнили большущие глаза Мелиссы, глаза фиалкового цвета с черными ресницами. Она умела вызывать у себя слезы.

— И перестань смотреть, как твоя мать, — строго приказала тетя. — Она тоже умела плакать когда угодно, но это ровным счетом ничего не значило.

— Хорошо, тетя Мэри, — сказала Мелисса и насухо вытерла платком глаза.

Она смиренно склонила голову и ждала. Если подождать подольше, тетя непременно раскается в своей резкости.

— Ах, если бы знать, как тебя воспитывать, — сказала

тетя. — Ты же хитрющая, да еще играешь. Я не знаю, когда ты настоящая, а когда представляешься.

— Я и сама не знаю, — тихо призналась Мелисса. Она посмотрела своими фиалковыми глазами в обеспокоенное лицо тети. — Я думаю, мистер Кин понимает меня. У него такой большой опыт в обращении с актрисами!

Тетя рассмеялась.

— Ох ты маленькая плутовка, горе е тобой!

На следующее утро тетя осталась в театре. Она огляделась и села рядом с Мелиссой в третьем ряду партера. Пришли мистер Кип и импресарио и, как всегда, тихо разговаривали на сцене, что-то помечая мелом.

— Доброе утро, Мелисса, — уронил мистер Кин в темноту пустого зала.

— Доброе утро, мистер Кин, — ответила Мелисса. — Мне хотелось бы познакомить вас с моей тетей.

— Лисса, ради бога, не надо! — воскликнула тетя Мэри. — Он же очень занят!

Но мистер Кин уже прыгнул со сцены и направился к ним вдоль пустых рядов. Он выглядел юным, счастливым и взволнованным из-за предстоящего спектакля. Он пожал руку тете Мэри, улыбнулся, и тетя ответила ему улыбкой.

— Я бы не хотела отнимать у вас время, — сказала тетя.

— Времени хватает, — сказал он и сел между ними. — Итак, вы тетя Мелиссы. Но, Мелисса, дитя мое, — продолжал он, — что же вы не сказали, что у вас такая очаровательная тетя?

— Мне казалось, что лучше, если вы сами это увидите, сэр, — сказала Мелисса.

Он засмеялся.

— Изумительное умение держать себя на сцене. Кто учил этому Мелиссу, мисс...

— Браун, — сказала Мелисса. — Мэри Браун.

— Девочку никто ничему не учил, — сказала тетя. — Это, видимо, у них в роду. Ее мать, вне всяких сомнений, была великой актрисой — так по крайней мере говорят. Вы, может быть, помните Фей Делиней, мистер Кин? Это сценическое имя моей сестры.

— Конечно, — сказал мистер Кин, — кто же не помнит ее?!

— Это моя сестра, — повторила тетя. — Но мне никогда не понять, как это получилось. Я считаю, что и имена нам

дали неправильно: она должна была быть Марией, а я Мартой.

— Что с ней теперь? — спросил мистер Кин.

— Мы ничего о ней не знаем.

Мистер Кин повернулся к Мелиссе.

— Иди побегай, дитя мое. Мне надо поговорить с твоей тетей.

Ей не надо было повторять — она вскочила и стала танцевать среди пустых рядов, представляя себе, что она — мама, ее мама, какой та была в ее годы, совсем маленькой девочкой, и как танцевала та маленькая девочка одна среди пустых рядов и представляла... Кем же ее мама представляла себя?.. Так много в жизни загадок и ни одной отгадки, ни одной!

— Мелодия!

Мистер Кин звал ее.

Мечты улетели, как пух одуванчика под порывом ветра, и она, танцуя, направилась к сцене.

— Займите, пожалуйста, свои места, — сказал мистер Кин. — Начнем репетицию.

В то утро она не раз поглядывала вниз, в пустой партер. Там, в полутьме, она различала фигурку тети, сидевшей в середине третьего ряда. Мелисса ощущала теплоту в душе. Вот было бы чудесно, если бы ее мама сидела там!.. Не та мама, которая убежала от нее, а такая мама, как тетя Мэри, такая, какие бывают у всех маленьких артистов, такая мама, которая ждет, приносит обед, снова ждет и ругает импресарио, если в театре слишком холодно, или режиссера, если он заставляет ребенка слишком много работать, и грозит ему сводом законов, который не разрешает ребенку работать сверх нормы — разве все это было бы не чудесно?.. Чудесно!..

— Мелодия, — строго сказал мистер Кин, — мы все ждем, когда вы произнесете свою реплику.

Она произнесла ее сразу. Остальные все еще читали свои роли, а Мелисса знала свою роль наизусть, она была уже не Мелисса, а Мелодия!

«— Я ищу своего отца. Он был здесь?»

— Пожалуйста, скажите, сэр, не вы мой отец?

— А то моя мама ждет кого-то... Это не вас она ждет?..»

— Хорошо, — сказал мистер Кин. — Вы уже вошли в роль, дитя мое.

Вечером тетя сказала:

— Ты была права. Мистер Кин очень хорошо знает

тебя. Боюсь, все вы одинаковы, вы, актеры... У него прекрасные манеры.

— Правда, он красивый, тетя Мэри? — спросила Мелисса. Она очень устала и не хотела есть, но тетя не замечала этого.

— Пожалуй, да, — ответила тетя. — Мне вообще нравится этот тип мужчин — темноволосый, стройный. Нравится сам тип, не более того. Однако приятно встретить человека с хорошими манерами. Когда работаешь в конторе, только и видишь, как мужчины бранятся между собой целый день.

— Мистер Кин со всеми очень вежлив, — сказала Мелисса. — Даже когда примадонна спорит с ним, он спокойно слушает.

— Эта блондинка! — воскликнула тетя. — Как она мне не понравилась! Ей лет тридцать пять...

— Да ей все сорок! — возразила Мелисса. — Она противная.

Тетя рассмеялась.

— Маленькая ты обезьянка! Почему ты говоришь это?

— Все время она думает только о себе, а не о своей роли, — сказала Мелисса. — Настоящая актриса не думает о себе.

— Откуда тебе это известно? — спросила тетя. — Тебе это сказал мистер Кин?

— Никто мне этого не говорил, — ответила Мелисса.

Тетя долго, не отрываясь, смотрела на Мелиссу.

— Рассказать тебе или не стоит, что говорил о тебе мистер Кин? Впрочем, надеюсь, это не повредит тебе. Он сказал...

Она замолчала, а Мелисса застыла в ожидании, притворяясь, будто ест.

— Он сказал, — продолжала тетя, — что тебе на роду написано — именно так он и сказал, — на роду написано быть большой актрисой, более талантливой, чем твоя мать. Он сказал те же самые слова, что я только что услышала от тебя, — что ты не думаешь о себе, ты помнишь только о том, кем ты должна быть по пьесе, а это значит, что ты по-настоящему одаренный человек. Он сказал мне, что я должна заботиться о тебе, потому что ты редкое сокровище.

— Так что же вы плачете, тетя Мэри? — спросила Мелисса, искренне пораженная.

— Потому... — тетя вытерла глаза и продолжала: — Мне не по силам одной воспитывать тебя, дитя мое, это

правда. Я видела, как твою маму сломала семья, потому что мы не знали, что с ней делать. Нам она казалась какой-то полоумной, и из-за нашего непонимания она вытворяла такое, чего не должна была бы делать. Словом, она сломалась, и неизвестно, счастлива ли она за этим англичанином! Она бросила нас. Когда я рассказала о ней мистеру Кину, он сказал, что личность разрушается только тогда, когда ей навязывают несвойственный ей образ жизни. Когда человек живет в соответствии со своей натурой, он себя не погубит. И я поверила ему, Мелисса. Я думала об этом весь день. И поняла, что происходит со мной. Короче говоря, я гублю себя.

Вот смотри, мне уже двадцать пять лет, а я все еще не замужем и не могу решиться выйти за того, кто предлагает мне руку и сердце, хотя Джим Эрвин прекрасный молодой человек.

И почему я не хочу выходить за него, не могу понять — ведь у него постоянная работа, и, вне всякого сомнения, его ждет блестящая карьера. А я прихожу домой, накидываюсь на тебя и тем самым гублю и тебя...

— Вы на меня не накидываетесь, тетя Мэри, — возразила Мелисса.

Тетя крепко прижала ее к себе.

— Нет, накидываюсь! Ругаю! И если не стану сдерживать себя, буду ругать еще больше. Когда ты приходишь из театра домой, вся сияя от счастья и мечты, мне хочется... мне хочется побить тебя!

Необыкновенные глаза Мелиссы сделались огромными.

— Тетя Мэри! — От ужаса голос упал до шепота.

— О нет, я никогда не буду тебя бить! — сказала тетя.

— И не смотри на меня так, дорогая. Это просто оттого, что я не знаю, что со мной происходит сегодня...

Мелисса посмотрела в пылающее, все в слезах лицо тети Мэри.

— Знаете, что я думаю? — медленно произнесла она.

— Что, мой ангел? — спросила тетя, вытирая глаза.

— Я думаю, что вы полюбили мистера Кина.

Тетя сделала вид, что хочет отшлепать ее.

— Ну что с тобой делать? — сказала она. — С тобой и с твоими актерскими замашками?

Ага! Теперь-то она знала точно! Слишком много примадонн видела она на сцене, видела, как заводили они романы с ведущими актерами или с молодыми режиссерами,

Она хорошо знала, что нужно делать: оставить в театре, в пустом темном зале, прелестную молодую женщину и молодого красивого мужчину, чтобы они сидели рядом и наблюдали, как на их глазах любовная история воплощается в театральное действие. Несмотря на свой возраст, Мелисса это знала, и на следующее утро она приникла к руке тети Мэри.

— Я что-то неважно чувствую себя, — сказала она. — Не побудете ли вы и сегодня со мной в театре?

— А как же моя работа?

— Пожалуйста, не работайте больше, — прошептала Мелисса. — Ну, так, будто вы моя мама, а?.. Мамы ведь не работают. Они помогают своим детям в театре. И мы проживем на мой заработок, правда? Может быть даже, мамам платят за их заботу о детях.

— Это мне не приходило в голову, — сказала тетя. — Пожалуй, я могла бы поговорить с твоим мистером Кпном...

— Совсем он не мой! — возразила Мелисса.

Тетя улыбнулась.

— Но уж не мой-то он, во всяком случае!

— А может, он наш, ваш и мой? — сказала Мелисса.

— Откуда эта пронизательность? — иронически спросила тетя. — И я не верю, что ты плохо чувствуешь себя.

— Я не буду играть в этом спектакле, если вы не пойдете со мной, — заявила Мелисса. — Ну хотя бы еще разок!

— Скажите, Мэри, — сказал мистер Кин, когда они вошли в зал, — не могли бы вы оставаться здесь во время тех репетиций, в которых участвует Мелисса? Девочка ведет себя увереннее и свободнее, пока вы здесь. Поразительная разница! Помните, я вчера вам сказал — у нее редкий талант. Он заслуживает любых жертв.

— Это не жертва, мистер Кин, но...

— Пожалуйста, называйте меня Барни.

— Ну что вы, мы так мало знаем друг друга, и я не работаю в театре... нет, нет, я не могу!..

— Я знал вас всегда, Мэри...

Мелисса слышала их разговор, скользя меж пустых кресел, танцуя вдоль темных рядов невидимой тенью. Все разыгрывалось как по нотам. Их роли были просто превосходны, это была особая репетиция — не спектакля на сцене, а подлинной любовной истории, где «звездой» выступала ее тетя, а мистер Кин был ведущим актером.

В этот день она с тетей обедала в соседнем ресторанчике — и не сандвичами из бумажного пакета. Ели молча. Раз-другой Мелисса пробовала заговаривать с тетей, понапрасно. Тетя улыбалась и ничего не говорила — и это было правильно. Словно последняя картина первого акта. Но уж если есть хороший первый акт, будет, конечно, и хороший спектакль! Это каждому известно.

Вечером тетя сказала ей:

— Мелисса, ты, возможно, будешь удивлена, но я решила оставить свою работу. Барни... то есть мистер Кин, считает, что я должна сделать это для тебя.

— О, благодарю вас, тетя Мэри! — сказала Мелисса.

— Да за что же?

— За то, что... когда я совсем одна в этом огромном зале, я боюсь.

— Ты там не одна, и ты это прекрасно знаешь, — сказала тетя. — На сцене столько артистов.

— Но когда я не на сцене, я так боюсь, а во втором акте я ведь совсем не занята, и только в самом конце третьего я на сцене. А между третьим и первым актами я все время боюсь.

— Только не говори мне, что ты боишься, что на тебя упадет люстра, — сказала тетя.

Мелисса помолчала.

— Нет, не люстра...

— Что же тогда?

— Просто... Нет мамы в третьем ряду партера, которая сидела бы и ждала меня.

Тетя развела руками.

— О, бедное мое дитя, почему же ты раньше скрывала это от меня?

— Не знаю, — прошептала Мелисса.

И вдруг искренне расплакалась.

— Боже мой! — воскликнула тетя. — И я никогда не догадывалась!

Так начинался второй акт. Мелисса поняла это на следующее утро... Это был длинный акт, и шел он столько дней, что Мелисса начала тревожиться, не вкралась ли в пьесу какая-нибудь ошибка. В пьесах всегда обнаруживались ошибки. Их нужно было переписывать, но кто же возьмется переписывать эту пьесу?

Однажды мистер Кин отвел ее в сторону, чтобы никто не услышал.

— Мелисса, вы мне поможете?

— Да, — сказала она.

— Я хочу жениться на тете Мэри.

Она обвила его шею руками.

— О, благодарю вас, мистер Кин!

— Называйте меня Барни, ладно?

Она покачала головой.

— Лучше не надо.

— Дядя Барни?

Она снова покачала головой.

— У меня есть для вас имя, но я еще не хочу говорить его вам.

— Когда же?

Мелисса ощутила вдруг что-то новое для себя, застеснялась.

— Может быть, в третьем акте.

— Мы сейчас репетируем третий акт.

— Я не о том спектакле.

Он подождал немного, но она только покачала головой. Он вздохнул.

— Хорошо, Мелисса, я уважаю ваше молчание, когда-нибудь вы скажете мне, что вы имели в виду... А теперь послушайте, в чем мое затруднение. Ваша тетя не разрешает мне сделать ей предложение.

— Не разрешает?

— Она говорит, что мы недавно познакомились. Но это только отговорка. Я боюсь, дело в том, что она мне не верит. Она не верит никому из тех, кто работает в театре. Она считает, что все мы только играем. Вы согласны с ней, Мелисса?

— И да и нет, — ответила она.

— Перестаньте наконец изображать сфинкса и скажите, что вы под этим подразумеваете, дитя мое?

— Пожалуйста, не называйте меня «дитя мое», — сказала Мелисса. — Пока не называйте, — добавила она.

— Хорошо, — ответил он. — Пока вы не позволите мне.

— А что я подразумеваю, — сказала она, — так то, что все мы играем, пока участвуем в спектакле. И естественно, когда спектакль кончается, кончается и наша игра. Ничего не остается. И этого-то она и боится. Она не хочет участвовать в пустой игре. Она хочет настоящего.

— Понятно, — сказал он. — Спасибо вам за разъяснения.

Тут, решила Мелисса, закончился второй акт. Теперь оставалось только ждать начала третьего. А в антракте она танцевала в пустом зале, как танцует солнечный зайчик



на своих тонких лучиках, как танцует птичка колибри в своем ярком оперении.

— О, как мне будет грустно, грустно, грустно, когда спектакль пройдет, — сказала она в этот вечер тете.

— Но почему? — спросила тетя.

Сегодня на ужин у них были ее любимые блюда — куриное рагу и гренки. Ее тетя прекрасно готовила, а теперь она не работала и могла готовить все, что они обе любили.

— Потому что мне придется распрощаться с мистером Кином. Может быть, я никогда больше не увижу его, а это разрывает на части мое сердце.

— Перестань паясничать, — резко прервала ее тетя.

— Я не паясничаю, — ответила Мелисса. — Я его полюбила.

— И не глупи, — строго сказала тетя.

— Я и не глуплю, — снова возразила Мелисса. — Я полюбила его как отца, тетя Мэри. Не как любовника.

— О господи боже ты мой! — воскликнула тетя. — Да не забывай ты, пожалуйста, что ты еще совсем маленькая девочка! Любовника!..

— Но я же сказала...

— Замолчи!

Мелисса умолкла, но по щекам медленно потекли слезы, и тетя увидела их.

— Отчего же ты плачешь?

— Вы со мной грубо обошлись сейчас, — рыдая, произнесла Мелисса.

— Я не обошлась с тобой грубо, я вообще грубая, — ответила тетя.

— Почему, тетя Мэри?

— Потому что я ни на что не могу решиться.

— Вы о мистере Кине?

— Ради бога, что ты в этом понимаешь?

— Вы его любите, тетя Мэри. Не играете в любовь, а любите по-настоящему.

— Да нет же, не люблю я его! Я же поклялась, особенно после той истории с твоей матерью и отцом, что никогда не выйду за человека, связанного с театром. Скорее, я выйду замуж за бродягу какого-нибудь!

— Но вы же любите театр, тетя Мэри?

Тетя отложила вилку в сторону.

— Откуда ты это взяла? — прошептала она.

— Раньше вы просто никого не любили, — сказала Мелисса. — Ведь правда, тетя Мэри?

— Правда, — согласилась тетя. — И всегда утверждала, что ненавижу театр.

Они посмотрели друг нэ друга, и необычайная нежность охватила Мелиссу, нежность, проникнутая глубоким пониманием, пониманием тети-женщины, и мистера Кина-мужчины, и той любви, которая возникла между ними. Любви, которую невозможно сыграть на сцене, любви истинной.

Мелисса встала, обошла вокруг стола и крепко обняла тетю.

— Пожалуйста, тетя Мэри, — сказала она, — прошу вас, выходите замуж за мистера Кина. Я его тоже так люблю! То есть как отца... И вас... как мать.

Тетя крепко прижала ее к себе.

— О маленькая плутовка, — шепнула она, — дорогая моя маленькая плутовка!

# Арнольд Беннет

## *Две стороны медали*

### I

У событий, изложенных здесь, есть две стороны: лицевая и обратная, и рассказывать о каждой следует особо.

Лицевую довелось увидеть мистеру Телферу. Мистер Телфер к этой истории никоим образом не причастен, он сторонний наблюдатель, и только. Лицевую сторону происходящего, не догадываясь, подобно мистеру Телферу, о ее подоплеке, видели многие; мистера Телфера я выбрал просто наугад.

Мистер Телфер, человек тихий, обыкновенный и положительный, был тонкий знаток расписания поездов из пригорода в Лондон и обратно; на эти поезда с искусством, какое дается лишь долгой тренировкой, он попевал каждый день примерно за полминуты до отхода. Живя в пригороде, он редко навещался в лондонские театры, потому что не любил поздно ложиться спать. По вечерам он раскладывал пасьянс, при случае подтасовывая карты, и за этим волнующим занятием осушал два стаканчика виски с содовой. Но как-то раз его столичный знакомый, служащий кредитного банка, прибравшего к своим щупальцам едва ли не весь город, сказал ему за завтраком:

— Телфер, послушай-ка, приятель, сегодня в Иден-сити-этр премьера, дают «Двенадцатую ночь». У меня пропадет кресло в партере. Ты не хочешь пойти?

Оказалось, что мистер Телфер хочет.

В необычное для него время он вернулся домой, оделся, полистал томик Шекспира и вновь отправился в город, на спектакль. Он много раз читал в газетах роскошные описания светских и сценических прелестей театральных премьер, но сам на премьеры никогда не бывал. Да и в пар-

тере он сживал не часто. (Когда ему случалось погружаться в пучину увеселений, он разрешал себе повести свою даму в бельэтаж — не более того.) И посему он был весьма приятно возбужден и полон отрадных предчувствий.

Когда его такси подъехало к театру (он обставил свою вылазку в свет с шиком, ведь билет достался ему даром), он увидел, что на фасаде пылает электрическая реклама: «Аида Дженкинсон в «Двенадцатой ночи». До сих пор он ни о какой Аиде Дженкинсон не слышал.

Меж двумя рядами зевак он в числе других избранных и баловней судьбы прошествовал в театр. И увидел, что вестибюль сплошь увешан афишами с портретом довольно авантажной дамы и с такой надписью: «Мистер Аспри Чаун (крупно) показывает мисс Аиду Дженкинсон (гигантскими буквами) в «Двенадцатой ночи» (буквы средней величины) Уильяма Шекспира (малюсенькими буквами)». В другом месте сообщалось, что Аида Дженкинсон будет исполнять роль Виолы, невинной девушки, которая из любви к приключениям переделалась юношей.

Вскоре зал был полон. Казалось, каждый, кто сидит в партере, знает каждого, кто сидит в партере, — кроме мистера Телфера, он был предоставлен самому себе и мог спокойно строить догадки о том, кто его окружает. Заиграл оркестр. Свет погас, и поднялся занавес, открыв публике дворец Орсино во всем его великолепии; после короткой сцены сверху опустили кусок ткани, изображающий берег моря, и из-за кулис под иступленный рев почитателей с галерки появилась сама Виола с тремя моряками. Мистер Телфер слегка удивился, как это мисс Аиду Дженкинсон так быстро узнали; лично он не обнаружил в ней почти никакого сходства с теми портретами в фойе. Мисс Дженкинсон сразу же вышла из роли и, сияя, ответила на приветственные вопли. Пока еще она была одета как женщина — в просторный плащ с капюшоном. Возможно, это плащ придавал мнимую дородность ее фигуре, однако не плащ был повинен в том, что у Виолы сочные карминные губы и багровые щеки, так мало подходящие молоденькой девушке, особенно если она только что спаслась с затонувшего корабля.

— Где мы сейчас находимся, друзья? — начала она зычным контральто, в котором слышалась зрелая искусственность и привычка распоряжаться. Дурно воспитанные субъекты в партере обменялись усмешками. Властным голосом Виола объявила морякам, что под видом мужчины

пойдет в услужение к герцогу Орсино, а моряки должны ей помочь — те не стали перечить и живо согласились, после чего она удалилась; кусок ткани взмыл вверх, и на сцене был уже дом Оливии, в котором бессмертные персонажи — Тоби Белч, Эндрю Эггючик и Мария — под взрывы одобрительного смеха разыграли блистательный фарс.

Затем снова показали дворец Орсино. Во дворце было пусто. И оставалось пусто. В партере возник ропот, побежал по всему театру, перерос в гул. Чудилось, будто прошли часы, хотя прошло, наверно, не больше минуты.

Потом невидимый голос произнес:

— Занавес! Занавес!..

Занавес опустился, из-за него шагнул на авансцену прекрасно одетый господин во фраке и сказал:

— Друзья мои. К величайшему прискорбию, я вынужден вам сообщить, что ввиду внезапного недомогания мисс Аида Дженкинсон сегодня играть не может. Она просила передать, что глубоко сожалеет и приносит вам свои извинения. Деньги, уплаченные за билеты, вам вернут в кассе. — Господин поклонился и исчез. Оркестр заиграл «Боже, храни короля».

Совершенно небывалое происшествие в театральной жизни Лондона! Публика не могла поверить своим глазам и ушам. Мистер Телфер, как и другие, был разочарован, но в то же время его тщеславию льстило сознание того, что в этом совершенно небывалом происшествии принимал участие и он. Жаль только, что билет был пригласительный и нельзя было потребовать за него в кассе двенадцать шиллингов. Когда мистер Телфер в толпе изумленной, взбудораженной и говорливой публики вышел на улицу, на фасаде театра по-прежнему ярко горела электрическая реклама. Шел еще только восьмой час. Шоферов отпустили до одиннадцати, такси не было, только изредка подъезжали опоздавшие. Баловни и избранники судьбы добирались домой как придется.

Наутро мистер Телфер с особым интересом изучал газету, рассчитывая увидеть не один столбец, посвященный истории в Иден-сиэтр. Но обнаружил он какие-то жалкие пять строчек, в которых скупо говорилось, что в решающую минуту мисс Аиде Дженкинсон стало очень худо, и спектакль, по всей видимости, будет отложен. На службе день у Телфера прошел очень мило. Разумеется, из всех сослуживцев он один был свидетелем совершенно небывалого происшествия. Такова лицевая сторона медали.

А теперь поговорим об оборотной.

Мистер Аспри Чаун, которого заслуженно считали крупнейшим импресарио в Англии, знал в своей жизни взлеты и падения. Были времена, когда он мог из прихоти скупать драгоценные камни (он собирал коллекцию камней), были и такие времена, когда необходимость заставляла их продавать,— и когда ему представилась возможность «показать» Аиду Дженкинсон в роли Виолы в шекспировской «Двенадцатой ночи», он, пожалуй, обрадовался. (Хотя показывал-то ее, в сущности, не он. Показывала себя главным образом она сама.) Он дважды подряд потерпел в Иден-сиэтр сокрушительный провал и теперь как раз пытался подобрать себе постановку с какими-то видами на успех. Помимо всего прочего, Иден-сиэтр был не театр, а сущая прорва. Аспри Чауну он стоил, по долгосрочному договору, триста пятнадцать фунтов в неделю, а в краткосрочную аренду шел по цене от четырехсот до четырехсот пятидесяти фунтов. Аида Дженкинсон обязалась снять у него Иден-сиэтр на три месяца за твердых четыреста семьдесят пять фунтов в неделю, причем во главе предприятия номинально оставался антрепренер. Больше того, возможные убытки она целиком брала на себя и давала надежную гарантию, что выполнит свои обязательства. Ходили слухи, будто она прижимиста, однако в своих делах с ситательным Аспри Чауном она этого свойства ничем не проявила. Правда, несравненного Чауна одолевали тайные сомнения, не повлияет ли эта сделка на его престиж в театральной среде. Но он был человек изобретательный и нашел мудрый выход из положения, делая вид при своих друзьях и деловых знакомых, что эта затея — нечто вроде шутки, очень забавной и оригинальной, нечто такое, до чего никогда не додумался бы никто, кроме него. Ну и, в конце концов, Аиду Дженкинсон никто не назвал бы заурядной женщиной и уж тем более заурядной актрисой.

Когда актриса определенного сорта попадает в газеты по причине, не связанной с ее игрой на сцене, обычно выясняется, что она — отпрыск какого-нибудь содержателя табачной лавчонки. Аида, в отличие от прочих, была дочерью трубочиста из района Поплар, человека строгих правил и мастера своего дела. С самого детства не могло быть двух мнений о ее призвании. Она была определенно рождена для сцены. В шестнадцать лет, вполне уже созревшей

девицей, Аида подвизалась на первых ролях в одном из любительских театральных кружков. Нашлись недалёковидные люди, которые издевались над ней и шли на любительские спектакли единственно с целью посмеяться. А она к восемнадцати годам сумела пробиться в гастрольную труппу с явно мелодраматическим уклоном, а в девятнадцать играла главные роли в таких вещах, как «Обиженная жена», «За что платит мужчина» и «Одинокая девушка». Жалованье ее росло. Она стала копить деньги. Вышла замуж неудачно, потеряла мужа, а заодно и сбережения и снова принялась копить, теперь уже в одиночку. Год провела в Америке.

Двадцати трех лет она завела собственную труппу, которой платила... почти что ничего — и какая же это была удивительная труппа! Талант, молодость, красота — все это Лиде не требовалось. Все необходимое по части таланта, молодости и красоты она готова была поставлять сама. Она требовала лишь одного: безраздельного внимания публики, главного места на подмостках. Все еще находились недалёковидные люди, которые над ней потешались, утверждали, что она ужасна, смешна до коллик в животе, а ее афиши, всякий раз изображающие невинность в миг крайней опасности или сусального торжества, — это верх вульгарности, размноженной на гектографе. Но, во-первых, Аида о таких людях не знала. А во-вторых, если б даже ей и случилось узнать об их существовании, она бы и бровью не повела. Ибо что там ни говори, а публика была от нее без ума. Директора провинциальных театров ее боготворили. Когда за час до спектакля Аида подъезжала к служебному входу, она неизменно видела длинную очередь, которая терпеливо, но с вожделением дожидалась возможности отдать свои деньги за честь ее лицезреть. Редко удавалось ей заметить в зале хоть одно пустое место. Не было случая, чтобы ее не встречали на сцене и не провожали громом рукоплесканий.

Конечно, нельзя было сказать, что ее зрители — одни университетские профессора и столпы общества. Зритель у нее был, что называется, «широкий». Зато он обладал тремя качествами, первейшими для каждого зрителя: он платил, он оглушительно хлопал, он приходил снова. В театральных городах Лидина доля недельной выручки нередко составляла тысячу фунтов, а поскольку труппа вместе со всеми иными затратами обходилась ей куда меньше четырехсот фунтов, легко заключить, что она ухитрялась очень недурно сводить концы с концами.

Так из года в год она колесила по стране, становясь все богаче, упиваясь лестью и успехом, прожорливая и ненасытная, и все глубже проникалась верой в ту неоспоримую истину, что второй Аиды Дженкинсон на свете нет.

К сожалению, мы редко довольствуемся тем, что имеем. Аиде жить бы да радоваться, но не тут-то было. Червь точил ей душу. То была не тоска по любви. Вовсе нет! Она уже раз хлебнула любви, и с нее было довольно. То не был и «перст времени». Потому что Аида — Аида была неподвластна времени. Никто ни разу не заикнулся при ней о том, что двадцать лет — это все-таки двадцать лет, а уж насчет того, что двадцать пять — это двадцать пять... пусть бы только попробовали! Наоборот, с кем бы она ни работала, с кем бы ни имела дело, все словно стоворились ее убедить, что в их глазах двадцать пять лет меньше единого дня — что, иными словами, у нее со времен королевы Виктории ни на день не убавилось юности, стройности или свежести. Она этой сказке верила. И столь велика сила самовнушения, подкрепленного извне, что, казалось, даже зеркало отступало перед нею.

Нет, это был не червь, сокрытый в розе ее счастья. Верней сказать, это была змея, которую она отогрела па своей пышной груди. Змея честолюбия! Честолюбивая мечта играть — и играть с триумфом — в лондонском Уэст-Энде. Она никогда не выступала в Лондоне. Все как-то не решалась на него замахнуться. Она объявила, что презирает Лондон. Но утверждение это не соответствовало действительности. В действительности Аида денно и ночью чувствовала, что без Лондона ее жизнь останется неполной. В Америке, где она храбро бралась за все, что могла заполучить, ей как-то досталась в труппе «классического» толка роль Марии из «Двенадцатой ночи». С тех самых пор мечтой ее стала роль Виолы. Она просто «видела себя» Виолой. И вот теперь у нее возникла обольстительная, пьянящая мысль сыграть Виолу в Лондоне. В одном из бирмингемских отелей она встретила с мистером Аспри Чауном. Мистер Аспри Чаун был с нею очень любезен — gallant, как говорят у нас на Севере, — он вообще предпочитал держаться любезно с дамами, которые добились успеха. Итогом встречи явился контракт на один сезон в Иден-сиэтр.

Очень скоро мистер Аспри Чаун стал раскаиваться, что заключил этот контракт. О денежной стороне контракта



он не жалел, его пугало другое. Он боялся погубить свою репутацию среди уэст-эндской публики, убежденной в своем умении разбираться, что к чему и кто что есть. По вечерам на последних представлениях быстро испускало дух довольно изысканное сценическое детище Аспри Чауна, а днем Аида проводила репетиции «Двенадцатой ночи» в обработке «а-ля Дженкинсон». Прослышав о своеобразии этих репетиций, мистер Чаун уже не показывался за порог директорского кабинета, который предусмотрительно не сдал Аиде, а оставил за собой.

Так, в роли человека-невидимки он пережил ряд потрясений. Первым потрясением был состав исполнителей. Взять хотя бы роль Оливии — юной, прелестной, пылкой графини, второй по значению героини пьесы, обворожительной девушки, которая внушила герцогу Орсино страсть, граничащую с безумием. Аида дала эту роль Эмили Фантур. Что ж, Эмили была настоящая шекспировская актриса. Ее имя было известно завзятым театрам и значилось на многих театральных программах. Но ко всему этому Эмили Фантур была уже бабушка. Мистер Аспри Чаун помнил ее с детских лет; всякий, кто видел ее в пору расцвета, подтвердил бы, что на земле не перевелись еще великанши. Аида предложила ей восемь фунтов в педелю, и та с готовностью согласилась. Приближенные к Оливии дамы отличались теми же физическими свойствами. Рядом с ними Аида выглядела Дюймовочкой, что само по себе уже было достижением. И еще одно достижение: в сравнении с ними Аида сошла бы за девочку. Актёров-мужчин выбирала помоложе и постройней, кроме разве что брата-близнеца Виолы, Себастьяна, — этот с успехом годился бы на роль статуи Терпения в той же пьесе.

Другим потрясением был Аидин выбор постановщика: мистера Сирила Бленкхорна, чье имя занимало почетное место в летописях шекспировской сцены, Аида, по-видимому, воскресила из мертвых. Во всяком случае, более комичной карикатуры на трагика невозможно было придумать.

Третьим ударом было для мистера Чауна Аидино обращение с Шекспиром. Аида, женщина деловая, четко знала, что ей нужно. А нужно ей было все. Ей нужны были и середина сцены и авансцена, причем нужны все время. И чтобы публика видела лицо Аиды, а больше ничье. И чтобы каждая слезинка и каждый взрыв смеха доставались ей одной. И каждая выигрышная реплика тоже. Все

прочие роли она корнала беспощадной рукой. В сцене поединка, где заняты Тоби Белч и его партнеры-комики, она оставила от партнеров одно воспоминание и с трудом удержалась, чтобы не сразить Эндрю Эгьючика наповал с первого удара. Вместо того чтобы вести себя, как надлежит слуге герцога Орсино, она напускала на себя такой вид, словно герцог сам у нее в услужении. Прямо чудеса! А тут еще мистер Бленкхори в один прекрасный день явился с вырезкой из давней рецензии, принадлежащей перу некогда знаменитого театрального критика, в которой утверждалось, будто «Двенадцатую ночь» следует «подчинить Виоле и растворить в Виоле». За такую находку Аида устроила в честь Бленкхориа обед и впредь при каждом удобном случае приводила эти слова. Не потому, впрочем, что она нуждалась в чьей-то духовной поддержке. Нахальству она обучилась еще на репетициях в Америке, а помимо того, обладала природной склонностью к деспотизму. Она была способна сказать что угодно, да не изредка, а на каждом тагу. Труппе открывались все новые грани богатейших выразительных средств английского языка. Кроме того, труппа быстро оценила преимущества смирения и молчаливой покорности.

Еще одним потрясением была Аидина манера подачи шекспировского стиха, которой Бленкхорн заставлял следовать и других исполнителей. В том, что сыпалось с карминных уст Аиды, никто ни на мгновение не заподозрил бы белых стихов. Она метала слова, как громы, как молнии, выпаливала, как снаряды из двенадцатидюймовой пушки, выпускала, как густые клубы пара, как автобусы, грохочущие в полночи по опустелым мостовым. И любопытно, что ни единой реплики не предназначалось остальным героям пьесы: все направлялось прямо в зал, туда, где соберутся толпы зрителей. Не Оливии объяснялась она за другого в любви, она объяснялась в любви зрителю. Не герцогу приносила клятву верности, она клялась в верности зрителю. А вот в ссору она вступала с Антонио — со зрителями она не ссорилась.

Каждый сказанный ею слог отчетливо долетал до уха — каждый согласный звук, каждый гласный. Одним словом, чудеса да и только.

— Что же это вы, Аспри, голубчик, никогда не придете ко мне на репетицию? — допытывалась она у мистера Чауна. (У Анды было обыкновение всех называть по имени.)

— Я бы с удовольствием, — отвечал мистер Чаун, — да все, знаете, чертовски некогда. Как будет время, непременно приду. Страшно хочется поглядеть на ваш стиль работы.

Следующее и, пожалуй, самое сильное потрясение принес тот день, когда репетиции шли уже полным ходом и Аида, свято блюдя правду в искусстве, явилась с утра в костюме герцогского пажа, чтобы не чувствовать себя стесненной в движениях.

Помощник режиссера поднялся в кабинет к мистеру Чауну.

— Знаете, она надела мужские бриджи!

Аспри Чаун подкрался к колосникам и осторожно глянул вниз.

— Господи! — сдавленно прошептал он. — Ах, проклятье!

А Аида делала свое дело, поглощенная замечательной ролью, поглощенная достижением своей заветной цели, мечтающая о головокружительном успехе, уверенная, что возраст для нее не существует, и мысленно браня себя за то, что пригласила для контраста двух исполнителей в годах, когда, по сути дела, решительно никакой надобности в том не было.

Однажды ее радужные мечты слегка потревожил совсем пустяковый случай. В своей обычной манере — самозабвенно, приподнято и членораздельно — она от лица герцога объяснялась в любви бабушке Оливии, рассказывая, как поступила бы, будь она — то есть герцогский паж — влюблена в Оливию:

«У вашей двери шалаш я сплел бы», — выпевала она, вся во власти шекспировских эмоций.

— Ничего себе получился бы шалашик! — негромко донеслось из-за кулис.

А может быть, только почудилось? Конечно же, это не мог быть настоящий голос — конечно, то была просто игра ее воображения! Величавой поступью Аида направилась за сцену, два ее партнера одновременно глотнули воздух и поперхнулись. Аида никого не увидела, только главный осветитель, мистер Клиби, стоя на коленях, возился с проводами и тихо мурлыкал что-то себе под нос. Аида помедлила.

— Будьте добры, не бурчите, — властно молвила она. Мистер Клиби, плотный, средних лет мужчина в измя-

том костюме, обернулся, застигнутый врасплох, и поднял на нее невинный взор.

— Будет сделано, мисс, — ответил он.

### III

Наступила генеральная репетиция. Мистер Сирил Бленкхори, с гривой седых волос, с шарфом, живописно перекинутым через плечо, одиноко сидел в партере. Еще человек двадцать пять — газетчики, два-три критика, фотографы, друзья актеров — разместились там и сям по бельэтажу; изредка к ним подсаживались актеры, временно не занятые на сцене. Мистер Чаун сообщил мисс Джейкинсон, что, к величайшему сожалению, присутствовать на репетиции по может. А между тем он здесь присутствовал, ловко укрывшись за драпировкой в одной из верхних лож. Тайное и зловещее предчувствие привело его сюда. Он должен был знать самое страшное. И вскоре узнал. Аида в трико, в штанах до колени — Аида в роли пажа, которому, как недвусмысленно отмечено у Шекспира, для мальчика много лет, а для мужчины мало — являла собой зрелище невиданное, единственное в своем роде, усугубленное к тому же ее истовой и самозабвенной старательностью. Замечательная сцена между юношей и нежной молодой графиней в исполнении увядающей провинциальной дивы и бабушки Фантур выглядела жалкой и трагической насмешкой.

Да, на сцене царила Аида, причем царила в полном блеске лучей следящего света, так что мистер Чаун мог составить себе представление о ее лице и формах без всякой помощи фантазии. Трубный голос ее выбрасывал в воздух строки, как сосисочная машина — гирлянды сосисок. Она была явно очень собою довольна, явно предвкушала блестящий успех.

Самое страшное оказалось настолько страшней всего, чего заранее опасался мистер Чаун, что он искренне пожалел, зачем не проявил жизнь вдали от театра, — на мгновение он даже пожалел, отчего еще не покоится в сырой земле. Эти четыре слова на программах: «Мистер Аспри Чаун показывает...» просто бесили его. Они нагоняли на него больше страху, чем даже Аидины огромные цветные афиши, выдержанные в духе кинорекламы. И подумать только: он был бессилен, он не имел права убрать эти сло-

ва, так как, по договору, всем, что касается рекламы, единолично заведовала мисс Дженкинсон.

Аида выходила на сцену, скрывалась за кулисами, а из темноты зала ни разу не послышалось ни звука.

Зато после первой комедийной сценки, в которой Аида не участвовала, раздались недружные, жидкие хлопки, какие слышишь иногда на генеральных репетициях.

Под конец мистер Чаун из страха, как бы с ним чего не случилось, решил удалиться; спускаясь вниз, он столкнулся с Себастьяном, Виолиным двойником, и сказал, что зеленый колет (особого покроя куртка) Себастьяну широк и его следует сузить. А проходя мимо суфлерской будки, он услышал, как Аида выбрасывает солидные куски из комедийных сцен.

— Вы что, не слышите, дурья голова? Вот это все выкинуть, говорю я вам, да соберите роли и отметьте, где что сокращено, пусть до этого сегодня никто не уходит. А завтра утром пусть отрепетируют.

Мистер Чаун удрученно, на цыпочках выбрался из театра па улицу. Он не знал, что после репетиции на сцену были приглашены фотографы, которые получили указание снять Аиду в одиннадцати разных позах, а всю труппу, с Аидой на самом видном месте, — лишь один раз. Он не знал, что вслед за тем Аида объявила мистеру Клиби:

— А теперь, Клиби, еще раз устроим световую репетицию.

Мистер Чаун не догадывался, что она продержала своих людей на ногах до пяти часов утра.

Не догадывался он и о том, что за целую ночь мистер Клиби, этот образец величайшего самообладания в истории английской сцены, ни разу не отпустил по адресу Аиды иного замечания, кроме как:

— Хорошо, мисс... Как скажете, мисс... Ваше дело хозяйское, мисс... Нам, мисс, как велят, так и сделаем...

И откуда ему было знать, что, когда наконец все утихло, мистер Клиби направил свои стопы в пивнушку неподалеку от Флит-стрит, работающую по специальному разрешению круглые сутки, чтобы обслуживать газетный люд, и у стойки сообщил во всеуслышание, что Аида — кусочек, что надо, хоть и не первой молодости, и играть умеет — будь здоров, но если только она вздумает нынче вечером сунуться к нему со своими придирками, он ее попросту ухлопает, невзирая на всю ее богатырскую силу и все ее тиранство. Через четыре часа после торжественного

заявления мистера Клиби мистер Аспри Чаун, чье сердце готово было разорваться на части, бежал в Париж. Откуда, опять-таки, было ему знать, что силы небесные хранят его и что он сам, вовсе того не подозревая, привел в движение удивительную вереницу мелких событий, которыми небеса воспользуются ему во спасение.

На премьерe, в первой сцене, где Виола появляется в девичьем облачении, Аиду встретили бурными аплодисментами, преимущественно с галерки, впрочем, захватившими и другие ярусы и даже партер. Однако ее уход за кулисы сопровождался полным молчанием зала.

Под длинным широким плащом на ней уже было надето все, что составляло костюм мужчины, недоставало лишь плотно облегающего зеленого колета. Чтобы скинуть плащ и надеть колет, времени до начала следующей ее сцены было вдоволь, почти весь этот перерыв она суровым шепотом отдавала распоряжения и указания различным колесикам в сложном механизме, усилиями которого осуществляется спектакль. Приказывать она не уставала никогда. У выхода на сцену, с колетом в руках, ее ждала одевалицца. Аида сбросила плащ и подставила свои могучие плечи, одевалицца подала ей колет. Аида взялась за его края и потянула вперед — полы не сходились. Интермедия между тем близилась к концу. Непонятно, что же стряслось с колетом — а если не с колетом, то с нею самой? В нетерпении она с силой рванула полы. Послышался жуткий треск. Колет лопнул на спине почти сверху до низу. Теперь он сходилсЯ впереди, но совсем не сходилсЯ сзади.

Положение, и без того отчаянное, становилось еще ужасней от немого в неопиcуемого бешенства дивы. Все поблизости застыли от ужаса, остолбенели, оцепенели! Секунды казались часами...

Вот тут мистер Телфер и увидел, что занавес уже ползет вниз.

Когда толстый полог отделил Аиду от зрителей, она вновь обрела дар речи. Бушуя, металась она среди жалких осколков своей честолюбивой мечты покорить Уэст-Энд в образе Виолы. Она знала, что второго раза не будет ни завтра, ни через неделю, а починить костюм и доиграть в нем спектакль сегодня невозможно. Тем более что она разорвала колет в клочья на глазах у трепещущих актеров. Напрасно она ими помыкала, напрасно трудилась, напрасно разучивала пьесу. Душою — неистовой и потрясен-

ной своей душой — она в эти мгновения была просто обиженной маленькой девочкой.

Приблизилась главная костюмерша миссис Пампер, хотя Аида ее не звала. Ужас толкал миссис Пампер к месту собственной казни.

Увидев ее, Аида перестала бушевать и спокойным, ледящим душу контральто сказала:

— Вчера этот колет сидел на мне как перчатка.

И умолкла.

Миссис Пампер не сводила боязливого взгляда с внушительного изваяния в тесных синих штанах по колено, в белой рубаше с брыжами и темно-рыжим парике. Помимо собственной воли миссис Пампер пролепетала:

— Я, мисс, наверно, сузила колет не Себастьяну, а вам. Себастьянов колет мне велели чуть забрать в швах. Вот оно как. Они же точь-в-точь одинаковые, я их и спутала. Извините, конечно, только у меня в костюмерной ничего не разглядишь. Лампы обе неисправны — уж я просила-просила мистера Клиби их починить, да так и не допросилась, пришлось на свои деньги покупать свечи, а то бы и совсем ничего не сделала.

— Значит, вы обращались к мистеру Клиби?

— А как же, мисс! И еще сколько раз!

— Где тут Клиби?

— Я здесь, мисс, — отозвался, возникнув откуда-то, мистер Клиби.

Аида грозно надвинулась на приземистую, перепачканную бородатую фигуру в измятом костюме. Клиби сохранял полнейшую невозмутимость. Все затаили дыхание.

— Отчего вы не наладили свет у миссис Пампер?

— А когда мне было успеть, мисс? Вы тут меня гоняли взад-вперед до пяти утра, а мне тоже хоть сколько-то надо поспать, как и всем. Я вам не заводной.

Точно вулкан в дыму и пламени, взорвалась Аида, раскаленной лавой извергая на сцену потоки сравнений, инсказаний и определений. Большей частью они предназначались мистеру Клиби, хотя каждый из присутствующих тоже получил свою долю. До сих пор актеры и все прочие полагали, что Аидины возможности самовыражения они изучили досконально. Теперь они вынуждены были признать, что заблуждались. Неиссякаемой, кипучей струей изрыгали сочное, образное, смертоносное красноречие чудные уста, всего несколько минут назад принадлежавшие нежной Виоле.

Наконец наступило затишье. Аида набрала побольше воздуха, собираясь продолжать.

— Слушайте, мисс, — проговорил мистер Клиби. — Если вы скажете еще слово, еще одно только слово, я вам сверну вашу жирную шею.

Кто-то хихикнул, но Аида Дженкинсон содрогнулась. Ни один человек в театре Аспри Чауна не испытал в тот вечер такого испуга, как Аида Дженкинсон. Удар пришелся под самый вздох. Аида взвизгнула, мешком рухнула на земь и зарыдала. Мистер Клиби закурил свою трубку.

На подмостках бесформенной грудой лежала несчастная старая женщина.

Захлебывались телефоны; в трубку говорили, прикрыв рот ладонью. Новость разлеталась по другим театрам. Новость разлетелась по редакциям газет — однако, верные славной традиции английской благопристойности, газеты держались версии о болезни. Театральные критики, довольные, что неожиданно выдался свободный вечер, рано легли спать.

Аида вышла замуж за мистера Клиби, первого человека, который не сбегал перед ней. Она оставила сцену, потеряв на этом кой-какие деньги, зато обретя господина. Мистер Клиби также покинул театр, дабы посвятить все свое время попечениям об имуществе жены. Быть может, Аиду посещали сожаления, но, вообще говоря, она была вполне счастлива, ведь мистер Клиби принадлежал к ряду мужчин тех же жизненных правил и того же образа мыслей, что ее отец, ее братья и ее первый супруг.



# Джеймс Болдуин

## *Возвращение*

Я проснулся дрожащий, один в своей комнате, весь в липком холодном поту; простыня и матрац подо мной промокли. Простыня была серая и закрутилась в веревку, и дышал я так, словно перед этим от кого-то убегал.

Долгое время я был не в силах шевельнуть пальцем; лежал на спине, раскинув руки и ноги, уставив взгляд в потолок, и слушал, как пробуждается дом, трезвонят будильники, льется вода, открываются и закрываются двери и доносятся с лестницы звуки шагов. Я всегда знал, когда уходили на работу; парадная дверь внизу отворялась с визгом и скрежетом и закрывалась со странным двойным стуком: один глухой удар, за ним — другой, погромче, а под конец — чуть слышный щелчок. Пока дверь была открыта, до меня доносились также звуки улицы: цоканье копыт, громыханье фургонов, голоса людей, завывание грузовиков, взвизгивание легковых машин па асфальте.

Мне опять что-то снилось. По ночам я видел сны, а когда просыпался утром, меня била дрожь, но снов я не помнил, а помнил только, что бежал. Я не мог вспомнить, когда я впервые увидел этот сон (или сны); во всяком случае, давно. Подолгу я не видел никаких снов вообще, а потом вдруг они возвращались, и тогда уж ни ночи не проходило без них. Я боялся ложиться, я засыпал в страхе и в страхе пробуждался, и кошмар весь день ходил за мной по пятам.

Сейчас я вернулся из Чикаго, без гроша в кармане, и жил за счет друзей в грязной мебелированной дыре в центре. Пьеса, в которой я играл, сошла в Чикаго со сцены. Роль была не бог весть какая — да, по правде говоря, и не

бог вещь какая пьеса. Я играл интеллигентного дядю Тома, студента колледжа, работающего для своих черных братьев,— наверное, драматург хотел показать, какой он либерал. Но, как я уже говорил, пьеса быстро сошла со сцены, и вот я снова оказался в Нью-Йорке, и это меня совсем не радовало. Я знал, что надо искать работу, ходить и ходить, обивать пороги, но не делал ровным счетом ничего: не мог заставить себя. Стояло лето. Я был как выжатый лимон и с каждым днем ненавидел себя все больше. Жизнь актера нелегкая, даже если он белый. Я не высокий, не красавец, не умею петь и танцевать и к тому же чернокожий; так что большого спроса на меня не бывало даже в самые лучшие времена.

Комната, в которой я жил, была квадратная, с низким потолком и стенами цвета засохшей крови. Ее нашел для меня молодой еврей Жюль Вайсман. В этой комнате можно спать, сказал он, и умирать можно, но жить — бог свидетель — никак нельзя. Возможно, потому, что она такая страшная, в ней разместили бесчисленное множество светильников: один на потолке, один на левой стене, два на правой и лампа на столе у кровати. Кровать моя стояла перед окном, через которое не проникало ничего, кроме пыли. Обыкновенная меблированная комната, а напихали в нее столько всякой всячины, что хватило бы на меблировку трех таких же. Два кресла, бюро, кровать, стол, стул с прямой спинкой, книжный шкаф, платяной шкаф из прессованного картона; мои книги и мой чемодан, нераспакованные, и мое грязное белье в углу. Комната, словно предрекающая несчастью. Были в ней и камин с тяжелой мраморной доской и большое тусклое зеркало над ним. Разглядеть что-нибудь в зеркале было трудно — что, в общем-то, меня не трогало, — и не хватило бы жизни на то, чтобы разжечь огонь в этом камине.

— Ну, долго тебе пребывать здесь не придется, — сказал Жюль, когда мы вошли. Он провел меня тайком, когда уже стемнело и все спали.

— Будем надеяться.

— Скоро переезжаю в роскошные апартаменты, — утешил меня Жюль, — сможешь тогда перебраться ко мне.

Он включил все светильники.

— Сойдет пока? — спросил он, словно извиняясь, как будто это он был ответствен за вид комнаты.

— Ну что ты, конечно! Дадут мне жить, как ты думаешь?

— Дадут. Деньги заплачены, выставить тебя она не может.

Я промолчал.

— Ты затаись, — посоветовал Жюль, — Как... сам знаешь.

— Понял.

И вот я живу в ней третий день. Выхожу, когда все уходят, возвращаюсь, когда все уже спят, по знаю, что это не поможет. Кто-то из жильцов встретился мне на лестнице, какая-то женщина видела, как я выходил из сортира. Каждое утро я жду: вот-вот загрохочет в дверь домохозяйка. Я не знаю, что тогда будет, — может, все обойдется, а может, и нет, — но ожидание укорачивает мне жизнь.

Пот становился все холодней. Где-то внизу радио передавало симфоническую музыку. Играли Бетховена. Я приподнялся, сел, закурил сигарету. «Питер, — сказал я себе, — ты же мужчина, не давай им запугать тебя до смерти». Я стал слушать музыку и смотреть, как дым кольцами поднимается к грязному потолку, и ждал: вот-вот сквозь барабаны и трубы Людвига услышу на лестнице шаги.

Я много попутешествовал за свою жизнь, толкался по Сент-Луису, Фриско, Сиэттлу, Детройту, Новому Орлеану и кем только не работал! От старушечки я убежал, когда мне было лет шестнадцать. Ей со мной сладу не было. «Ничего путного из тебя не выйдет», — твердила она. Жили мы в негритянской части маленького городка в штате Нью-Джерси, в старой развалюхе — такой, в каких цветные ютятся повсюду в Штатах. Я ненавидел мать за то, что мы там живем, я ненавидел всех окружающих. Они ходили в церковь, пьянствовали, а с белыми были тише воды, ниже травы. Когда приходил домовладелец, они платили ему и терпели от него все.

Мне было семь лет, когда меня впервые назвали черномазым. Назвала меня маленькая белая девочка с длинными черными локонами. Я не любил играть около дома и уходил бродить по городу. Девочка играла одна в мяч; я проходил мимо и увидел, как мяч закатился в канаву.

Я достал его и бросил ей.

— Давай поиграем.

Но она прижала мяч к груди и скорчила гримасу.

— Мама не велит мне играть с черномазыми.

Я не знал, что означает это слово, но моя кожа стала горячей. Я показал ей язык.

— Ну и не надо, играй одна со своим дрянным мячом. — Я пошел дальше.

Она завизжала мне вслед:

— Черномазый, черномазый!

Я обернулся и закричал:

— Твоя мать тоже черномазая!

Вернувшись домой, я спросил у своей матери, что это значит.

— Кто тебя так назвал?

— Один человек.

— Кто?

— Просто один человек.

— Иди умойся, — сказала она. — Грязный, как поросенок. Ужин на столе.

Я пошел в ванную, умылся без мыла и вытер полотенцем лицо и руки.

— И это, по-твоему, умывание? — сердито закричала мать. — Иди-ка сюда!

Она потащила меня назад в ванную и принялась намыливать мне лицо и шею.

— Будешь ходить таким грязнулей, так тебя все будут звать маленьким черномазым!

Она ополоснула мне лицо водой, проверила мои руки и вытерла меня досуха.

— А теперь иди ужинай.

Я молча пошел на кухню и сел к столу. Помню, как мне хотелось плакать. Мать села напротив.

— Мама, — сказал я. Она посмотрела на меня. Я зарыдал.

Она бросилась ко мне и обняла меня.

— Не плачь, малыш. В другой раз, если кто назовет тебя черномазым, скажи ему: лучше быть черным, чем таким подлым и злым, как другие белые.

Когда я подрос, мы, мои друзья и я, стали ходить вместе. Когда мы видели где-нибудь за забором белых мальчиков с их друзьями, мы швыряли камни и жестянки в них, а они в нас.

Я приходил домой в крови. Мать шлепала меня, бранила и плакала.

— Хочешь, чтобы тебя убили? Хочешь кончить как твой отец?

Мой отец был непутевый, я не видел его ни разу. В честь его меня называли Питером.

У меня были бесконечные неприятности — со школой (из-за прогулов), с общественностью и со всеми жителями городка.

— Нет, не выйдет из тебя ничего путного! — повторяла мать.

Один за другим ребята постарше кончали школу, шли на работу и обзаводились семьями. Обзаведутся семьей, произведут на свет новых чернокожих младенцев, будут вносить ту же самую плату за те же самые развалюхи — и так без конца.

Когда мне исполнилось шестнадцать лет, я убежал. Я оставил записку, в которой написал, чтобы мама не волновалась — когда-нибудь я вернусь, и все будет хорошо. Но когда мне исполнилось двадцать два, она умерла. Я вернулся похоронить ее. Все было такое же, как прежде. Наш дом за эти годы не красили, крыльцо осело, а разбитое окно было заткнуто чьим-то дождевиком: въезжала другая семья. Их мебель стояла в беспорядке у стен, их дети с визгом носились по всему дому, а на кухне жарили свиные отбивные. Старший мальчик прибивал зеркало.

В прошлом году Ида взяла меня прокатиться на своей большой машине, и мы проехали с ней через пару глухих городишек. Мы ехали и увидели на левой стороне дороги несколько полуразвалившихся домишек; ветер развеивал на веревке белье.

— Неужели здесь живут? — спросила Ида.

— Всего лишь негры, — ответил я.

Ида повела машину дальше, сердито молотя кулаком по гудку.

— Питер, ты понимаешь, что становишься параноиком?

— Хорошо, хорошо, знаю: с голоду умирает также много белых.

— Ты даже не представляешь себе, насколько ты прав. О бедности я кое-что знаю.

Ида — из семьи ирландских бедняков. Выросла в Бостоне. Очень красивая женщина, вышедшая замуж рано, к тому же — ради денег («Так что теперь я сама могу содержать привлекательных молодых людей», — со смехом говорила она). Ее муж был балетный танцовщик — вечно в разъездах; Ида подозревала, что его интересуют маль-

чки. «Вообще-то мне наплевать,— говорила она,— лишь бы меня не трогал». Когда мы познакомились в прошлом году, ей было тридцать, а мне — двадцать пять. Связь была довольно бурная, но прочная. Когда я приезжал, я всегда ей звонил; если где-нибудь в другом городе оказывался на мели, всегда обращался к ней за помощью. Вылиться нашим отношениям во что-то серьезное мы не позволяли: она шла своей дорогой, я — своей.

В бесконечных скитаниях я кое-чему научился. Как боксер научается принимать удары или танцор — падать, так я научился жить. В частности, научился никогда не спорить с полицейскими. Я понял, что всегда окажусь неправым. То, что в ком-нибудь другом будет воспринято как добрая старая американская независимость, во мне посчитают недопустимой наглостью. После нескольких инцидентов такого рода я понял: надо ловчить, надо играть роль, которой от тебя ждут. Голова у меня одна, и потерять ее было слишком легко. Когда передо мной вырастала фигура полицейского, я прикидывался идиотом, опускал нижнюю челюсть и широко открывал глаза. Не умничал с ним: никаких глупостей насчет прав. Соображал, каких ответов он от меня ждет, и он получал их. Не допускал, чтобы он хоть на секунду перестал чувствовать себя властелином. Если речь шла не об обычной проверке, если задерживали меня по подозрению в грабеже или убийстве, случившихся в округе, я становился смиренником дальше некуда, помалкивал в тряпочку и молился. Пару раз меня избили, но до тюрьмы дело пока не доходило. Как заметила однажды Ида, помимо прочего мне просто везло.

— Может, лучше было бы, если бы тебе везло немного меньше. Человека могут постигнуть вещи худшие, чем тюрьма. С некоторыми ты знаком.

В ее голосе было нечто такое...

— Ты это о чем? — спросил я.

— Не лезь в бутылку, я сказала — могут.

— Ты хочешь сказать, что я трус?

— Я не говорила этого, Питер.

— Но именно это имела в виду — ведь так?

— Нет, не это, и вообще ничего. Не будем ссориться.

В некоторых ситуациях негр может пользоваться цветом своей кожи как щитом. Может спекулировать на подсудном чувстве вины англосакса и таким путем получать то, что хочет иметь, полностью или, на худой конец, частично. Может спекулировать на том, что он нежелателен

или запрещен; может действовать цветом кожи как ножом, поворачивая его то так, то этак — и таким путем мстить. Все эти истины я знал задолго до того, как понял, что я их знаю, и сначала пользовался ими, не понимая, что происходит. Потом, когда начал понимать, у меня появилось чувство, будто меня предали, чувство, что я побит как личность, лишен честной позиции.

Это случилось за год до знакомства с Идой. Я играл в разных паевых труппах и небольших залах иногда неплохие роли. Люди относились ко мне хорошо, говорили, что у меня талант, но говорили печально, словно думая: «Как жаль, ведь он ничего не добьется». Я дошел до того, что мне стали невыносимы похвалы и невыносима жалость, и меня все время мучил вопрос: что думают люди, когдажимают мне руку? В Нью-Йорке я сошелся с очень приятной компанией — открытые, пьющие, богема; но доверял ли я им, был ли я вообще в состоянии доверять кому бы то ни было? Не на поверхности, доступной взглядам всех, а под ней, где протекает подлинная наша жизнь.

Надо было вставать. Я заслушался музыкой Людвига. Он сотрясал маленькую комнату поступью великана, шагающего за мили отсюда. Летними вечерами (может, побываем там и этим летом) Жюль, Ида и я отправлялись на стадион в Бронкс и садились под колоннами па холодные каменные ступени. Оттуда небо казалось мне далеким-далеким, и я был не я и парил где-то высоко над землей.

Мы молча сидели и смотрели на кольца синего дыма в воздухе, на оранжевые кончики сигарет. Время от времени по крутым ступеням взбегали, громко переговариваясь, мальчишки, торгующие лимонадом, воздушной кукурузой и мороженым; Ида чуть меняла положение и поправляла свои иссиня-черные волосы; Жюль провожал мальчишек рассерженным взглядом. Я сидел, уткнувшись подбородком в колени, и смотрел на полумесяц света внизу, на извивающегося дирижера в черном фраке, на безликих людей под ним, колышущихся в ритме моря. Временами музыка оркестра стихала, словно уступая дорогу набегающему, зовущему, запинаящемуся роялю. Умолкало все, кроме карабкающегося ввысь соло; наконец оно достигало вершины, и все присоединялось к нему — сначала скрипки, а за ними медь, а потом глубокий, печаль-

ный контрабас, и флейта, и яростно топчущие все на своем пути барабаны, бьющие, бьющие, взбирающиеся все выше, чтобы остановиться вдруг с грохотом, подобным рассвету. Я был один, когда в первый раз услышал «Мессию»; моя кровь вскипела вином и пламенем; я плакал как ребенок, просящий материнского молока, или как грешник, бегущий навстречу Иисусу.

Сквозь музыку я услышал шаги на лестнице. Я вынул изо рта сигарету. Сердце билось так, что, казалось, еще немного — и оно вырвется из груди. В дверь постучали.

— Не отвечай — может, она уйдет, — сказал я себе.

Но постучали снова, уже сильнее.

— Одну минутку!

Я спустил ноги с постели и надел халат. Я дрожал, как последний дурак. «Бог с тобой, Питер, разве все это тебе незнакомо? Чего бояться? Самое худшее — останешься без комнаты; так ведь в мире полно комнат!»

Я открыл дверь. За ней стояла домовладелица с лицом в красно-белых пятнах. Она была в истерике.

— Кто вы такой? Эту комнату я сдавала не вам.

Во рту у меня пересохло. Я попробовал было что-то сказать.

— Здесь цветным не место, — перебила она. — Все квартиросъемщики жалуются. Женщины боятся возвращаться по вечерам.

— Нечего им меня бояться.

Мне никак не удавалось овладеть своим голосом, он срывался и дребезжал в моей гортани, и во мне начала подниматься злоба. Захотелось совершить убийство.

— Эту комнату снял для меня друг.

— Извините, но он не имел никакого права так поступать. Лично против вас ничего не имею, но вы должны освободить помещение.

Она блестела очками; в свете, падающем на площадку, они казались мутными. Она была напугана до смерти, боялась меня, но еще больше боялась потерять своих квартиросъемщиков. Лицо ее было в крапинах злобы и страха, дышала она прерывисто, а в углах рта пузырилась слюна; дыхание ее отдавало зловонием шницеля, гниющего в июльский день.

— Вы не можете меня выгнать, — сказал я. — Комнату сняли на мое имя.

Я начал закрывать дверь, как будто вопрос был исчерпан.



— Я здесь живу, понятно вам, это моя комната, выгнать меня вы не можете.

— Вон из моего дома! — завопила она. — Я имею право знать, кто у меня живет! Это белый район, я цветным не сдаю. Почему вы не отправитесь в Гарлем, к своим?

— Я не выношу черномазых, — ответил я и снова попытался закрыть дверь, но она просунула ногу. Мне хотелось убить ее, я смотрел на ее тупое, испуганное, морщинистое белое лицо, и мне хотелось взять в руки дубину или топор и ударить с размаху по ее голове, расколоть ее череп по пробору, делившему надвое седые, отливающие сталью волосы.

— Отпустите дверь, — сказал я, — мне надо одеться.

Но я знал уже, что победа за ней, что придется уйти. Мы стояли не шевелясь и глядели друг на друга немигающими глазами. Она источала ярость, и страх, и еще что-то. «Падаль вонючая», — подумал я и с нехорошим смешком сказал:

— Что, хочется на меня посмотреть?

Выражение ее лица не изменилось, ногу она не убрала. Мою кожу покалывало, тело пронзали тоненькие раскаленные иглы. Я почувствовал свое тело под халатом; и почему-то казалось, будто когда-то я совершил какой-то немисливо чудовищный проступок, и все о нем помнят, и меня за него убьют.

— Не уберетесь сами, — пригрозила она, — приведу полицейского, он вас выгонит.

Я судорожно вцепился руками в дверь — только бы удержаться, не ударить ее! — и сказал:

— Хорошо, хорошо, подавитесь своей проклятой комнатой. А сейчас выметайтесь, мне надо одеться.

Она отвернулась. Я захлопнул дверь. Услышал, как она спускается по лестнице. Пошвырял в чемодан свое барахло. Я старался делать все не спеша, но, когда брился, порезался, потому что боялся, что она приведет полицейского.

Когда я пришел к Жюлю, он заваривал кофе.

— Привет, привет! Что случилось?

— Все номера заняты, — пошутил я. — Налейте чашку кофе незадачливому сыну человеческому.

Я разжал руку, чемодан упал на пол; я сел.

Жюль посмотрел на меня.

— Так вот значит что... Кофе сейчас будет.

Он достал чашки. Я закурил. Я не знал, что сказать.

Я понимал, как пакостно у него на душе, и мне хотелось сказать ему, что он не виноват.

Быстрыми движениями он поставил передо мной кофе, сахар, сливки.

— Не горюй, детка. Мир велик, а жизнь... она долгая.

— Перестань, я твоей никудышной философией сыт по горло.

— Извини.

— Я хочу сказать — не будем говорить о добре, истине и красоте.

— Хорошо. Но не сиди, не демонстрируй, как ты умеешь держать себя за столом. Если хочется кричать — кричи.

— Криком делу не поможешь. А потом... я уже большой мальчик.

Я помешал кофе.

— Устроил ей веселую жизнь? — спросил Жюль.

Я покачал головой.

— Нет.

— Ну почему, черт возьми?

Я пожал плечами: теперь мне стало немножко стыдно.

— Все равно бы мне с ней не справиться — так какого дьявола?

— А может, справился бы или хоть доставил ей несколько неприятных минут.

— Да гори она огнем! С меня хватит. Неужели ради крыши над головой я должен таскаться по судам? Я устал грызться как собака с каждым Томом, Гарри и Диком за то, что все прочие получают, не затрачивая никаких сил, — устал, слышишь, устал! Испытывал ты к чему-нибудь смертельное отвращение? Я его испытываю. И мне страшно. Я так давно грызусь и воюю, что перестал быть личностью. Я не Букер Т. Вашингтон, я не мечтаю о равноправии для всех — мне нужно равноправие хотя бы для меня одного. Если так будет продолжаться дальше, меня отправят в Бельвю<sup>1</sup>, я не выдержу, разобью кому-нибудь голову. Эта жалкая комнатуха меня не волнует — меня волнует, что вообще сейчас происходит со мной. Я не хожу по улицам, а крадусь. Так со мной еще никогда не было. Когда я иду в новое для меня место, я все время думаю, что там произойдет, буду ли я принят как равный, а если буду, то смогу ли сам относиться к ним так же?..

<sup>1</sup> Психиатрическая больница в Нью-Йорке.

- Ты не переживай.
- На мне живого места нет.
- Не выдумывай. Пей кофе.

— О, я знаю, тебе кажется, что я делаю из мухи слона, что я параноик и все придумываю? Иногда, может, и так — откуда мне знать? Когда тебя бьют и бьют, кончаешь тем, что все время ждешь удара. О, я знаю, ты еврей, на тебя тоже сыплются пинки, но ты можешь войти в бар, и ни одна душа в нем не будет знать, что ты еврей, а если ты пойдешь искать работу, тебе дадут лучшую, чем мне! Не знаю, как это описать. Знаю, нелегко всем, у каждого свое, но как объяснить, чтобы ты понял, что это такое — быть черным, когда сам я этого не понимаю и понимать не хочу и все время стараюсь об этом забыть? Я никого не хочу ненавидеть... хотя и любить теперь никого не могу... друзья ли мы с тобой? И можем ли мы вообще быть друзьями?..

— А мы все-таки друзья, пусть тебя это не волнует. — И Жюль нахмурился. — Если бы я не был евреем, я спросил бы тебя, почему ты не живешь в Гарлеме.

Я посмотрел на него. Он поднял руку и улыбнулся.

— Но я еврей, и поэтому мне незачем спрашивать. Ох, Питер, — вздохнул он, — чем мне помочь тебе? Пойди пройдишь или напейся вдрызг. У нас с тобой одинаковая судьба.

Я встал.

— Я вернусь потом. Прости меня.

— Чего прощать-то? Ночуй у меня, дверь будет открыта.

— Спасибо.

Я чувствовал, что погибаю, что ненависть, как рак, разъедает меня до кости.

Я обедал с Идой. Местом встречи был ресторан в Гринвич-Вилледже, итальянский, в мрачноватом подвале, со свечами на столах.

Народу было мало, и это меня очень радовало. Когда я вошел, я увидел только две пары, обе — в противоположном конце зала. На меня никто не взглянул. Я сел в угловой кабинке и заказал «старомодный»<sup>1</sup>. Ида запаздывала, и до ее прихода я успел взять еще два.

<sup>1</sup> Название коктейля.

Она пришла очень элегантная, в черном платье с высоким воротом, заколотым жемчужной брошью, с волосами почти до плеч, как у пажа.

— Детка, ты необыкновенно мила.

— Спасибо. Заняло на пятнадцать минут больше обычного, но я надеялась, что время окупится.

— Окупилось. Что будешь пить?

— Ммм... Ты что пьешь?

— «Старомодный».

Она потянула ноздрями и посмотрела на меня.

— Сколько?

— Три.

— Ну что ж, надо же было тебе как-то убить время.

Подошел официант. Мы решили взять один Манхэттен<sup>1</sup>, одну лапшу, одно спагетти и еще один «старомодный» для меня.

— Ну как, удачный сегодня день? Нашел работу, милый?

— Нет, — ответил я, поднося огонь к ее сигарете. — «Метро»<sup>2</sup> обещала мне целое состояние, если я поеду на Запад<sup>3</sup> и возьму главную роль в «Сыне Америки», но я отказался. Типаж для них, видите ли, подходящий! Да, трудно найти хорошую роль.

— Если в ближайшее время они не предложат тебе что-нибудь приличное, скажи им, что вернешься к Селзнику. Уж он раздобудет тебе острую роль. Подумать только, тебе — «Сына Америки»! Я против.

— Мне ты это можешь не говорить. Я сказал им: если за две недели они не подберут для меня пристойного сценария, я отчаливаю.

— Это уже другой разговор, Питер, мой мальчик!

Принесли коктейли, и на минуту или две мы умолкли. Половину своего я проглотил сразу и стал играть зубочистками для посетителей, лежавшими на столе. Я чувствовал на себе взгляд Иды.

— Питер, тебя развезет.

— Деточка, первое, чему учится джентльмен-южанин, — это пить не пьянея.

— Этот миф древней скалы веков. К тому же ты из Нью-Джерси.

---

<sup>1</sup> Название коктейля.

<sup>2</sup> Название крупной кинокомпании.

<sup>3</sup> На западе США, в Калифорнии, находится Голливуд.

Я одним глотком допил коктейль и зло огрызнулся:

— Стоит Юга, можешь мне поверить.

Через стол я наблюдал, как она готовит себя к возможному неприятному разговору: очертания ее рта стали жестче, подбородок посередине расскела неглубокая продольная ложбинка.

— Что сегодня случилось?

Все восставало во мне против ее заботы, против моей нужды.

— Ничего особенного, — процедил я сквозь зубы, — просто такое настроение.

И попытался улыбнуться ей, изгнать из сердца наболевшее.

— Теперь я точно знаю: что-то случилось. Пожалуй-ста, расскажи мне.

Прозвучало это как-то очень тривиально.

— Помнишь, Жюль нашел мне комнату? Так сегодня домовладелица меня выгнала.

— Боже, спаси американский народ! У тебя нет желания порастратить сколько-нибудь денег моего мужа? Мы можем подать на нее в суд.

— Забудь об этом. Дело кончится тем, что мне придется подавать в суды всех штатов до единого.

— Все-таки как жест...

— К черту жесты! Как-нибудь обойдусь.

Принесли еду. Есть не хотелось, при первом же соприкосновении желудка с пищей он, желудок, завибрировал, как гонг. Ида начала резать лапшу.

— Питер, — заговорила она, — постарайся не переживать так. Это наша, всего мира общая судьба. Не дай этому себя свалить. С тем, чего нельзя изменить, надо уживаться.

— Тебе легко говорить.

Она взглянула на меня и быстро отвела глаза в сторону.

— Я вовсе не думаю, что это просто, — ответила она.

Я не верил, что она может это понять, и сказать ей мне было нечего. Я сидел как ребенок, которого отчитывают, смотрел в тарелку, не ел, молчал. Мне хотелось, чтобы она перестала говорить, перестала быть такой понимающей, такой спокойной и взрослой; о боже, никто из нас не взрослеет и не повзрослеет никогда.

— Нигде не лучше, — говорила она. — В Европе повсюду голод и болезни, в Англии и во Франции ненавидят евреев... Никакого просвета, милый, слишком пустые го-

ловы у людей, слишком пустые сердца; люди всегда стараются уничтожить то, чего не понимают; а так как понимают они очень мало, то ненавидят почти все на свете...

Я, у своей стенки, начал потеть. Мне хотелось остановить ее, хотелось, чтобы она ела молча и меня не трогала. Я поискал глазами официанта, чтобы заказать еще коктейль, но он на другом конце ресторана обслуживал новых гостей: пока мы сидели, народу поприбавилось.

— Питер, — сказала Ида, — Питер, прошу тебя, не смотри так.

Я улыбнулся — намалеванной улыбкой клоуна-профессионала.

— Не переживай, детка, все будет в порядке. Я знаю, что я сделаю: вернусь к своим, туда, где мое место, найду себе хорошую, черную, как сажа, девку и заведу кучу детей.

У Иды была одна дурная привычка, она встречается обычно у старых воспитательниц; и теперь, введенная в заблуждение моей улыбкой, Ида снова проявила ее — подняла вилку и сильно ударила ею мне по пальцам.

— А ну-ка прекрати! Большой уже!

Я взвыл и, вскочив, перевернул свечу.

— Никогда, слышишь, ты, сука, никогда больше так не делай!

Она подхватила свечу, поставила на место и обожгла меня гневным взглядом; лицо ее стало белым как мел.

— Сядь сейчас же!

Я мешком плюхнулся на свое место; желудок мой словно наполнился водой. Все смотрели на нас. Во мне все похолодело, когда я понял, что они видят: черного юношу и белую женщину, одних, вместе. Я знал: этого более чем достаточно для того, чтобы их зубы сомкнулись на моем горле.

— Прости, — залепетал я, — прости...

За моей спиной уже стоял официант.

— Все в порядке, мисс?

— Да, абсолютно, благодарю вас, — произнесла она тоном принцессы, разрешающей рабу удалиться. Я не поднимал глаз. Тень официанта скользнула прочь.

— Детка, — сказала Ида, — извини, пожалуйста, извини меня.

Я не отрывал взгляда от скатерти. Ида положила свою руку на мою — свет и тьма.

— Пойдем, — попросил я, — мне очень стыдно.

Она сделала знак рукой, чтобы дали счет; не глядя на официанта, протянула ему десятидолларовую бумажку и взяла сумочку.

— Мы пойдем в ночной клуб, в кино или еще куда-нибудь?

— Нет, дорогая, не сегодня. — И я посмотрел на нее. — Я устал, и, пожалуй, мне надо двигаться к Жюлю. Пока буду спать у него на полу. За меня не волнуйся, со мной все благополучно.

Она пристально посмотрела на меня:

— Но я могу зайти к тебе завтра?

— Да, детка, приходи, пожалуйста.

Официант принес сдачу, и она дала ему на чай. Мы поднялись; пока мы, не глядя па людей, шли мимо столиков, мне казалось, что земля подо мной проваливается, казалось, что до выхода недостижимо далеко. Все мышцы мои были напряжены до предела; я был как сжатая пружина; я ждал удара.

Я сунул руки в карманы, и мы пошли вдоль квартала. Огни, зеленые и красные, огни кинотеатра на той стороне улицы, взрывались желтым и голубым, вспыхивали и гасли.

— Питер.

— Да?

— Так я приду завтра?

— Угу. К Жюлю. Я буду ждать.

— Спокойной ночи, милый.

— Спокойной ночи.

Я зашагал, чувствуя на своей спине ее взгляд. На ходу отшвырнул ногой с тротуара бутылочную пробку.

Боже, спаси американский парод.

Я спустился в метро и сел в поезд, идущий к окраине, не зная, куда он идет, и не желая знать. Меня окружали неизвестные люди-острова, скрывающиеся за раскрытыми газетами, за косметикой, за жирными мясистыми масками с неживыми глазами (на меня не смотрел никто). Я рассматривал рекламу, неправдоподобных женщин и розовощеких мужчин; они продавали сигареты, сладости, крем для бритья, ночные сорочки, жевательную резинку, кинофильмы; секс; секс без органов, суше песка и потаеннее смерти. Поезд остановился. Вошли белые юноша и девушка. Она — привлекательная, небольшого роста, стройная, точеные ноги. Она висела на его руке. Он — тип футболиста, блондин, румяный. Оба были одеты по-

летнему. Ветер из дверей поднял подол ее штапельного платья, она взвизгнула, прижимая платье к коленям, захихикала и поглядела на него. Он сказал что-то, чего я не расслышал, и она взглянула на меня, и ее улыбка растаяла. Она повернулась лицом к нему и спиной ко мне. Я опять стал рассматривать рекламу и почувствовал, как меня захлестывает ненависть. Мне хотелось сделать что-то такое, что причинило бы им боль, такое, что разбило бы вдребезги розовошекую маску. Белый юноша и я больше ни разу не взглянули друг на друга. Они сошли на следующей станции.

Хотелось выпить. Я вышел в Гарлеме и первым делом направился в захудалый бар на Седьмой авеню. Мои братья, братья мои... На углу околачивались, поджидая кого-то, стилиаги. Проплывали, покачиваясь на высоких каблуках, женщины в летних платьях: цок-цок, цок-цок. По улицам разъезжала конная полиция — белые. На каждом углу торчало по пешему полицейскому. Увидел я и полицейского-негра.

Боже, спаси американский народ.

Из музыкального автомата несло «Хэмпс буги». Казалось, бар подпрыгивает. Я подошел к стойке.

— Виски.

Рядом со мной стояла чья-то бабушка.

— Хэлло, папаша, что закладываешь?

— Что закладываю, детка, то тебе все равно не достать, — ответил я. Подали виски, и я прильнул губами к стакану.

— Черномазый, — сказала она, — воображает о себе невесть что.

Я не ответил. Она отвернулась к своему пиву, отбивая ногой ритм; лицо ее было озабоченное и угрюмое. Я искося наблюдал за ней. Когда-то она была миловидной, даже хорошенькой — до того как начала прикладываться к бутылке и кочевать из постели в постель. Теперь ее тело стало дряблым, тонкое платье распирал жир. Интересно, какая она в постели, подумал я — и понял, что она немного возбудила меня; я засмеялся и поставил стакан на стойку:

— Еще одно с прицепом.

Автомат играл теперь что-то другое, духовное и популярное, вещь эта мне не нравилась. Я пил и пил, вслушиваясь в голоса, вглядываясь в лица (боже, помилуй нас, перепуганных американцев). Я жалел, что рассердил



женщину — она все еще сидела со мной рядом; теперь она была поглощена разговором с женщиной помоложе. Все мое существо молило о каком-то знаке, о чем-то, что позволило бы мне влиться в кипящую вокруг жизнь; но не было ничего, кроме цвета моей кожи. Какой-нибудь белый, заглянув сюда, увидел бы молодого негра, пьющего в негритянском баре, в своей стихии, на своем, как говорится, месте. Но люди, сидевшие в баре, а с ними и я, знали другое: для меня среди них места нет.

И потому я пил в одиночестве и после каждого стакана говорил себе: «Вот сейчас я уйду». Но я боялся уйти; я не хотел спать на полу у Жюля; я не хотел спать вообще. Я пил без конца и слушал пластинки. Сейчас пела Элла Фицджералд — «Кау-Кау буги».

— Разрешите угостить вас, — обратился я к женщине.

Она посмотрела на меня, озадаченная, ожидающая подвоха, готовая в любой момент дать отпор.

— Серьезно, — сказал я и попытался улыбнуться. — Вас обеих.

— Мне пиво, — сказала та, что помоложе.

Меня трясло как в лихорадке. Я допил стакан одним махом.

— Что угодно. — И повернулся к стойке.

— Детка, — спросила старшая, — что у тебя за история? Перед нами поставили три пива.

— У меня нет истории, ма.

# Генри Джеймс

## *Частная жизнь*

### I

Мы говорили о Лондоне у подножия огромного альпийского глетчера, обросшего щетиной первобытного льда. Время и место действия в какой-то мере примиряли с унижительностью современных условий путешествий — вульгарностью разношерстных попутчиков, отелями и станциями, стадным терпением и борьбой за крохи внимания, с низведением вас до уровня одного из многих. Высокогорная долина адела розами, воздух был свеж и прохладен, и мир казался совсем юным. Полдень румянил вечный снежный покров, и вместе с ароматом согретых солнцем трав к нам доносилось дружеское позвякивание колокольчиков невидимого стада. Прелестная горная тропинка упиралась в гостиницу, увешанную балкончиками. Вот уже целую неделю мы наслаждались отличным обществом и погодой.

Мы понимали, что нам повезло, ибо и одного из этих двух обстоятельств было бы достаточно, чтобы вознаградить за отсутствие другого.

И действительно, погода могла легко примирить с отсутствием общества, однако ее не пришлось подвергнуть подобному испытанию, ибо по счастливой случайности здесь собрался весь *fleur des pois*<sup>1</sup>: лорд и леди Меллифонт, Клер Водри — крупнейшая (по мнению многих) «звезда» литературного мира, и Бланш Эдни — крупнейшая (по мнению всех) театральная «звезда». Я называю их первыми, ибо в ту пору в Лондоне люди делали все, чтобы «заполучить» их к себе. Обычно их «ангажировали»

<sup>1</sup> Цвет общества (*франц.*).

за шесть недель вперед, здесь же мы столкнулись с ними — мы все столкнулись друг с другом, — не пустив в ход ни одной из светских пружин. Игра случая забросила нас сюда всех вместе в конце августа, и мы с благодарностью подчинились судьбе и барометру. Мы знали: минут золотые деньки (и это случится достаточно скоро), мы разбредемся в разные стороны, избрав каждый свою тропинку.

Мы принадлежали к одному кругу, и нас различали по одному и тому же клейму. В Лондоне мы встречались нерегулярно, но все подчинялись одним и тем же законам, нормам языка, традициям — тайному паролю тесной социальной среды. Все мы, даже наши дамы, я думаю, «что-то делали», но когда об этом заходила речь, делали вид, что ничего такого нет и в помине. Об этом в Лондоне просто не говорят. Здесь же нам доставляло невинное удовольствие не быть похожими на самих себя. Должен же был существовать способ проявить отличие, тем более что все мы ощущали себя в «отпуску». Нам казалось, что мы попали в более человеческую обстановку, во всяком случае, сами стали человечнее.

Именно это и обсуждали сейчас, глядя на зарумянившийся глетчер, когда кто-то обратил внимание на продолжительное отсутствие лорда Меллифонта и миссис Эдни. Мы сидели на террасе, заставленной столиками и скамейками, и те, кто упорнее других старался продемонстрировать свой «возврат к природе», следуя странной привычке немцев, пили кофе до обеда.

Никто не подхватил сделанного замечания, даже леди Меллифонт и наш утонченный композитор — Крошка Эдни. Оно вклинилось в короткую паузу в монологе Клера Водри (знаменитость именовалась Кларенсом только на титульном листе). Темой его монолога как раз и было открытие, что все мы оказались «такими человеческими». Он вопрошал собравшихся, не появилось ли у них в глубине души желания сказать друг другу: «А я и не представлял, какой вы, в сущности, милый человек». Что касается меня, то именно это я подумал о нем. Он оказался даже во сто крат милее, чем можно было предполагать. Но развить эту тему тогда мне не пришлось, ибо у нас существовал негласный закон: «Когда говорит Водри, все молчат». И вовсе не потому, что он ждал этого от нас. Наоборот, из всех любителей поговорить он казался самым непосредственным, наименее жадным к успеху и меньше всего профессионалом. И все же в Лондоне хозяин и хозяйка

дома, всякий раз, когда великий новеллист обедал у них, считали своим священным долгом создать вокруг него кружок благоговейных слушателей. В тот период, о котором идет речь, среди всех присутствующих не было, пожалуй, ни одного, к кому он не был приглашен на обед, и все мы подчинялись силе привычки. Обедал он как-то и у меня, и в тот вечер, точно так же, как и здесь в Альпах, мне не нужно было делать никаких усилий, чтобы держать рот на замке: я был целиком поглощен решением некоего вопроса, мучавшего меня всякий раз, когда перед моим взором предстал этот широкоплечий, плотный белокурый человек.

Вопрос этот не давал мне покоя еще и потому, что сам Водри, по моему глубокому убеждению, столь же мало подозревал о моих мучениях, как и о том, что каждый божий день за обедом все внимают ему одному. Ежедневные журналы называли его «субъективным» и «склонным к интроспекции», но если под этим подразумевалась жадность к признанию, то ни одна светская знаменитость, я убежден, не была более равнодушна к этому, чем Водри. Он никогда не говорил о себе — редкое достоинство, над которым он ни разу не задумался, хотя по праву мог бы им гордиться. У него был свой распорядок дня, свои привычки, свой портной и шляпочник, свои понятия о гигиене и свое любимое вино, но все это вместе не превратилось в позу. И все же это была поза — единственная, которую он допускал. Вот почему он сразу заметил, насколько мы «милее» за границей, чем дома. Сам он был недоступен переменам и ни на йоту не становился «милее» от перемены мест. Он не был похож ни на кого, но всегда был самим собой, если не считать одного необыкновенного обстоятельства, о котором я и собираюсь поведать вам. Он производил впечатление человека, лишенного каких-либо предпочтений, смены чувств и настроений. Могло показаться, что его окружало всегда одно и то же общество, настолько несущественной была для него разница в возрасте, поле и положении собеседника. Он разговаривал с женщинами, как если бы они были мужчинами, и сплетничал со всеми мужчинами без разбору, не отличая умных от глупцов. Я приходил в отчаяние от того, что все темы нравились ему одинаково — а ведь среди них были такие, которые я просто терпеть не мог. Ни разу не услышал я от него ни одного парадокса, ни одной оригинальной мысли или смелого сравнения. Идея объявить нас «милыми»

прозвучала для меня совершенной неожиданностью. Мнения его отличались здравомыслием и посредственностью, чувства его оставались для меня загадкой. Я завидовал его великолепному здоровью.

Когда Водри, промаршировав ровным шагом по плоскогорью анекдота, добрался с чистой совестью до вершин остроумия, которые, подобно дорожным знакам и ветряным мельницам, виднелись издалека, я заметил, что внимание леди Меллифонт чем-то отвлечено. Я сидел рядом с ней и видел, как взгляд ее с легким беспокойством скользил по ближайшему горному склону. Наконец, взглянув на часы, она обратилась ко мне:

— Вы не знаете, куда они пошли?

— Вы имеете в виду миссис Эдпи и лорда Меллифонта?

— Да, лорда Меллифонита и миссис Эдни.

Миледи — совершенно бессознательно, конечно, — исправляла допущенную мною синтаксическую ошибку. Мне и в голову не пришло принять это за проявление ревности. Я не смел приписать ей подобной вульгарности, во-первых, потому, что она мне нравилась, а во-вторых, всякий человек, не задумываясь, поставил бы имя лорда Меллифонта первым. Он и был первым по сути своей. Я не говорю величайшим, или мудрейшим, или самым знаменитым, но первым, ибо это было его назначением: быть первым во главе списка и во главе стола. Это определяло его положение, и его жена, естественно, так все и воспринимала. Моя же фраза прозвучала так, как будто лорд Меллифонт подчинился миссис Эдни. Это было немыслимо: он не подчинялся, он мог лишь подчинять. Никто не понимал этого лучше, чем леди Меллифонт. Я немного побаивался этой женщины, меня пугало ее чопорное молчание и преобладание черного во всей ее персоне. Я считал ее суровой и даже мрачной. Бледность ее отливала сталью, а блестящие черные волосы казались сделанными из металла, точно так же как и гребни, шпильки и обручи, неизменно обрамлявшие ее прическу. Она ходила в постоянном трауре, носила бесчисленные украшения из агата и оникса и была с ног до головы увешана блестящими цепочками и бусами из стекляруса. Я слышал, как миссис Эдни как-то назвала ее царицей ночи, и, если считать, что ночь была обычной, эпитет как нельзя более подходил к ее облику. У нее была какая-то тайна, и хотя при близком знакомстве вам так и не удавалось ее раскрыть, БЫ начинали понимать, как скромна и нежна эта женщина

и сколько печали в ее смирении. Казалось, ее подтачивает какой-то недуг, не причиняющий боли, но опасный.

Я сказал, что около часу назад видел, как ее муж со своей спутницей направлялись к ущелью, и предложил спросить мистера Эдни, не известны ли ему их намерения. Винсент Эдни, несмотря на свои пятьдесят лет, выглядел послушным мальчуганом, отлично усвоившим правило, что в обществе взрослых дети должны молчать, и с удивительным тактом играл роль мужа блистательной комедийной знаменитости. И хотя она делала все возможное, чтобы облегчить его задачу, нельзя было не восхищаться грацией и очаровательным добродушием, с которым этот человек, не принадлежавший сцене — во всяком случае театральным подмосткам, — справлялся со своей ролью. Он не просто сумел найти выход из щекотливой ситуации, но использовал ее так, что это придало интерес ему самому. Он положил свою любовь к жене на музыку. Вы помните, какими искренними были его произведения — единственные английские композиции, которые, насколько мне известно, с удовольствием слушали иностранцы. Его жена присутствовала в них всегда — то были и его чувства и отголоски впечатлений, производимых ею на всех. Слушая эти композиции, вы представляли, как она с распущенными волосами, походкой сильфиды, смеясь, пересекает сцену. Он был лишь скромным скрипачом в ее театре, никогда не забывавшим свое место во время представлений, но она сделала из него существо редкое, мужественное, непонятое. Их неравенство превратилось в союз партнеров, а их счастье стало частью счастья их друзей. Единственное огорчение Эдни заключалось в том, что он не мог написать пьесу для своей жены, а его единственное вмешательство в ее дела — в том, что с просьбой написать такую пьесу он обращался к самым неподходящим людям.

Бросив на него взгляд, леди Меллифонт заметила, что предпочитает не задавать ему вопросов, и тут же добавила:

— Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел, что я волнуюсь.

— А вы волнуетесь?

— Я всегда волнуюсь, когда мой муж покидает меня.

— Вы думаете, что с ним что-нибудь случилось?

— Я всегда так думаю. Это вошло в привычку.

— Вы боитесь, что он мог упасть в пропасть или нечто в этом роде?

— Я и сама не знаю, чего я боюсь, просто у меня ощущение, что он может исчезнуть.

Она сказала так много и так много недоговорила, что мне не оставалось ничего иного, как обратить все в шутку.

— О, вас он никогда не покинет, — рассмеялся я.

Она опустила глаза.

— В глубине души я спокойна.

— Ничто не может случиться с человеком таких достоинств да еще столь надежно защищенным, — продолжал я в том же духе.

— О, вы и не представляете, как он защищен, — подхватила она с таким странным выражением, что я мог объяснить его только ее волнением.

Моя догадка подтвердилась: она встала и без видимой причины переменяла место — не для того, чтобы положить конец нашему разговору, а потому, что нервничала. Я не мог попятить ее беспокойства, но, увидев приближающуюся к нам миссис Эдпи, с облегчением вздохнул. В руках она держала большой букет диких цветов; лорд Меллифонт, однако, не сопровождал ее. Я сразу же заметил, что она не собирается объявлять ни о каком несчастье, но, понимая, как жаждет леди Меллифонт получить ответ на некий незаданный вопрос, выразил надежду, что милорд не застрял в какой-нибудь расщелине.

— О нет, мы расстались с ним минуты три назад. Он поднялся к себе.

Мгновение Блапш Эдни в упор смотрела мне в глаза — средство общения, против которого, как мне кажется, не будет возражать ни один мужчина. Ее глаза сказали мне нечто, возбудившее до крайности мое любопытство. Обычно они говорили:

«Я знаю, что я очаровательна, но к чему делать из этого историю? Ах, мне так нужна новая роль! Пожалуйста, найдите мне новую роль». Сейчас же они добавили несколько неуверенно и осторожно, но, как всегда, лаская вас: «Все в порядке, но что-то действительно произошло. Возможно, я расскажу вам, что именно, но только попозже». Она повернулась к леди Меллифонт, и в этом переходе к простодушному оживлению сказалось ее профессиональное мастерство.

— Я доставила его в целости и сохранности. Мы совершили очаровательную прогулку.

— Я так рада, — сказала леди Меллифонт со своей слабой улыбкой и добавила, вставая:

— Он, должно быть, пошел наверх переодеться к обеду. Пора, не правда ли?

И она направилась к отелю, пренебрегая по своей привычке ритуалом расставания.

При упоминании об обеде мы посмотрели на часы — каждый на часы своего соседа, — как бы желая переложить ответственность за подобную вульгарность на другого. Метрлотель, будучи, как и все метрлотели, человеком светским, отвел нам особый час и место в ресторане. И по вечерам при свете лампы мы составляли интимный и изысканный кружок. Только Меллифонты появлялись к обеду «переодевшись», и мы все понимали, что они не могли поступать иначе: она в обычной своей манере ежевечернего церемонного существования (она была не из тех женщин, которые меняют свои привычки в зависимости от обстоятельств), оп же, наоборот, с удивительным умением приспособиться к ним и выбрать в каждый момент именно то, что наиболее подходило к данному случаю. Он был почти таким же светским человеком, как метрлотель, и владел почти таким же количеством иностранных языков, но воздерживался от соблазна позволить окружающим сравнивать достоинства своих фраков и белых жилетов и, как всегда, оказался на высоте положения, сведя все к утонченной гармонии черного, синего и коричневого бархата в сочетании с изысканными галстуками и изящной небрежностью рубашек. Он умел подобрать костюм для каждой ситуации и мораль для каждого костюма. Для огромного круга зрителей его костюмы и морали были своеобразным воплощением красоты и романтики жизни. Для близких его друзей они были больше, чем развлечением, — они стали темой размышлений, социальной опорой и, конечно же, неиссякаемыми источниками глубокомысленных предположений. Не будь с нами его жены, все дообеденное время мы посвятили бы обсуждению этого предмета.

У Клера Водри имелся изрядный запас анекдотов о лорде Меллифонте; казалось, он был знаком с ним чуть ли не со дня его рождения. И такова уж была особенность его светлости, что любой разговор о нем незамедлительно принимал характер анекдота; впрочем, не было, кажется, ни одного анекдота, который так или иначе не оборачивался к его чести. Каким бы неожиданным ни было его



появление, люди имели возможность с чистой совестью (если таковая вообще существует в Лондоне) воскликнуть:

— А мы, как всегда, говорили о вас!

И было бы немыслимо представить себе, что он принимает подобное признание иначе, чем с любезной снисходительностью. Он был всегда так же невозмутимо выдержан, как актер, сумевший удачно подхватить реплику партнера. Он не нуждался в суфлере — даже замешательство его было заранее отрепетировано. Мне же, всякий раз когда о нем заходила речь, казалось, что мы говорим о покойнике, столько смакования звучало в наших речах. Его репутация напоминала мне позолоченный обелиск, который рано или поздно придется водрузить на его могиле. Легенды и воспоминания, темой которых ему предстояло стать, выкристаллизовались еще при его жизни.

Подобная двусмысленность порождалась, как мне кажется, тем, что самый звук его имени, весь его облик вызывали ощущение напряженного ожидания, создавали вокруг него ореол романтики, чего-то необычного. Очарование его изысканной вежливости приходило позднее, и тогда прообраз и легенда меркли перед жизнью. Я помню, как в тот вечер, о котором идет речь, действительность ошеломила меня своим совершенством. Ни один из красивейших его современников не мог выглядеть лучше; сидя среди нас, он был подобен гениальному дирижеру, который плавным взмахом руки извлекает гармонические созвучия из оркестра, еще не вполне сыгравшегося. Он управлял беседой одними жестами, и вы чувствовали: не будь его, она лишилась бы того, что принято называть тоном. Тон — вот что привносил он в любое свое священнодействие, в сущности, он привносил его в общественную жизнь всей Англии. Он заполнял эту жизнь, придавал ей колорит, украшал ее, без него она утратила бы, так сказать свое «лицо». Во всяком случае, из нее исчез бы стиль, ибо чем, как ни стилем, был самый факт его существования. Стиль — это был он сам. Я как бы заново осознал это, когда в *salle a manger*<sup>1</sup> маленькой швейцарской гостиницы нам подали неизбежную телятину.

В сопоставлении с Его величием (если вообще могла идти речь о каком-либо сопоставлении) Клер Водри выглядел жалким репортером, разглагольствовавшим перед

<sup>1</sup> Столовая (франц.).

бардом. Было интересно наблюдать за столкновением двух характеров — столкновением, от которого в тот вечер можно было ожидать так много. Однако никаких ушибов и потрясений — такт лорда Меллифонта все смягчил и свел на нет. Он обладал даром решать подобные проблемы, беря на себя роль хозяина и принимая на себя сопряженные с этим ответственность и жертвы. Он, в сущности, ни разу в жизни не был гостем — он мог быть только хозяином, патроном, председателем. И если и были какие-то недостатки в его манере (предположение, которое я решаюсь высказать лишь шепотом), то следовало бы говорить, пожалуй, об излишке мастерства, проявляемого им в любой, даже самой незначительной ситуации. Вот и сейчас, с такой виртуозностью этот аристократ справлялся с сегодняшней ситуацией, что наш коренастый литератор даже и не подозревал, что это ситуация и что он сам — часть ее. Лорд Меллифонт разбрасывал вокруг себя несметные сокровища своего такта, а Клеру Водри даже в голову не приходило обратить на это внимание. У него не возникало никаких подозрений, даже тогда, когда Бланш Эдни спросила, приступил ли он к третьему акту своей пьесы: вопрос, в который она вложила особый смысл. Она вбила себе в голову, что он должен написать для нее пьесу, где роль героини будет именно такой, о которой она мечтала с незапамятных времен. Ей было уже сорок, что не являлось секретом для тех, кто восхищался ею с начала ее карьеры, и она верила, что наконец-то может протянуть руку и схватить то, к чему стремилась всю жизнь. Страстное желание не упустить единственное, неповторимое придавало этой явно комедийной актрисе трагический ореол. Годы уходили, а она так и не ухватила главного — все, что она играла, было совсем не то, о чем она мечтала. Она не могла терять больше времени (это и было червяком в бутоне розы, гримасой боли, прячущейся под улыбкой!); это делало ее такой трогательной, вносило лукавство в ее печаль, окрашивало печалью ее радость. Она играла старые английские и новые французские комедии и покорила своих современников. Но ее преследовало видение еще больших успехов, чего-то более близкого ее таланту. Она устала от Шеридана и Баудлера и требовала полотен более виртуозных. И самое печальное, как мне казалось, заключалось в том, что ее попытки выжать современную комедию из нашего прославленного литератора были обречены на неудачу.

Он был так же не способен написать пьесу, как и пришить пуговицу. Она обвораживала его, льстила ему, флиртовала с ним — в чем признавалась откровенно, — но все это было иллюзией: ей было суждено жить и умереть, играя Баудлера.

Трудно мимоходом передать портрет этой очаровательной женщины, такой прекрасной, хотя она и не обладала красотой, и такой совершенной при дюжине недостатков. Сцена поставила ее на котурны, в жизни же она была подобна статуе, сошедшей с пьедестала, что для простодушного общественного сознания всякий раз казалось неожиданностью, чудом. Люди ожидали, что она раскроет им секреты искусства, в обмен на что они давали ей разрядку и чай. Она пила их чай и ничего не раскрывала, и все же они оставались в выигрыше.

Водри действительно трудился над пьесой. Он начал писать ее потому, что восхищался актрисой, и по той же причине, я думаю, тянул с ее окончанием. В глубине души он понимал, какой чудовищный труд взвалил на себя, но ему было страшно разрушить иллюзии Бланш, к тому же ничего не могло быть приятнее, чем оставить этот вопрос открытым. Я убежден, что время от времени он добавлял к пьесе какую-нибудь интересную деталь. Если он и обманывал миссис Эдни, то только потому, что в своем отчаянии она твердо решила быть обманутой. На ее вопрос о третьем акте он ответил, что до обеда ему удалось написать великолепный кусок.

— До обеда? — спросил я. — Но все время до обеда, дорогой мэтр, вы держали нас замороженными на террасе.

Мои слова были лишь шуткой, ибо и он, как мне казалось, шутил, но тут впервые я уловил тень смущения на его лице. Чуть запрокинув голову, он внимательно посмотрел на меня, напоминая лошадь, остановленную на полном скаку.

— Значит, это было до этого, — ответил он.

— До этого вы играли в бильярд со мною, — бросил лорд Меллифонт.

— Значит, это было вчера, — сказал Водри.

Но его загнали в угол.

— Утром вы говорили мне, что вчера весь день не написали ни строчки, — возразила Бланш.

— Боюсь, что я сам не знаю, пишу ли я когда-нибудь.

Он рассеянно обвел нас взглядом, не замечая блюда, которым его обносили.

— Достаточно того, что мы знаем, — улыбнулся лорд Меллифонт.

— Уверена, что вы не написали ни строчки, — заявила Бланш Эдни.

— Мне кажется, что я мог бы наизусть повторить всю сцену.

И Водри нашел спасение в *haricots verts*<sup>1</sup>.

— Пожалуйста, пожалуйста, — закричали вокруг.

— После обеда мы устроим в салоне торжественное чтение, — объявил лорд Меллифонт.

— Не убежден, получится ли у меня, но я попробую, — продолжал Водри.

— Ах, какой вы милый, вы — просто душка! — воскликнула актриса, репетируя выражение, которое она считала «американизмом» (она была готова на все — даже на американскую комедию).

— При одном условии, — сказал Водри, — вы должны убедить своего мужа сыграть нам.

— Аккомпанировать чтению? Ни за что. Я слишком тщеславен, — возразил Эдни.

Взгляд великолепных глаз лорда Меллифонта остановился на нем.

— О, вы сыграете нам увертюру перед поднятием занавеса. Это будет восхитительно.

— Я не буду читать. Я буду просто рассказывать, — продолжал Водри.

— Великолепно, вы позволите мне принести вашу рукопись? — предложила Бланш.

Водри ответил, что рукопись ему не нужна. Час спустя в салоне мы горько пожалели, что ее не было. Мы сидели в напряженном ожидании, зачарованные скрипкой Эдни. Его жена на переднем плане, па кушетке, в профиль — вся нетерпение, лорд Меллифонт — в своем кресле (это было *его* кресло). Их присутствие придавало нашему маленькому признательному кружку значимость конгресса социологов или комиссии по раздаче наград. Внезапно вместо вступления наш укрощенный лев издал рев явно не в той тональности — он начисто забыл свой текст. Он был в отчаянии, слова не шли ему на ум. Он так сконфужен, но в голове — сплошная пустота, память подвела его. Однако не он, а мы чувствовали себя неловко, как будто с нами сыграли унижительную шутку. Наступил че-

<sup>1</sup> Молодая фасоль (*франц.*).

ред лорда Меллифонта проявить свой такт, который пролился па нас, подобно бальзаму: с очаровательным артистизмом он поведал нам о своем провале.

И с ним однажды приключился *debit* (ну, как сказать это по-английски, не переводим же мы «Комеди Франсэз»?) — мгновенный провал памяти, когда он, готовясь выступить с торжественной речью, вдруг понял, что потерял ее текст. И вот один на сцене, под устремленными на него взглядами многочисленной аудитории, он стал лихорадочно шарить по карманам — по своим безукоризненным карманам — в тщетной надежде обнаружить столь необходимую ему запись. В его рассказе мы уловили детали, которых не хватало бесславному фиаско нашего литератора: несколькими легкими штрихами лорду Меллифонту удалось нарисовать блестящую картину такого редкого самообладания, которое, преодолев растерянность, вылилось в выступление, отнюдь не умалявшее то, что публике угодно было именовать его репутацией.

— Играйте же, играйте, — воскликнула миссис Эдни, коснувшись руки своего мужа. Она знала, как на сцене любой *contretemps*<sup>1</sup> всегда заглушается музыкой.

Эдни обрушился на свою скрипку, а я заметил Клеру Водри, что ошибку его легко исправить, послав за рукописью. Если он скажет, где она, я немедленно ее сюда доставлю.

— Мой дорогой друг, — ответил он, — боюсь, что ее не существует.

— Значит, вы ничего не написали?

— Я напишу это завтра.

— Ах, вы разыграли нас, — сказал я, крайне заинтригованный. Но он, кажется, передумал.

— Если там и есть что-нибудь, вы найдете это на моем письменном столе.

В этот момент с ним кто-то заговорил, а леди Меллифонт, желая сгладить наше невнимание к скрипачу, заметила, что мистер Эдни играет что-то очень приятное. Она всегда слушала музыку, как бы отрешившись от окружающего. Водри был занят разговором. Мне же казалось, что оброненные им слова не дают мне права подняться к нему в комнату. К тому же мне хотелось поговорить с Бланш Эдни — я должен был задать ей несколько вопросов.

<sup>1</sup> Промах (франц.).

Удобный случай, однако, не подвертывался — какое-то время мы молча слушали ее мужа, затем разговор стал общим. У нас вошло в привычку ложиться спать довольно рано, но сегодня до сна оставалось еще время. Прежде чем оно истекло, я улучил мгновение, чтобы сообщить Бланш, что Водри разрешил мне наложить руку на его рукопись. Она тут же стала заклинать меня всем, что для меня свято, немедленно достать ей текст. Ее настойчивость оказалась сильнее моих возражений о том, что уже слишком поздно для того, чтобы предпринять новую попытку прочесть пьесу, к тому же теперь, когда чары рассеялись,— кто будет ее слушать?.. Вовсе не поздно, уверяла она, я должен овладеть драгоценными страницами, и как можно скорее. Я заявил, что повинуюсь, но хотел бы, чтобы она прежде удовлетворила мое собственное любопытство.

Что произошло до обеда, пока они находились в горах с лордом Меллифонтом?

— Откуда вы знаете, что там что-то произошло?

— Я прочел это на вашем лице, когда вы вернулись.

— И еще говорят, что я актриса, — воскликнула она.

— Интересно, что говорят обо мне? — спросил я.

— Вы потрошитель человеческих сердец, легкомысленное существо, бесстрастный наблюдатель.

— Как бы мне хотелось, чтобы вы позволили этому наблюдателю написать для вас пьесу, — вырвалось у меня.

— Вы бы испортили все дело — люди не обращают внимания на то, что пишете вы.

— Вокруг меня столько сюжетов для пьесы, — заявил я, — ими насыщена вся атмосфера сегодняшнего вечера.

— Атмосфера? Благодарю покорно. Я предпочитаю, чтобы ими были насыщены ящики моего письменного стола.

— Он пытался обольстить вас там, на глетчере? — допытывался я.

Мгновение она пристально смотрела на меня, затем рассмеялась своим прославленным смехом.

— Лорд Меллифонт? Бедняжка, какое неподходящее место! Оно, скорее, подошло бы для нас с вами.

— И он не провалился в расщелину? — продолжал я.

Бланш Эдни посмотрела на меня снова тем коротким, но многозначительным взглядом, который поразил меня, когда она появилась перед обедом с охапкой цветов в руках.

— Я не знаю, куда он провалился. Я скажу вам об этом завтра.

— Значит, он все-таки упал!

— А может быть, поднялся! — Она рассмеялась. — Все это очень странно!

— Тем больше оснований рассказать мне об этом.

— Я должна прежде все обдумать, проверить.

— Ну если вам мало загадок, я могу подкинуть еще одну, — сказал я. — Что это сегодня с нашим мастером?

— Мастером чего?

— Притворства. Водри не написал ни строчки.

— Принесите его рукопись, и мы увидим, так ли это.

— Мне бы не хотелось его предавать.

— Почему бы и нет, если я предаю лорда Меллифонта.

— Сделайте это, и я готов на все, — признался я.

— Но зачем было Водри мистифицировать нас?

— Все это очень странно! — повторил я ее слова.

— Очень странно, — протянула Бланш Эдни, задумчиво устремив взгляд на лорда Меллифонта. Затем, поднявшись, добавила:

— Пройдите в его комнату.

— К лорду Меллифонту?

Она стремительно обернулась.

— Это многое бы раскрыло!

— Раскрыло что?..

— Многое бы раскрыло, многое, — повторила она весело и возбужденно, но вдруг прервала себя. — Ах, какую чепуху мы несем!

— Конечно, мы весьма непоследовательны, но мне нравится ваша идея. Попросите леди Меллифонт вместе с вами заглянуть к нему.

— О, она уже заглядывала, — заявила Бланш с каким-то необычным драматизмом. Затем, взмахнув своей прекрасной рукой так, как если бы отгоняла фантастические видения, повелела:

— Принесите мне эту рукопись, принесите непременно.

— Лечу, — ответил я, — но не смейте говорить, что я неспособен сочинить для вас пьесы.

Она удалилась. Но я не сразу смог выполнить ее поручение. Мне преградила путь дама с альбомом — он угрожал нам уже несколько дней сряду. Она оказала мне честь, попросив мой автограф вместе с датой моего рож-

деия. Она просила их у всех и, следовательно, не могла, хотя бы из чувства приличия, обойти меня. Я, как правило, легко припоминаю свое имя, но, что касается дня рождения, всегда колеблюсь между двумя датами. Я сказал ей об этом, добавив, что с радостью подпишусь под обоими, на что она справедливо заметила, что человек рождается лишь однажды. Я же возразил ей, что день нашего знакомства стал днем моего второго рождения. Я упоминаю об этой жалкой шутке только потому, что, как вы понимаете, неизбежный просмотр других автографов и комментариев к ним отняли у меня некоторое время. Когда дама с альбомом удалилась, я обнаружил, что наше общество распалось. Я остался один в отведенном нам маленьком салоне. Моим первым чувством было разочарование. Водри мог лечь спать, и мне будет неудобно его беспокоить. Через открытое окно салона до меня доносились голоса. Бланш и ее драматург были на террасе, они говорили о звездах. Я подошел к окну: альпийская ночь была великолепна. Мои друзья были одни: миссис Эдни захватила с собой свою накидку и выглядела в ней точно так же, как за кулисами своего театра, где я однажды ее видел.

Некоторое время они молчали, и ко мне доносился лишь рокот горного потока у подножия гостиницы. Я отошел от окна, и мирная тишина салона, освещенного мягким светом висячей лампы, подсказала мне некий план. Наша компания разбрелась по своим комнатам — для пасторальной жизни, которую мы тут вели, было довольно поздно, — и маленький салон принадлежал нам троим. Клер Водри написал сцену, которая не могла не быть великолепной, и если он прочтет ее нам здесь, в этот час, нас ждет неслыханное наслаждение. Я принесу рукопись и с нею дождусь их возвращения в салон.

Мне приходилось бывать у Водри в комнате, я знал, что она расположена на третьем этаже — последняя в конце длинного коридора. Минуту спустя рука моя лежала на ручке двери, которую я, само собой разумеется, открыл без стука. Мне показалось вполне естественным, что в отсутствие хозяина комната была погружена во мрак и, так как эта часть коридора не освещалась, открытая дверь не рассеяла темноты, царившей в комнате. Я твердо знал, что не мог ошибиться дверью. Шторы на окнах не были задернуты, и впереди светилось несколько полосок звездного неба. Света, однако, было недостаточно, чтобы помочь



мне обнаружить то, за чем я пришел, и я уже опустил руку в карман, чтобы извлечь спичечный коробок, который всегда ношу с собой, но тут же поспешно вытащил ее, издав восклицание извинения за непрошенное вторжение. Я ошибся комнатой. Взгляд мой, привыкнув к темноте, обнаружил фигуру, сидевшую за столиком у окна, фигуру, которую в первый момент я принял за плед, небрежно брошенный на спинку кресла. С чувством досады на свою неловкость я готов был уже ретироваться, как вдруг сообразил (на это понадобилось гораздо меньше времени, чем описание моего состояния), что, во-первых, комната не могла не принадлежать Водри, а, во-вторых, что передо мною находился ее хозяин собственной персоной. Смущенный, я невольно задержался на пороге и необдуманно позвал: «Хелло, это вы, Водри?»

Он не обернулся, не промолвил ни слова. Но как бы в ответ на мой вопрос, на другой стороне коридора открылась дверь: слуга с зажженной свечой вышел из противоположной комнаты, и в мерцающем потоке света я отчетливо различил фигуру человека, которого всего мгновение назад оставил беседующим с миссис Эдни. Он сидел вполоборота ко мне, наклонившись над стулом и, казалось, что-то писал. Всеми фибрами души я ощущал, что не мог ошибиться: это он, и не кто иной. «Прошу прощения, мне казалось, что вы внизу», — пробормотал я, и, так как сидевший передо мною пи знаком не показал, что слышит меня, я добавил: «Если вы заняты, не буду вам мешать», — и, пятясь, отступил к двери. Я пробыл в комнате не более минуты и удалился оттуда с чувством человека, которого мистифицируют. Я стоял, не выпуская ручку двери, охваченный смятением. Водри сидел за столом — ничего естественнее и быть не могло, но почему он сидел в темноте и почему не ответил на мои слова? Я помедлил несколько секунд на пороге в надежде, что он очнется от транса — состояния, столь обычного для великих писателей, сделает какое-либо движение или крикнет: «А, старина, это вы?», — но меня окутывала тишина. Во мраке, подчеркнутым сиянием звезд, я мог только ощущать чье-то присутствие. Я повернулся, медленно прикрыл дверь и, озадаченный, спустился вниз. Лампа в салоне все еще горела, но в комнате было пусто. Я вышел на террасу — там тоже не было ни души. Бланш Эдни и джентльмен, бывший с ней, по-видимому, удалились. Я подождал немного и пошел спать.

Спал я плохо — слишком уж был возбужден. Оглядываясь на эти странные события (вы вскоре сами убедитесь, насколько странные), я вижу, что тогда я был взволнован гораздо меньше, чем это может показаться вам сейчас. Великие аномалии становятся великими лишь после того, как мы над ними поразмыслим — нам требуется время, чтобы осознать случившееся.

Я слегка нервничал, был явно озадачен, но в том, что произошло, как мне казалось, не было ничего такого, чего я бы не смог объяснить сам или же спросив Бланш Эдни — как только она проснется, — кто был с нею на террасе вчера вечером. Однако, когда настало утро — чудесное утро, — я, как это ни странно, испытывал не столько желание рассеять свои сомнения, сколько потребность убежать от них, сбросить с себя остатки вчерашнего остолбенения. День обещал быть великолепным, и мне хотелось провести его — как я провел немало счастливых дней своей юности — в полном одиночестве, в горах. Я встал рано, выпил непременно чашку кофе, засунул большую булку в один карман, маленькую фляжку в другой и с палкой в руке отправился вверх, в горы. Рассказ мой не имеет непосредственного отношения к проведенным там очаровательным часам — из тех, что оставляют неизгладимое впечатление на всю жизнь. Часть времени я потратил, бродя вверх и вниз по горным кряжам, остальную — лежа на траве на одном из зеленых склонов, нагнув на лицо шляпу, из-под которой взгляд мой то и дело устремлялся в бескрайний простор неба. Я наслаждался тишиной и жужжанием альпийских пчел и чувствовал, как блекнет и отступает куда-то все то, что волновало меня прошлой ночью. Клер Водри стал таким крохотным, Бланш Эдни — такой тусклой, лорд Меллифонт — таким дряхлым, что день еще не истек, а я уже не помнил ни о каких загадках. Спускаясь на закате вниз к гостинице, я мечтал лишь об одном — услышать, что обед подан. В тот вечер я счел нужным переодеться к обеду, и когда я спустился в салон, все уже сидели за столом.

В их обществе ко мне вернулись все мои сомнения, и я с любопытством ждал, не промелькнет ли во взгляде Водри, брошенном на меня, какое-либо замешательство, но он ни разу не взглянул в мою сторону, что, хотя и дало мне возможность проявить выдержку, вместе с тем

заставляло удивляться, почему я медлю и не задаю ему вопроса в лоб, через стол. И действительно, я медлил, и с сознанием этого факта ко мне вернулась частица моего вчерашнего возбуждения. Я не стыдился своих колебаний, которые были продиктованы не угрызениями совести, а лишь крайней осторожностью. Меня мучило смутное ощущение, что публичное расследование было бы в данном случае предательством. Конечно, лорд Меллифонт с присущим ему тактом сумел бы сгладить все острые углы. Однако данная ситуация могла привести в замешательство даже его лордство. Как только все поднялись из-за стола, я приблизился к Бланш Эдни и осведомился, не согласится ли она в такой чудесный вечер прогуляться со мной.

— Вы уже отмахали сотню миль, не пора ли уgomинуться? — ответила она.

— Я готов отмахать вторую, только б вы мне что-то рассказали.

Она взглянула на меня с долей того странного выражения, которое я тщетно пытался найти в глазах Клера Водри.

— Вы имеете в виду историю с лордом Меллифонтом?

Новая загадка заставила меня совершенно упустить из виду эту нить.

— Что стало с вашей памятью, глупыш вы этакий? Мы ведь только об этом и толковали весь вчерашний вечер.

— Ах да, — вскричал я, все сразу вспомнив. — Как много предстоит нам обсудить!

Я увлек ее на террасу и, не дав опомниться, спросил:

— Кто был здесь с вами вчера вечером?

— Вчера вечером?

Она была так же далека от моей загадки, как я еще недавно — от ее.

— В десять вечера, как только все разошлись, вы пришли сюда с каким-то мужчиной. Вы говорили о звездах.

Мгновение она смотрела на меня с недоумением, затем рассмеялась своим театральным смехом.

— Вы ревнуете к нашему дорогому Водри?

— Значит, это был он?

— Разумеется, это был он.

— И как долго он оставался здесь?

Она снова засмеялась.

— А вас это задело не на шутку. Он оставался здесь с четверть часа, возможно — больше. Затем мы прошлись.

Он говорил о своей пьесе. Вот видите, я сказала вам все. Право же, это единственное, ради чего я пустила в ход свои чары.

Мне же этого было недостаточно.

— А что он делал потом? — настаивал я.

— Не имею ни малейшего понятия. Я оставила его внизу и пошла спать.

— В котором часу вы ушли?

— А вы? Я помню, что рассталась с мистером Водри в десять двадцать пять, — ответила миссис Эдни. — Я зашла в салон, чтобы захватить книжку, которую я забыла, и взглянула на часы.

— Иными словами, вы с Водри действительно находились на террасе с пяти минут одиннадцатого до десяти двадцати пяти.

— Действительно, и, хотя в этом действии я бездействовала, нам было очень весело. *Uu voulez-vous en venir?*<sup>1</sup>

— А то, моя дорогая, что ваш спутник ухитрился, развлекая вас на террасе, одновременно заниматься сочинительством в своей комнате.

Она застыла, и глаза ее заблестели в темноте. Она спросила, уж не пытаюсь ли я уличить ее во лжи, и я ответил, что, наоборот, правдивость ее слов и придает ситуации особую пикантность. Она заявила, что готова согласиться со мной при условии, что я смогу убедить ее в моей правдивости, чего я без труда добился, поведав все обстоятельства поисков рукописи, той самой рукописи, мысль о которой по причине, ставшей мне только сейчас понятной, казалось, начисто улетучилась у нее из головы.

— Беседа с ним заставила меня забыть о рукописи, забыть, что я послала вас за нею. О, он полностью реабилитировал себя за недавнее фиаско в салоне. Он пересказал мне всю сцену! — воскликнула Бланш.

Внимая моим приключениям, она опустилась на скамью, на которой и подвергла меня перекрестному допросу.

— Ох уж эти причуды гения! — И она снова рассмеялась своим смехом.

— Вам-то что, вы знаете их наизусть, меня же они порядочно озадачили, — заявил я.

— А вы абсолютно уверены, что это был Водри? — спросила моя спутница.

<sup>1</sup> Здесь: «Ну и что вы хотите этим сказать?» (франц.).

— Если это не был он, то кто бы это мог быть? Незнакомый джентльмен, как две капли воды похожий на Водри (и, как и он, занимающийся литературой), сидящий за его столом в столь поздний час, к тому же что-то пишущий в темноте — один этот факт загадочнее всех загадок.

— Действительно, почему в темноте? — задумчиво произнесла она.

— Кошки видят в темноте, — сказал я.

Она слабо улыбнулась.

— Он был похож на кота?

— Я скажу вам, на кого он был похож — на автора великолепных произведений Водри. Он ходил на него во сто раз больше, чем наш общий друг, — заявил я.

— Вы хотите сказать, что это был тот, кто за него пишет?

— Да, в то время как он сам посещает званые обеды и разочаровывает вас.

— Разочаровывает меня? — пробормотала она.

— Разочаровывает меня, разочаровывает всех, кто ищет в нем гения, создавшего страницы, которыми мы так восхищаемся. А где все это в его разговорах?

— Но вчера ночью он был великолепен.

— Он всегда великолепен, как может быть великолепной ваша утренняя ванна, кусок бифштекса или железнодорожное обслуживание в Брайтоне! Но он никогда не бывает оригинальным, уникальным.

— Понимаю.

Я был готов обнять ее за это; возможно, я так и поступил.

— Вот почему разговаривать с вами — такое удовольствие. Я часто задумывался над этим. Меня это не расмушало — теперь я знаю: их двое.

— Какая прелестная мысль!

— Один наносит визиты, другой сидит дома. Один — гений, другой — буржуа, и именно с буржуа-то мы и знакомы. Он разглагольствует, бывает в обществе, он необычайно популярен, он флиртует с вами.

— В то время как честь флиртовать с гением досталась вам, — прервала меня миссис Эдни.

— Благодарю вас за столь тонкое разделение, — я прикоснулся к ее плечу. — Вы должны сами убедиться в этом. Расследуйте, в чем дело. Пойдите в его комнату.

— В его комнату? Но ведь это неприлично! — воскликнула она в традиции своих лучших комедий.

— Все пристойно в расследовании подобного рода. Если вы его увидите — все станет на свои места.

— Какая прелесть — поставить все на свое место! — Она с минуту подумала, потом вскочила. — Вы хотите сказать: сейчас?

— Когда вам будет угодно.

— А вдруг я наскочу не на того? — произнесла она с непередаваемым эффектом.

— Не на того? А кого вы называете тем?

— Не того, кого прилично видеть даме. Вдруг я не найду там гения?

— Другого я возьму на себя, — пообещал я и, оглянувшись, прибавил: — Осторожно, сюда направляется лорд Меллифонт.

— Мне бы хотелось, чтобы вы и его взяли на себя, — сказала она, понизив голос.

— А что случилось с ним?

— Я расскажу вам попозже.

— Скажите сейчас. Он шествует не к нам.

Мгновение Бланш пристально разглядывала лорда Меллифонта, который, выйдя выкурить вечернюю сигару, остановился с задумчивым видом невдалеке от нас, любуясь прекрасной перспективой, различимой даже в тусклом свете наступающей ночи.

Мы медленно направились в другую сторону, как вдруг она заметила:

— Мое открытие не менее забавно, чем ваше.

— Я не считаю мое забавным, оно прекрасно.

— Ничто не может быть так прекрасно, как смешное, — возразила миссис Эдни.

— Вы смотрите на это с профессиональной точки зрения. Впрочем, я весь внимание. — И действительно, мое любопытство возродилось с новой силой.

— Так вот, мой друг, если в Водри мы имеем двойную порцию — и что касается меня, чем его больше, тем лучше, — то его лордство обладает противоположным недостатком — в нем не набрать и целой.

Мы опять остановились, на этот раз одновременно.

— Я ничего не понимаю.

— Я тоже. Но у меня такое впечатление, что если существуют два Водри, то лорда Меллифонта нет и одного.

Я немного подумал и рассмеялся:

— Я, кажется, понимаю, что вы имеете в виду.

— Вот почему такое удовольствие разговаривать с вами.

Она, увы, не пыталась меня обнять, но продолжала то-ропливо:

— Вы когда-нибудь видели его одного?

Я стал припоминать:

— Да, он как-то посетил меня.

— Да, но тогда он был не один.

— Я нанес ему визит в его кабинете.

— Он знал о вашем приходе?

— Разумеется, ведь обо мне доложили.

Она многозначительно взглянула на меня — этакий заговорщик-искуситель:

— О вас не должны докладывать! — и, бросив мне это, прошествовала вперед. Я догнал ее, запыхавшись.

— Вы хотите сказать, что мне следует войти к нему, когда он не ожидает этого?

— Его нужно застать врасплох, вы должны проникнуть к нему в комнату, непременно!

Я был ошарашен этой новой загадкой и вместе с тем — по вполне понятной причине — чуть-чуть смущен предложенным способом ее разрешения.

— Когда я буду уверен, что его там нет?

— Когда вы будете уверены, что он там.

— И что я увижу?

— Вы ничего не увидите, — воскликнула она, и мы повернули назад. Подходя к террасе, мы столкнулись нос к носу с лордом Меллифонтом, который вышел на прогулку и мог теперь, не нарушая приличий, присоединиться к нам. Он являл собою поистине вдохновляющее зрелище.

Его величественный вид вызвал во мне целый ряд ассоциаций, и я связал все, что видел, с тем, что знал об этом человеке. И когда он, улыбаясь, широким жестом представил нам ландшафт, как если бы то был кандидат поддерживаемой им партии Альп, и сам предстал перед нами, окутанный изысканным ароматом своей сигары и прочими изысками и ароматами, в ореоле совершенств, которые никогда еще в таком множестве не сваливались ни на одну голову, в моем мозгу молнией сверкнул ответ на загадку Бланш Эдни. Он целиком и полностью был общественной принадлежностью. В нем не было ничего личного, точно так же как в Клере Водри было только личное и ничего общественного. Мне удалось услышать лишь

часть рассказа моей спутницы, но все время, пока мы сопровождали лорда Меллифонта — он присоединился к нам, потому что ему нравилась миссис Эдни, хотя все мы понимали, что он, скорее, принимал ее общество, чем искал его, — все время, пока он осыпал нас дарами своей беседы, меня не покидало чувство (и я ничуть не стыдился своего двуличия), что мы раскусили его. Уголок закулисной жизни, куда актриса, приподняв занавес, помогла мне проникнуть, занял мое воображение намного больше чем мое собственное открытие. И если я не стыдился, что посвящен в ее секрет, как не стыдился и того, что посвятил ее в свой, прекрасно понимая, что из двух тайн моя — более захватывающая из-за личности, с ней связанной, то это происходило потому, что в моем чувстве превосходства не было жестокости, я, скорее, испытывал огромную жалость и явное сострадание к нашему герою. О, ему не следовало меня опасаться; я вдруг почувствовал себя таким умудренным, таким богатым, как будто бы вселенная была зажата у меня в кулаке. Я познал, что такое величественная внешность во времени и пространстве. Было бы преувеличением утверждать, что я когда-либо догадывался о столь блистательном предназначении его лордства, но (да простят мне нотки покровительства в моих словах) я всегда испытывал к нему тайное сочувствие. В глубине души я жалел его за совершенство его поступков и не раз задавал себе вопрос, что же скрывается за этой маской в безжалостные часы, когда он остается наедине с самим собой, или — что гораздо страшнее — с наиболее непреклонной частью своего «я» — со своей женой: каким он бывает дома, и что он делает, когда с ним пет никого рядом. Что-то в самой леди Меллифонт давало повод для подобных предположений, что-то, позволявшее думать, что и ей он неизменно являлся в своем общественном обличье и что ее обуревают сомнения. Ей так и не удалось их рассеять: в этом и заключалось ее извечное беспокойство. Мы же — Бланш Эдни и я, — мы знали больше, чем леди Меллифонт, но ни за что на свете не согласились бы поделиться с ней нашей тайной, да миледи, вероятно, и не поблагодарила бы нас за это. Она предпочитала пребывать в состоянии величавой неуверенности. Она не могла знать наверняка — она никогда не была с ним фамильярна; он же никогда не был настолько близок с ней, чтобы, будучи вдвоем, оставаться в одиночестве. Для своей жены и слуг он был героем, нам же не давал покоя вопрос, что проис-



ходит с ним, когда ни один глаз не видит его и ни одна душа им не восхищается. Очевидно, он нуждался в отдыхе, релаксации, в отсутствии тем более полном, чем интенсивнее было присутствие. Каким же абсолютным должен был быть *entreat*<sup>1</sup>, чтобы обеспечить такое стремительное действие! Леди Меллифонт, слишком гордая для того, чтобы испытывать чужие тайны, ни разу в жизни не заглянувшая ни в замочную скважину, ни в чужую душу, сохраняла свое достоинство и свои сомнения.

То ли миссис Эдни удалось расшевелить нашего спутника, то ли — по иронии наших теперешних отношений — я увидел его новыми глазами, но никогда не казался он мне столь отличным от того, кем он предстал бы перед нами, не задумайся мы над его сущностью. Его аудитория состояла лишь из нас двоих, меж тем ни разу этот светский человек не был до такой степени светским, безукоризненные его манеры — такими безукоризненными, удивительный такт — таким удивительным, и этот одному ему свойственный *raison d'etre*<sup>2</sup> — абсолютное единство его существа — таким абсолютным и единым. На мгновение я ощутил нелепое желание увидеть это в утренних газетах — разумеется, в передовой — и еще более нелепую радость от сознания, что мне известно нечто такое, чего я там никогда не увижу — не могу увидеть, хотя любой предприимчивый издатель дал бы мне за это состояние. Следует добавить, что, несмотря на испытываемое удовольствие — почти чувственное, как после вкусного обеда или ранее неизведанного наслаждения, — я страстно желал остаться наедине с миссис Эдни, которая задолжала мне некий анекдот. В тот вечер это оказалось невозможным. Лорд Меллифонт уговорил нашего славного музыканта сыграть нам что-нибудь. Тот взял скрипку и, стоя на террасе, заиграл — божественно! Горное эхо вторило ему, как бы бросая вызов духу Альп. Я обнаружил отсутствие актрисы еще до окончания концерта, но, заглянув в окно салона, увидел ее там сидящей вместе с Водри, который читал ей какую-то рукопись. Гениальный акт был, по видимому, написан, и то, что его автор представлял перед актрисой в новом свете, придавало тексту особый интерес. Я решил, что мешать им в этот час было бы нескромным, и отправился спать, так и не поговорив с Бланш.

<sup>1</sup> Антракт, перерыв (*франц.*).

<sup>2</sup> Право на существование (*франц.*).

Рано утром я разыскал ее и, напомнив о данном ею обещании, предложил совершить прогулку в горы, благо день обещал быть прелестным. Она подтвердила обещание и одарила меня своим обществом.

Не успели мы пройти и нескольких шагов, как она с жаром воскликнула:

— Мой дорогой друг, вы не можете себе представить, как это меня потрясло. Я ни о чем другом не могу и думать!

— Значит, ваше предположение о лорде Меллифонте...

— Причем тут лорд Меллифонт? Я говорю о мистере Водри — из них двоих он во сто крат интереснее. Он покорила меня своей... как вы это называете?

— Своей двойственностью?

— Своим вторым я — так проще.

— Значит, вы принимаете его, оно вас устраивает?

— Принимаю ли я? Я им упиваюсь, вчера вечером оно раскрылось мне во всем своем блеске.

— Раскрылось во время чтения?

— Да, я слушала его и наблюдала за ним. Все стало так просто, так понятно. Подлинный триумф!

— Сцена хороша?

— Великолепна. И читает он прекрасно.

— Почти так же хорошо, как другой пишет, — рассмеялся я.

Мой смех заставил ее остановиться и положить руку на мое плечо.

— Вы облекли в слова мои собственные впечатления — мне все время казалось, что он читал чужое произведение.

— В какой-то мере это была услуга тому, другому, — заметил я.

— Так непохожему на первого, — подхватила мою мысль Бланш.

Мы говорили об этом различии всю дорогу — какое богатство возможностей, какие жизненные ресурсы таились в подобном раздвоении.

— Оно дает ему возможность прожить вдвое больше других людей, — заявил я.

— Кому именно?

— Обоим, ведь они — члены фирмы, и ни один не в состоянии продолжить дело без другого. Пережить один другого — какая катастрофа для обоих!

Она немного помолчала, затем произнесла:

— Не знаю, право, но мне хотелось бы, чтобы он пережил.

— Могу ли я осведомиться, который именно?

— Если вы не в состоянии догадаться, не стоит и говорить.

— Я знаю женское сердце — оно всегда предпочтет другого.

Она опять остановилась и оглянулась:

— Моего мужа нет поблизости, и я могу признаться: я влюблена в него.

— Несчастливая! Он лишен каких-либо страстей, — возразил я.

— Именно поэтому я его и обожаю. Разве вы не знаете, что для женщин моей профессии страсти других просто невыносимы. Актрисы, бедняжки, не терпят ничьей любви, кроме собственной, они не могут позволить себе роскошь пользоваться взаимностью. Доказательство тому — мой брак: наш союз — такой трогательный и счастливый — просто гибелен для актрисы. Хотите знать, что не давало мне покоя все время, пока мистер Водри декламировал свои восхитительные монологи? Сумасшедшее желание увидеть их автора!

И, как бы желая скрыть смущение, Бланш Эдни двинулась вперед походкой, полной драматизма. Я последовал за пей.

— Мы как-нибудь устроим это, — пообещал я. — Мне самому хочется взглянуть на него еще разок. Однако прошу не забывать, что вот уж сорок восемь часов я с нетерпением жду подробностей, которые оживили бы ваш набросок — столь же правдоподобный, сколь и любопытный — частной жизни лорда Меллифонта.

— Лорда Меллифонта? Меня он ни капельки не интересует.

— Однако вчера он вас интересовал весьма сильно.

— О, это было до того, как я влюбилась. Вы вытеснили его из моего сознания своей историей.

— Не заставляйте меня пожалеть, что я ее вам рассказал. Ну же, — молил я, — если вы не расскажете, как вам в голову пришла эта идея, я решу, что вы все выдумали.

— Дайте же мне вспомнить все подробности, а пока побродим вон по тому бархатистому склону.

Мы стояли у входа в очаровательную долину, неровными уступами уходящую вверх, низинную часть которой

составляло ложе ручейка, зеркального от быстроты течения. Мы вошли в нее, и мягкая тропинка, змеившаяся вдоль чистого потока, увлекала нас все выше и выше. Я ждал, пока моя спутница все вспомнит, и вдруг за поворотом мы увидели леди Меллифонт, направлявшуюся нам навстречу. Она двигалась под защитой зонтика, цепляясь своим траурным шлейфом за дерн. На круто вьющейся тропинке она являла собой редкое зрелище. Она была одна, хотя обычно ее сопровождал лакей, шагая позади и вызывая удивление местных жителей своей ливреей. Увидя нас, она покраснела, как если бы ее присутствие здесь требовало объяснений. Смущенно рассмеявшись, она сказала, что вышла прогуляться перед завтраком. Мы постояли, обмениваясь банальностями, но вдруг она заявила, что рассчитывала найти здесь своего супруга.

— Он должен быть поблизости? — спросил я.

— Возможно. Он вышел час назад — порисовать.

— Вы уже искали его? — полюбопытствовала миссис Эдни.

— Чуть-чуть, совсем недолго, — сказала леди Меллифонт.

Обе женщины, как мне показалось, вглядывались с каким-то напряжением в глаза друг другу.

— Если хотите, мы отыщем его для вас, — предложила Бланш.

— Не стоит беспокоиться. Я просто хотела составить ему компанию.

— Иначе он ничего не нарисует, — намекнула моя спутница.

— Он непременно нарисует, если вы составите ему компанию, — сказала леди Меллифонт.

— Я уверен, что он вот-вот объявится, — вмешался я.

— О, непременно, если будет знать, что мы здесь! — воскликнула Бланш. — Не подождете ли вы нас, пока мы его разыщем?

Леди Меллифонт повторила, что, право же, это не имеет значения, на что миссис Эдни заявила:

— Мы сделаем это для собственного удовольствия.

— Желаю приятной экскурсии, — сказала миледи. Она уже готова была повернуть назад, но тут я высказал предположение, не следует ли сообщить ее мужу, что она находится поблизости?

— Что я шла за ним следом? — Она мгновение размышляла, затем произнесла загадочно: — Лучше не

надо! — и с этим покинула нас, порхнув — несколько ско-  
ванно — вниз.

Мы следили за тем, как она удалялась, после чего об-  
менялись пристальным взглядом; легкий смешок сорвал-  
ся с уст актрисы.

— С таким же успехом она могла бродить среди куст-  
тарника в своем Меллифонте.

У меня были свои соображения на этот счет:

— Вы знаете, ведь она подозревает!

— И не хочет, чтобы он об этом догадался: рисуика-  
то не будет.

— Разве только мы его нагоним, — предположил я. —  
Тогда он непременно извлечет его из папки с самым лю-  
безным и милостивым видом. И рисунок, как это ни  
странно, окажется великолепным!

— Оставим его в одиночестве, и ему придется сознать-  
ся в неудаче, — предложила она.

— Он предпочтет не возвратиться вовсе. Впрочем, он  
найдет себе аудиторию.

— Разве что среди коров, — заметила Бланш, и, так  
как я собирался упрекнуть ее в профанации, поспешно  
продолжала:

— Именно так оно и было.

— О чем вы говорите?

— О том, что произошло позавчера.

Я ухватился за ее слова:

— Да расскажите же мне наконец, что именно про-  
изошло.

— Ровным счетом ничего: я, как и леди Меллифонт,  
обнаружила, что он исчез.

— Вы потеряли его?

— Он потерял меня — по-видимому, это происходит  
именно так. Ему показалось, что я ушла. И затем!..

Она остановилась улыбаясь; того, что таилось в ее  
улыбке, хватило бы на целый том мемуаров.

— Но вы отыскиали его в конце концов, — сказал я, не-  
доумевая, — ведь вы вернулись вдвоем.

— Это он нашел меня. Иначе не могло и быть. Он на-  
чинает присутствовать с того мгновения, как замечает ря-  
дом присутствие другого.

— Я понимаю, что у него должны быть антракты, —  
заявил я после краткого размышления, — но не постигаю  
законов, которые ими управляют.

О, Бланш постигла их в совершенстве.

— Тут есть тончайшие нюансы, но я тотчас же их уловила. Я хотела вернуться — я устала и настойчиво уговаривала его не провожать меня. Мы собрали букет редких цветов — тех, что я принесла домой, — почти все эти цветы нашел он. Его увлекло это занятие. Я понимала, что ему хочется собирать еще и еще, но меня это утомило. Он дал мне уйти — иначе где был бы его такт? — я же еще не понимала, что, стоит мне его покинуть, больше не будет сорван ни один цветок. Я направилась вниз, но не прошло и трех минут, как я сообразила, что захватила его перочинный нож — он дал его мне, чтобы я смогла подрезать букет. «Нож может ему понадобиться», — подумала я. Я обернулась, чтобы позвать моего спутника, но, прежде чем я успела раскрыть рот, я поискала его глазами. Вы не поймете, что случилось, если не представите себе сцену, на которой происходило действие.

— Сведите меня туда, — потребовал я.

— О, мы увидим это чудо и здесь. Представьте себе место, которое бы не давало ни малейшей возможности спрятаться, — гладкий горный склон без единого кустика, деревца, холмика или впадины. Лишь внизу располагалось несколько валунов, мгновенно заслонивших меня, как только я спустилась, — возвращаясь, я как бы вынырнула из-за них.

— Но ведь тогда он должен был вас увидеть.

— Отсутствие его было таким длительным, исчезновение таким полным — он был задут, как свеча. Возможно, я попала в момент, когда он почувствовал усталость — вы же знаете, он уже не молод, — вот почему реакция его была такой сильной. Как бы то ни было, сцена была пуста, как ваша ладонь.

— А он не мог быть в каком-нибудь другом месте?

— Он не мог быть нигде, кроме того места, где я его оставила. Однако кругом была пустота, такое же оголенное пространство, как и та долина, что сейчас расстилается перед нами. Он исчез, он перестал существовать. Но стоило раздаться моему голосу — я произнесла его имя, — он возник предо мною, подобно восходящему солнцу.

— И где же именно произошел восход?

— Там, где и следовало ожидать, где он должен был находиться, где я увидела бы его, будь он подобен другим людям.

Я слушал ее рассказ с глубоким интересом, однако долг повелевал мне отместить все сомнения.

— Сколько времени прошло с момента, когда вы его оставили?

— Совсем мало, лишь несколько минут.

— Но достаточно, чтобы убедиться?

— Убедиться в его отсутствии?

— Да, и в том, что вы не ошиблись, не стали жертвой какого-нибудь фокуса-покуса, обмана зрения.

— Конечно, я могла и ошибиться, но я не ошиблась, я знаю, поэтому я и хочу, чтобы вы заглянули к нему в комнату.

Я задумался:

— Могу ли я, если даже его жена не решается подглядывать за ним?

— О, ей ужасно хочется. Предложите ей — право же, ее недолго придется уговаривать: она уже давно подозревает.

Я еще подумал:

— А он знает?

— Что я потеряла его и очень удивилась? По-видимому, да, хотя мне кажется, он решил, что успел меня опередить. Ему приходится так думать — ему не остается ничего другого...

Я сдался: кто знает?

— По крайней мере, говорили ли вы с ним о его исчезновении?

— Боже упаси, у *prenez-vous*<sup>1</sup>? Мне все показалось таким невероятным.

— Да, конечно. А как он выглядел?

Пытаясь обдумать случившееся и восстановить вчерашнее чудо, Бланш Эдни задумчиво созерцала долину. Вдруг она заявила:

— Точно так же, как в данный момент.

И я увидел лорда Меллифонта, стоявшего перед нами с альбомом в руках. Я не уловил в нем ни подозрительности, ни опустошенности. Он стоял, как имел обыкновение стоять всегда и повсюду — центральная фигура сцены. Само собой разумеется, он не мог показать нам своего рисунка, но уверенность, с которой он вошел в свою роль, как нельзя лучше утвердила нас в нашем представлении о нем. Он выбирал место для этюда. Картинно прислонившись к скале, он одним взмахом своего карандаша завладел пейзажем; его прелестный ящик с акварелями по-

<sup>1</sup> Здесь: «Подумайте, что вы говорите?» (франц.).

коился подле него на естественном табурете — береговом уступе (еще одно свидетельство благоволения к нему природы!). Он рисовал, разговаривая, и разговаривал, рисуя; разнообразие его рисунков не уступало богатству тем его беседы, способной скрасить недостатки любого альбома.

Мы оставались все время, пока длилось представление, а горные вершины, повернув к нам свой умный профиль, казалось, следили за его успехом. Они потемнели, как и их силуэты на бумаге, и четко выделялись на багровом фоне неба, чей грозный вид, однако, не внушал никаких опасений, пока лорд Меллифонт был занят своим рисунком. Природа склонилась перед ним в поклоне, и сами стихии застыли в ожидании. Бланш обратилась ко мне на языке взглядов, я прочел в ее глазах: «Ах, если бы мы были способны на такое совершенство — он заполняет сцену целиком, — нам это не дано!». Остановить его было так же невозможно, как покинуть театральный зал до окончания пьесы, но вот упал занавес, и мы втроем направились к гостинице, у дверей которой милорд, бросив последний взгляд на рисунок, вырвал его из альбома и вручил нашей приятельнице, сопроводив подарок несколькими любезными словами. Затем он вошел в дом. Взглянув наверх, мы увидели его у окна своей гостиной (ему принадлежали лучшие апартаменты отеля) — он наблюдал за погодой.

— Ему потребуется отдых после этого, — промолвила Бланш, рассматривая акварель.

— И основательный, — сказал я, бросив взгляд на окно: лорд Меллифонт успел исчезнуть.

— Он уже растворился.

— Растворился?

Я понял, что актриса думала о чем-то другом.

— В бесконечности происходящего. У него опять начался антракт.

— Он должен быть долгим.

Она обвела глазами террасу и, увидев в дверях кельнера, спросила:

— Не видели ли вы мистера Водри?

— Он вышел из гостиницы минут пять назад на прогулку — я полагаю, спустился по тропинке. В руках у него была книга.

Я посмотрел на зловещие облака.

— Ему бы следовало прихватить зонтик.

Кельнер улыбнулся.



— Я дал ему такой же совет.

— Благодарю вас, — сказала Бланш и, когда кельнер удалился, заявила:

— Хотите оказать мне услугу?

— Если вы окажете услугу мне. Интересно, подписан ли ваш рисунок?

Она бросила взгляд на акварель и протянула ее мне.

— Как ни странно — нет.

— Он должен быть подписан, иначе он потеряет всю свою ценность. Можно, я оставлю его у себя на время?

— Да, если вы выполните мою просьбу. Возьмите зонтик и догоните мистера Водри.

— Вы хотите, чтобы я доставил его вам?

— Я хочу, чтобы вы задержали его, и как можно дольше.

— Пока не кончится дождь?

— Какое мне дело до дождя! — высокомерно заметила моя спутница.

— Вы готовы дать нам промокнуть до костей.

— Без всякого сожаления! — и добавила со странным блеском в глазах:

— Я попробую...

— Попробуете?

— Увидеть настоящего. Ах, если б мне только удалось! — воскликнула она с жаром.

— Ну что ж, попробуйте — я готов задержать нашего друга хоть на целый день.

— Если я доберусь до того, кто пишет, — она перевела дыхание, глаза ее блестели, — если мне удастся уговорить его написать еще один акт, какая у меня будет роль!

— Я буду держать Водри в плену всю его жизнь! — крикнул я ей вслед, ибо она успела уже скрыться в доме.

Дерзость ее оказалась заразительной — меня охватило нетерпеливое возбуждение. Я посмотрел на акварель лорда Меллифонта, на приближающиеся грозовые тучи, посмотрел на окна милорда, затем на свои часы: Водри опередил меня так незначительно, я легко догоню его, даже если задержусь на пять минут, чтобы подняться к лорду Меллифонту в гостиную, где он так часто и гостеприимно принимал нас всех, и передать ему, что миссис Эдни просит освятить рисунок его высокой подписью. Взглянув еще раз на сие произведение искусства, я заметил, что в нем действительно чего-то не хватает — чего же, как не благородного автографа? Долг повелевал мне без промедления

исправить недостаток, и, войдя в отель, я направился к апартаментам лорда Меллифонта; я уже протянул руку, готовясь толкнуть дверь его салона, но тут мною овладели сомнения — я столкнулся с трудностями, о которых в дерзкой своей поспешности не подумал раньше: если я поступюсь, я все испорчу, однако способен ли я обойтись без этой церемонии? Эти вопросы смутили меня; я вертел в руках рисунок, но он не давал мне ответа, который я надеялся получить. Я хотел, чтобы он сказал: «Отвори дверь тихо-тихо, беззвучно, но быстро — и ты увидишь то, что ты увидишь! Я набрался храбрости и вторично протянул руку к дверному замку, но в то же мгновение заметил (у меня хватило на это самообладания), что именно так, как хотел я — тихо-тихо, беззвучно, но быстро, — отворилась дверь на противоположной стороне коридора. Рот мой растянулся в улыбке — весьма натянутой — навстречу леди Меллифонт, которая, увидев меня, застыла на пороге своей комнаты. За то короткое мгновение, пока она стояла, мы обменялись двумя-тремя предложениями, тем более откровенными, что они остались невысказанными. Мы поймали друг друга па проявлении нерешительности, и в этом плане отлично друг друга поняли. Я сделал движение к ней — нас разделяла ширина коридора, — но ее губы сложились в беззвучную мольбу: «Не надо!» В ее глазах я прочел все, что могли выразить слова, — признание в своем любопытстве и страх перед последствиями моего. «Не надо!» — повторила она, когда я к ней приблизился. Я был готов отказаться от задуманного эксперимента — я боялся, что она воспримет его как акт насилия. И все же в ее испуганных глазах, в самой глубине их, таилось еще одно признание — намек на разочарование, если я отступлю.

Она как бы говорила мне: «Я не возражаю, если вы возьмете всю ответственность на себя. Да, я готова к тому, чтобы кто-то другой застал его врасплох. Но нельзя допустить, чтобы он подумал, что это была я».

— Мы вскоре обнаружили лорда Меллифонта, — заметил я, намекая на нашу встречу с ней час тому назад, — и он был так любезен, что подарил миссис Эдни этот прелестный этюд. Она уполномочила меня просить милорда поставить недостающую здесь подпись.

Леди Меллифонт взяла рисунок, и, пока она разглядывала его, я мог угадать, какую сильную борьбу она вела сама с собою. Она уже готова была заговорить, но вдруг

я почувствовал, как ее деликатность и гордость, ее скромность и лояльность восстали, чтобы помешать единственной возможности узнать правду. Она повернулась и с рисунком в руках вошла к себе. Ее отсутствие длилось лишь несколько минут, но, когда она снова появилась, я увидел, что она не только подавила в себе все соблазны, но гонит их от себя со все растущим ужасом.

— Если вы будете так любезны и оставите рисунок у меня, я позабочусь, чтобы просьба миссис Эдни была выполнена, — произнесла она с изысканной любезностью и добротой, но так, что я понял — наш разговор окончен. Я согласился с энтузиазмом, несколько искусственным, и, чтобы разрядить напряжение, заметил, что предсказывают перемену погоды.

— В таком случае мы едем, едем немедленно! — заявила она.

Меня умилила страстность ее заявления, в нем так явно проявилось желание бежать, укрыться, унести с собой свою тайну, которой здесь так много угрожало. И тем удивительнее было, что, воспользовавшись предложением прощания, она протянула мне руку. Ее пожатие как бы говорило: «Спасибо за помощь, которую вы готовы были оказать мне, но пусть все остается как есть. Если я узнаю правду, кто мне поможет тогда?». Возвращаясь к себе за зонтиком, я подумал: «Она уверена, но боится доказательств».

Четверть часа спустя я догнал Клера Водри, и вскоре мы уже искали, куда бы спрятаться от дождя. Гроза разразилась наконец с необыкновенной силой. Мы вскарабкались по крутому склону к пустой хижине — убогому строению, которое больше походило на сарай для скота, чем на человеческое жилье. Нам оно, однако, показалось вполне приемлемым укрытием, сквозь щели которого мы могли наблюдать за блистательным зрелищем — яростно разбушевавшейся стихией. Развлечение длилось целый час — час, наполненный самыми грустными разочарованиями. Покуда молнии заигрывали с громом и потоки дождя обрушивались на наши зонты, я пришел к выводу, что Клер Водри обманул мои надежды. Трудно сказать, что именно ожидал я от прославленного автора перед лицом разгневанных стихий, какую именно Манфредову позу надеялся я увидеть, но что в подобной ситуации оп будет угощать меня пикантными анекдотами (явно устаревшими к тому же) о похождениях леди Рингроуз, меньше все-

го приходило мне в голову. Миледи служила темой его разглагольствований в течение почти всей величественной драмы, развертывавшейся на наших глазах, однако перед ее концом он успел перейти к приключениям мистера Чейфера — литературного критика, скандальная слава которого не уступала славе леди Рипгроуз. Мое сердце буквально разрывалось от одной мысли, что такой человек, как Водри, мог говорить о критиках. Блеск молний придавал особую четкость истине, о которой я догадывался многие годы и которую последние несколько дней превратили в досадную уверенность: наш всеми почитаемый гений считал, что для личных контактов вполне сойдет товар второго сорта. Таково уж общество, к сожалению, но в том, что наш друг так легко соглашался с этим, сквозило презрение к людям, которое не могло не раздражать его почитателя. Мир был вульгарен и глуп, и нужно было быть дураком, чтобы позволить себе раскрыться перед ним в своей реальной сущности, когда так легко было присутствовать на званых обедах и сплетничать, так сказать, по представительству. Однако сердце мое упало, когда я почувствовал, что он не изменил своему правилу экономии и по отношению ко мне. Не знаю, чего именно я ждал; мне кажется, я хотел, чтобы он сделал исключение для меня — выделил бы (со всей широтой и изысканностью) меня одного из огромной орды тупых и скучных. Я был почти убежден, что, знай он, как я восхищаюсь его талантом, он непременно сделал бы это исключение. Но мне ни разу не удалось передать ему свои чувства, а он никогда не изменял своим принципам. Как бы то ни было, я был убежден в одном — в этот час его кресло в гостинице не пустовало, там можно было увидеть и позу Манфреда и реакцию Олимпийца. Я мог только завидовать миссис Эдни и тому удовольствию, которое она, по-видимому, от этого получала.

Наконец дождь стих и небо прояснилось настолько, что позволило нам покинуть наше убежище и вернуться в гостиницу, где мы обнаружили, что наше длительное отсутствие произвело переполох. Полагали даже, что с нами случилось какое-то несчастье. При нашем приближении некоторые из наших друзей выбежали на крыльцо и были явно разочарованы, увидев, что мы лишь промокли насквозь. По странной случайности Клер Водри вымок больше, чем я, и потому он сразу же направился к себе. Бланш Эдни была среди тех, кто особенно волновался о нашей судьбе,

но, когда объект ее забот приблизился к ней, она не удостоила его даже приветствием. С демонстративностью, в которой проглянула, на мой взгляд, явная холодность, она повернулась к нему спиной и проплыла в салон. Несмотря на то, что я промок до костей, я последовал за ней; она тут же обернулась, так что мы оказались лицом к лицу. Никогда прежде не видел я ее столь прекрасной. Ее озярало вдохновение, и быстрым шепотом, который был одновременно самым громким криком, когда-либо слышанным мною, она выпалила: «Я получила свою роль наконец!»

— Вы были в его комнате — я оказался прав?

— Прав, — повторила она. — Ах, друг мой!

— Он был там? Вы его увидели?

— Он увидел меня. Это был самый счастливый день в моей жизни!

— Если вы были хотя бы наполовину так прекрасны, как сейчас, то это был счастливейший час в его жизни!

— Он великолепен, — продолжала она, не слушая меня, — он тот, кто на самом деле все это пишет.

Я был искренне поражен, она же продолжала:

— Мы поняли друг друга.

— При вспышках молнии?

— Что ему до них!

— Как долго вы там оставались? — спросил я, восхищенный.

— Достаточно, чтобы сказать ему, что я его обожаю.

— Ах, а я так и не смог ему это высказать! — Я чуть не плакал от отчаяния.

— У меня будет роль, у меня будет роль! — продолжала она в триумфе, безразличная к моему горю, и, как девочка, закружилась по комнате, однако успев бросить мне:

— Пойдите переодеваться.

— Вы получите подпись лорда Меллифонта, — сказал я.

— К черту подпись лорда Меллифонта! Он во сто раз милее мистера Водри, — добавила она без всякой связи.

— Лорд Меллифонт? — Я притворился, что ничего не помню.

— К черту лорда Меллифонта!

И Бланш Эдни, вся — возбуждение, стремительно кинулась в открытую дверь, но столкнулась в ней со своим мужем, узрев которого воскликнула: «А мы говорили о тебе, любовь моя!» — и, бросившись ему на шею, поцеловала.

Я отправился в свою комнату и сменил одежду. Я оставался у себя до вечера. Хотя ярость бури и утихла, зачастил мелкий дождь, перешедший в изморось. Спустившись к обеду, я обнаружил, что перемены в погоде отразились на нашей компании — она распалась. Меллифонты отбыли в карете четверкой, за ними последовали другие, несколько экипажей было заказано на утро для немногих оставшихся. Среди них была и Бланш Эдни; под предлогом, что ей нужно укладываться, она покинула нас сразу же после обеда. Клер Водри спросил меня, что с ней случилось — она вдруг как будто бы невзлюбила его. Не помню, что я ему ответил, но, чтобы утешить его, я выехал с ним на следующее утро. Когда мы спустились к завтраку, Бланш уже успела исчезнуть. Впрочем, в Лондоне они помирились — он закончил ее пьесу, которую она поставила. Я должен заметить, что она по-прежнему ищет свою великую роль. У меня в голове имеется для Бланш великолепная пьеса, но она не приходит ко мне, чтобы вдохновить меня. Леди Меллифонт дарит мне доброе слово всякий раз, когда мы встречаемся, но меня это не утешает.

# Вашингтон Ирвинг

## *Антрепренер бродячей труппы*

Однажды утром я прогуливался с моим всезнающим другом Бэкторном по Лондону, п, когда мы очутились возле одного из известных театров столицы, он указал на группу тех малопочтенных субъектов, которых постоянно можно видеть возле входов, предназначенных для актеров. Одежда их была убога, сюртуки — глухие, застегивающиеся до самого горла, но шляпы они шегольски сдвигали набекрень, а в манере держаться проглядывала полуджентльменская, полувульгарная развязность, присущая прапорщикам театрального мира. Бэкторн еще в давние времена свел с ними близкое знакомство.

Это, объяснил он мне, — призраки монархов и героев, те, кто держит в деснице скипетр и меч, распоряжается царствами и армиями и, щедрой рукой раздавая вечером земли и сокровища, поутру с трудом наскребает шиллинг, чтобы заплатить за завтрак. Тем не менее они, как истые бродяги, питают отвращение ко всем видам полезного и производительного труда; есть у них и свои особые удовольствия — например, греться па солнце у заднего входа в театр во время репетиций, отпуская избитые шуточки по адресу прохожих.

Сцена — это оплот наиболее стойких и узаконенных традиций. Старые декорации, старые костюмы, старые чувства, старая декламация и старые шутки передаются из поколения в поколение и, вероятно, будут передаваться до скончания времен. Каждый театральный прихлебатель становится остряком по традиции и блистает в кабаках и шестипенсовых клубах с помощью шуток, давно уже ставших реквизитом актерских уборных.

Пока мы с любопытством рассматривали эту группу, наше внимание привлёк побронзовевший от времени и пива ветеран, которого остальные слушали с почтением — он, без сомнения, поседел в ролях разбойников, кардиналов, римских сенаторов и вельмож без речей.

— В этой шляпе и этой физиономии мне чудится что-то чрезвычайно знакомое, — заметил Бэкторп и, посмотрев пристальнее, добавил: — Нет, я не ошибаюсь: конечно же, перед нами Флимси, мой старый собрат по оружию, герой и трагик бродячей труппы.

И действительно, это был Флимси. Наружность бедняги неопровержимо доказывала, что для него настали тяжёлые времена — так изысканна и ветха была его одежда. Однобортный, некогда модный, а теперь совсем вытертый сюртук еле-еле застегивался на животе, который за годы усердных возлияний приобрёл округлость пивной бочки. На нем были засаленные панталоны из белого трико, которые с трудом дотягивались до жилета, грязный галстук, завязанный пышным бантом, и старые рыжеватые сапоги, какие носят герои трагедий.

Когда собеседники Флимси разбрелись кто куда, Бэкторп отвёл его в сторону и назвал себя. Ветеран-трагик узнал его не сразу и долго не мог поверить, что перед ним действительно стоит его давний товарищ «джентльменчик Джек». Бэкторп пригласил его зайти в ближайшую кофейню потолковать о старых временах, и вскоре мы уже вкратце познакомились с историей его жизни.

Он продолжал играть героев-любовников в бродячей труппе и после того, как Бэкторп ее покинул, но затем антрепренер умер и начались междоусобные распри. Все оспаривали корону друг у друга, каждый стремился стать первым, и в конце концов вдова антрепренера, хотя она и играла в трагедиях королей, а в жизни была бой-бабой, объявила, что не в силах больше справляться с этой шайкой необузданных буянов.

— Тут я, — сказал Флимси, — поняв намек, предложил ей свои услуги самым решительным образом. Предложение было принято, и через неделю я женился на вдове и разделил с ней ее трон. «От поминок холодное пошло на брачный стол», как говорил Гамлет. Но призрак моего предшественника мне не являлся, и я без малейшей помехи унаследовал короны, скипетры, кубки, кинжалы, всю театральную бутафорию и весь реквизит, не говоря уж о вдове.



Теперь мне жилось прекрасно — труппа у нас была отличная и пользовалась успехом, а так как главные роли в трагедиях играли мы с женой, то это давало изрядную экономию. На сельских ярмарках мы брали верх над всеми соперниками — заверяю вас, мы делали полные сборы, и критики хвалили нас даже на Варфоломеевской ярмарке, хотя там нам пришлось состязаться с цирком Астли, с ирландским великаном и со «смертью Нельсона» в балагане восковых фигур.

Однако вскоре я начал знакомиться с шипами, которыми чревата власть. Я обнаружил, что труппа разделяется на враждующие клики по наущению нашего комика, который, как вы, наверное, не забыли, был человеком кисло-го и раздражительного нрава и всегда пребывал в дурном настроении. Мне очень хотелось немедленно же от него избавиться, но он был мне нужен, ибо на подмостках смешил публику как никто другой. Даже фигура у него была такой комичной, что стоило ему повернуться спиной к залу, и все дамы умирали со смеху. А он прекрасно сознавал свою важность и злоупотреблял ею. Зал у него хохочет до колик, а он уйдет за кулисы и начинает ворчать, привередничать и бог знает что себе позволять. Впрочем, я многое готов был ему извинить, зная, что подобные свойства характера вообще присущи комическим актерам.

Но был и другой, более близкий и дорогой моему сердцу источник неприятностей — любовь, которую питала ко мне моя супруга. К несчастью, она воспылала ко мне чрезвычайной нежностью и принялась ревновать самым тираническим образом. Я не смел пригласить в труппу хорошенькую актрису и не решался обнять даже некрасивую партнершу, хотя это требовалось по роли. Был случай, когда она превратила знатную даму в оборванку, «прямотаки в лохомотья», как выразился Гамлет, заодно погубив один из лучших костюмов нашего сценического гардероба, потому лишь, что подсмотрела наш поцелуй за кулисами, хотя, заверяю вас честью, мы только репетировали.

Это было вдвойне неприятно — и потому, что я люблю хорошенькие личики и мне правится видеть их вокруг себя, и потому, что без них ни одна труппа не может рассчитывать на успех у ярмарочной публики, когда рядом дают представление другие театры. Но если уж ревнивая жена сядет на своего конька, от разговоров о доходах или о чем другом толку никакого не будет. Черт побери, милостивые государи, сколько раз, когда во время такого при-

падка она, играя в высокой трагедии, выхватывала на подмостках жестяной кинжал, сколько раз я трепетал при мысли, что она даст себе волю и взаправду вонзит его в грудь воображаемой соперницы!

Однако жилось мне не так уж плохо, несмотря на слабость моей плоти и грозный характер моего ребра. Я переносил не больше, чем приходилось переносить старику Юпитеру, чья супруга обличала его во все новых и новых интрижках, так что небеса горели у него под ногами.

В конце концов судьба распорядилась по-своему, и, приехав на деревенскую ярмарку, я узнал, что театр в соседнем городе пустует. Я всегда мечтал о том, чтобы вступить в постоянную труппу, и венцом моих желаний было бы сравняться с одним из тех директоров заправского театра, которые смотрели на меня сверху вниз. И теперь мне представился случай, упускать который никак не следовало. Я заключил контракт с владельцами и через несколько дней с блеском открыл театр.

Вот так я вознесся на вершину заветных моих мечтаний, «на бом-брам-рею моих упований», как выражается Томас. Из вождя кочевого племени я превратился в монарха, восседающего на прочном троне, и получил право именовать «кузенами» даже прославленных повелителей Ковент-Гардена и Друри-Лейна.

Вы, без сомнения, полагаете, что счастье мое было безоблачным... Увы, милостивый государь, в мире не нашлось бы собаки несчастней меня. Никто, кроме тех, кто сам это не испытал, не в силах вообразить горестей директора театра, и, главное, — театра провинциального; никто не способен представить себе интриги и ссоры в его стенах, хлопоты и унижения вне их.

Меня допекали местные фаты и шалопаи, которые вторгались за кулисы и сбивали с пути истинного моих актрис. Однако отделаться от них я не мог. Пойти им наперекор значило бы обречь себя на разорение — хотя их дружба приносила мало радости, вражда их была бы опасна. Далее упомяну местных критиков и местных театралов, которые без устали досаждали мне советами и приходили в ярость, если я этим советам не следовал. Больше всего я натерпелся от местного доктора и местного нотариуса — ведь они оба бывали в Лондоне и знали, как положено играть актерам!

К тому же я умудрился собрать компанию таких буянов, какой не видывала еще ни одна сцена. К моей собст-

венной труппе я был вынужден добавить кое-кого из прежних любимцев тамошней публики, и получилась смесь, пребывавшая в постоянном брожении. Они все время либо затевали свары, либо вместе проказничали, и уж не знаю что было хуже. Когда они ссорились, все шло вкривь и вкось, а когда они становились друзьями, то без конца подстраивали премерзкие шутки друг другу или мне, ибо, на свою беду, я прослыл у них человеком добрым и покладистым — репутация для театрального директора самая убийственная.

Их шуточки меня порой чуть с ума не сводили, потому что ничто так не раздражает, как избитые розыгрыши, уловки и остроты из арсенала старых театральных бродяг. Правда, пока я сам был бродячим актером, они мне даже нравились, но как директор труппы я их терпеть не мог. Мои актеры непрестанно компрометировали театр г> глазах городка своими кабацкими забавами и проделками. Тщетно я убеждал их в необходимости поддерживать достоинство нашей профессии и оберегать доброе имя труппы. Эти негодяи были неспособны понять тонкие чувства человека с положением. Они посягали даже на серьезность сценического представления! Как-то спектакль пришлось прервать, и переполнявшая зал публика (сбор составил двадцать пять фунтов!) вынуждена была ждать — и все потому, что актеры припрятали мужские штаны Розалинды! Гамлет однажды торжественно вышел на авансцену, намереваясь начать свой монолог, и оказалось, что сзади ему пришили посудное полотенце. Вот каковы бывают последствия, если антрепренер прослышет добряком.

Невыносимые мучения причиняли мне и знаменитые актеры, приезжавшие из Лондона па гастроли. Самая зловещая звезда в небесах не сравнится губительностью с такой вот лондонской «выездкой», как их называют. Прославленная актриса, совершающая турне по провинциальным театрам, бывает страшней пылающей кометы, которая режется в небесах, стряхивая со своего хвоста на землю пожары, моровые язвы и войны.

Стоило появиться на моем горизонте такому небесному телу, как я уже ждал беды. Моим театром завладели провинциальные денди, модные подделки под щеголей с Бонд-стрит, жаждущие попасть в свиту столичной актрисы и показать, что они принадлежат к числу ее близких друзей. Я даже испытывал облегчение, когда к нам, прель-

стившись этой приманкой, приезжал какой-нибудь молодой аристократ и распугивал мелкую рыбку. Я чувствовал себя с настоящим аристократом проще и свободней, чем с провинциальным денди.

А какие оскорбления наносились во время визитов этих знаменитых актеров моему достоинству и какой ущерб терпела моя директорская власть! Милостивый государь, не только мой трон, но и я сам уже не принадлежал себе! Мною помыкали, мне читали нотации за моими собственными кулисами, меня превращали в полнейшее ничтожество на моей собственной сцене. Нет тирана более абсолютного и капризного, чем лондонская «звезда» на провинциальной сцене.

От одного их вида бросало в дрожь, но, если бы я попробовал не приглашать их, на меня восстала бы вся публика. Эти акторы делали полные сборы и, казалось бы, приносили мне богатство; однако все доходы поглощались их ненасытными требованиями. Это были настоящие солитеры — чем больше их появлялось в моем маленьком театре, тем беднее он становился. Когда они отбывали, мне оставались пресыщенная публика, пустой зал и необходимость как-то уладить десятка два недоразумений и обид, возникших при распределении билетов.

Но тягостнее всего для меня, пока я оставался театральным директором, было покровительство местных меценатов. Ах, милостивый государь, нет ничего страшнее покровительства первых особ провинциального города. Оно-то меня и погубило. Городок этот, как вам следует узнать, несмотря на малую свою величину, изобиловал распрями, кликами и важными особами, так как в нем процветали торговля и промышленность. Беда была в том, что величие их принадлежало к тому сорту, степень которого невозможно установить с помощью придворного альманаха или геральдической коллегии. А потому оно сочеталось с невероятной сварливостью и воинственностью. Вы улыбаетесь, милостивый государь, но, поверьте, нет распрей более свирепых, чем пограничные распри, вспыхивающие па «спорных землях» подобной знатности. Самая бурная из известных мне ссор в высшем обществе произошла в провинциальном городке, когда из-за первенства поспорили меж собой супруга фабриканта булавок и супруга фабриканта иголок.

В городке, где находился мой театр, подобные раздоры не утихали ни на минуту. Супруга первого из фабрикан-

тов, например, смертельно враждовала с подругой жизни первого из лавочников, и обе были слишком богаты и имели слишком много друзей, чтобы с ними можно было не считаться. Супруги доктора и нотариуса задирали нос еще выше, но им в свою очередь приходилось уступать пальму первенства жене местного банкира, державшей собственный экипаж, тогда как мужеподобная вдова с сомнительной репутацией, обитавшая в большом доме и находившаяся в каком-то родстве с настоящей знатью, смотрела сверху вниз на них всех. Высший свет изгнал ее, но тут она царила самодержавно. Да, конечно, ее манеры были не слишком изысканны, а состояние и вовсе невелико, но зато ее кровь, милостивый государь, — о, ее кровь сметала все на своем пути. Кто посмел бы противостоять женщине, в чьих жилах текла подобная кровь! Тем не менее на балах и собраниях ей часто приходилось выдерживать бой за первенство с воинственными местными дамами, которые опирались на богатство и безупречную репутацию. Однако у нее были две дочери, которые одевались столь же великолепно, как драконы, обладали столь же благородной кровью, как и их матушка, и во всем ее поддерживали. И потому они, высоко задрав голову, добивались своего, а все ненавидели и поносили семейство Фэнтедлин и смертельно его боялись.

Вот в каком состоянии находился большой свет этого самодовольного городка. К несчастью, я не был осведомлен о его подводных течениях и во время первого сезона чувствовал себя там чужим и постоянно попадал в затруднительное положение. Посему я решил заручиться покровительством какой-нибудь важной особы и, расположив таким образом к себе публику, пожинать лавры. Я долго размышлял, на ком мне остановить свой выбор, и в злополучный час подумал о миссис Фэнтедлин. Мне казалось, что никто другой не пользуется в свете столь абсолютным влиянием. Я давно замечал, что громче всех в театре хлопают дверью ложи ее провожатые, что в этой ложе собирается больше всего кавалеров и что они громче всех говорят и смеются во время спектакля. Кроме того, обе мисс Фэнтедлин носили больше перьев и цветов, чем остальные дамы, и то и дело подносили к глазам насмешливые лорнеты. А потому в афишах, возвещавших об открытии второго сезона в моем театре, огромными буквами значилось: «Под покровительством высокородной миссис Фэнтедлин».

Все общество тотчас схватилось за оружие, милостивый

государь. Супруга банкира усмотрела тут жестокое оскорбление для своего достоинства: ее обошли выбором, хотя ее муж — мэр города и самый богатый здесь человек! Она немедленно разослала приглашения на званый вечер, который должен был состояться в день первого представления, и включила в круг своих гостей многих дам, до которых прежде не снисходила. Местный свет, давно уже изнывавший под игом семейства Фэнтедлин, только обрадовался случаю дружно восстать против его нестерпимого высокомерия. Взять под покровительство театр! Какие претензии! Те, кого супруга банкира раньше не удостаивала своим вниманием, ради чести знакомства с ней были готовы поддержать ее в любой ссоре. И все прочие раздоры были забыты. Супруга доктора и супруга нотариуса сели рядом, супруга фабриканта и супруга лавочника расцеловались, и все они под водительством супруги банкира объявили театр невыносимо скучным, поклявшись, что с этих пор не будут поощрять иных служителей искусства, кроме индийских жонглеров и мистера Уокера с его паноптикумом.

Увы! Я даже не подозревал, какая мне грозит беда. Никто не присылал за билетами в ложу. Настал вечер. Оркестр заиграл перед более или менее наполненным партером и галеркой, но из цвета местной знати — никого! Я с тревогой смотрел сквозь дырочку в занавесе, а время шло и представление все не начиналось, пока партер и галерка не пришли в ярость. Тогда я был вынужден поднять занавес и выступить в лучшей из своих ролей «перед зияньем лож пустых».

Правда, миссис Фэнтедлин и ее дочери все-таки приехали — по своему обыкновению опоздав — и ворвались в театр, как буря, в вихре перьев и красных шалей. Однако они растерялись, не обнаружив никого, в ком могли бы вызвать зависть или восхищение; предательство светских поклонников привело их в бешенство. Весь бомонд отправился на раут к жене банкира. Они сидели в неудобном одиночестве и, хотя вокруг них никого не было, впервые переговаривались шепотом. Они удалились после окончания первой пьесы, и с тех пор я их больше никогда не видел.

Таков был риф, о который я разбился. Мне уже не удалось оправиться от удара, который нанесло мне покровительство семейства Фэнтедлин. Ругать театр и объявлять игру актеров чудовищной вошло в моду. Вскоре в городке

обосновался конный цирк, построив свое благополучие на развалинах моего. Мой театр пустовал, мои актеры ходили недовольные из-за задержек жалованья, в мою дверь непрерывно стучались судебные приставы со всего графства, а моя жена становилась тем сварливее и неуживчивее, чем больше я искал утешения и покоя.

Театр был предан хаосу и разграблению. Меня считали банкротом, которого можно и должно обирать — так растаскивают ценный груз с тонущего корабля. Каждый день кто-нибудь из актеров исчезал, захватив с собой, подобно солдатам-дезертирам, свое оружие и снаряжение. Вот так мой реквизит обрел ноги и начал разбредаться во все стороны: мои наряды прогуливались по всей стране, мои шпаги и кинжалы сверкали во всех амбарах, и в конце концов мой портной, «нанеся удар гнуснейший», исчез с тремя придворными кафтанами, полудюжиной камзолов и девятнадцатью парами панталон телесного цвета.

Это решило мою судьбу. Теперь я знал, как мне следует поступить. Черт побери, подумал я, раз все крадут, так украду и я. И вот я тихонько собрал все мои театральные драгоценности, завязал костюм героя в платок, повесил его на конец бутафорского меча и в глухую ночь бесшумно выбрался из дома, «когда часы пробили час», оставив мою королеву и королевство на милость моих взбунтовавшихся подданных и безжалостных моих врагов — судебных приставов.

Таков, милостивый государь, был «величья моего конец». Я навсегда излечился от желания властвовать и вновь стал рядовым. Некоторое время я вел обычную актерскую жизнь — играл в провинциальных театрах, на ярмарках и в амбарах, то голодая, то разживаясь деньгами, пока в один прекрасный день чуть было не нашел свою судьбу и не стал феноменом нашего века.

Я играл Ричарда Третьего в сельском амбаре и «перепродил самого Ирода». Среди зрителей был агент одного из лондонских театров. Он разыскивал что-нибудь, из чего удалось бы сделать неотразимую приманку для публики. Его театр находился в отчаянном положении, и спасти его могло лишь чудо. На эту роль он решил испробовать меня. Я декламировал свои монологи с исключительным пафосом и расхаживал по подмосткам, как петух; а так как в дни моих тревог я начал попивать, то голос мой обрел легкую надтреснутость, так что казалось, будто он состоит из смеси двух голосов. Агенту пришлось в голову представить

меня столице как актера-феномена, возродившего естественную и истинную манеру игры, как единственного, кто способен верно понять и верно сыграть Шекспира. Он пришел ко мне на следующее утро и сообщил о своем намерении. Его слова привели меня в подобающее смущение — хотя я и был о себе высокого мнения, но все же не считал, что достоин подобной хвалы.

— Какая там хвала, любезный! — сказал он. — Неужто вы поверили, что я и в самом деле так думаю? Довольно будет, если я сумею внушить это публике. Провести же публику ничего не стоит, только предложи ей какой-нибудь феномен. И не старайтесь играть хорошо — только вкладывайте в игру побольше жара! Делайте что хотите, играйте как хотите, только почуднее и понелепей. Мы посадим в партер своих людей и заплатим газетам. И всякий раз, когда вы в чем-то разойдетесь со знаменитыми актерами, они будут объявлять, что вы берете верный тон, а знаменитости фальшивят. Вашу напыщенность назовут верхом темперамента, а в вульгарности усмотрят неподражаемую естественность. Все будут готовы впадать в экстаз, вопить и рукоплескать в наиболее эффектных местах вашей роли. Если только в первый вечер вас не забросают гнилыми яблоками, и ваше будущее и будущее театра обеспечено...

И я отправился в Лондон, исполняясь новых надежд. Мне предстояло возродить Шекспира, возродить естественность и истинную трагедию. Моя осанка будет образчиком героичности, а мой надтреснутый голос станет предметом подражания. Увы, милостивый государь, судьба, как обычно, посмеялась надо мной. В столице меня опередил другой феномен — женщина, которая умела танцевать на слабо натянутом канате и пробегала по нему со сцены на галерку в вихре фейерверка. Дирекция театра алчно уцепилась за нее, и на этот сезон великий национальный театр нашел себе спасение в ней. Весь город говорил только о фейерверке мадам Саги и о ее панталонах огненного цвета, а естественность, Шекспир, истинная трагедия и я остались с длиннейшим носом.

Однако директор театра обязался позаботиться обо мне и не нарушил слова. Случай решал, быть ли мне Александром Великим или Александром-медником, но произошло второе. Я не мог получить первую роль в театре и удовольствовался последней. Другими словами, меня зачислили в так называемые статисты, а они, разрешите сказать вам, —



единственные актеры, которые чувствуют себя на сцене хорошо. Нам не грозит шиканье, а рукоплесканий на нашу долю не положено. Мы не страшимся успеха соперника и не опасаемся критических перьев. Лишь бы выучить две-три реплики, а там можно ни о чем не заботиться. У нас есть свои развлечения, свои друзья и свои поклонники, ибо у всякого актера, от самого великого до самого смиренного, есть свои друзья и свои поклонники. Актер на первые роли обедает с сиятельным театралом и развлекает благородных сотрапезников декламацией, песнями и закулисными сплетнями. Актеры на вторые роли имеют друзей и поклонников среди тех, кто играет вторую скрипку в обществе, и так же доставляют им удовольствие трагическими монологами и закулисными сплетнями. И так далее, вплоть до нас, обретающих друзей и поклонников среди франтов-писцов и честолюбивых подмастерьев, которые время от времени угощают нас обедом и наслаждаются теми же монологами, песнями и сплетнями, которые наши более удачливые собратья сервировали к столу великих мира сего, — но, разумеется, уже далеко не такими свежими.

Теперь впервые за всю свою театральную карьеру я узнал истинное счастье. Я достаточно хлебнул известности, чтобы от души сочувствовать беднягам, которые слывут любимцами публики. Я скорее предпочел бы стать котенком балованного дитяти — котенком, которого то ласкают и угощают сливками, то бьют по лбу ложкой. И я улыбаюсь, когда вижу, как наши ведущие актеры терзаются завистью и ревностью из-за мишурной славы, сомнительной и скоро преходящей. И я смеюсь — разумеется, про себя — над самомнением, важностью, хлопотами и заботами нашего директора, который сведет себя в могилу, безуспешно стараясь угодить всем и каждому.

Среди моих собратьев-статистов есть несколько бывших антрепренеров, которые, подобно мне, некогда повелевали провинциальными театрами, и мы частенько исподтишка отпускаем шуточки в адрес нашего директора и публики. А иногда мы встречаемся, точно низложенные монархи в изгнании, рассуждаем о событиях нашего царствования, ведем нравоучительные беседы за кружкой эля и посмеиваемся над мишурой большого и малого миров — а это, насколько я понимаю, и есть самая суть практической философии.

# Джек Иэмс

## Актер

Конечно, Джадсону Уитфилду не с чего было влюбляться в театр одиннадцати лет от роду. Отец его был врачом, дедушка — судьей, дядя Чарлз торговал автомобилями и вообще, насколько помнили в Тэйлорвиле, Огайо (8416 жителей), все Уитфилды занимались делом, были солидны, законопослушны и голосовали за республиканцев.

Нельзя сказать, что Джадсон просто решил стать актером, когда вырастет, или пристрастился внезапно к переодеваниям. Нет, дело было глубже. Он страстно рвался в театр, к театральной жизни, отделенной чуть заметной чертой от обычного бытия, в царство грима и рампы, мук провала, причуд успеха — словом, в мир, нереальный для всех и в то же время реальный для избранных.

Один господь ведает, как он узнал об этом мире — то ли из случайных рассказов типа «ох уж эти актеры!..», то ли из кино. Во всяком случае, он о нем не забывал никогда.

Как ни странно, он терпеть не мог церковных и школьных представлений. Играть он отказывался наотрез, а если уж приходилось их смотреть, он ерзал в тоске, пока актеры, путая текст, тупо глядели на зрителей. Он презирал и ежегодные певческие праздники и через силу, ради родителей, притворялся, что их любит. Родители думали, что он их должен любить, если уж так пристрастился к театру.

Вряд ли он побывал хоть раз на настоящем спектакле. Нет, однажды его взяли на «Хижину дяди Тома», и он глядел с пылкой завистью, как Ева — на вид его ровесница — искусно «испускала дух». Она была «из этих». Все остальное он видел в душном, похожем на вигвам передвижном театре — оперетты Гилберта и Салливана, «Шо-

коладного солдата», урезанные оперы и всякие «Правда, только правда» или «Реклама не подведет». Ему это нравилось, но все же он смутно чувствовал, что любители-актеры — не совсем «из этих».

Настоящие театры привозили сюда третьеразрядные фарсы с пением, вроде «Матта и Джефа на скачках» или «Папочки в Париже». Его на них не брали, но стоило труппе приехать, он слонялся по аллее за театром, и ладони у него потели от волнения, когда удавалось подглядеть, как мужчина с тусклым лицом или завитая дама «из этих» входят в актерский подъезд.

Как-то отец сказал за завтраком (в Тэйлорвиле все завтракали дома): «Сегодня я заходил к Огастесу Матту».

Джадсон насторожился.

— К Огастесу Матту? — переспросила миссис Уитфилд. — А кто он такой?

— Он играет в этой жуткой оперетте «Матт и Джеф».

— А! — без особого пыла откликнулась она. — Что ж, и они болеют. Кстати, Медж Барбер к тебе зайдет. Она звонила, спросила, пойду ли я к Хелен на бридж, и страшно хрипела, просто говорить не могла.

— Да уж, для нее это беда, — сказал отец.

Джадсон огорчился, что больше не говорят о Матте. Отец побывал в дивном мире и по возвращении сказал одну фразу. Так, вернувшись с Марса, ученый скажет «местечко ничего» и переменит тему.

— А какой он, папа? — спросил Джадсон.

Доктор презрительно хмыкнул.

— Наркоман, — ответил он.

Мисс Уитфилд нахмурилась.

— Пускай знает, — сказал отец. — Побывал бы со мной в этой конуре и посмотрел, как тот трясется, бедняга, — поостыл бы хоть капельку.

Джадсон не ответил, и разговор оборвался. Но после он представлял себе, как Матт дрожит в постели, и думал, что тот, наверное, был очень знаменит, пока его не сразила настоящая любовь или смерть жены, с которой он играл «Ромео». Он думал, сумеет ли Матт вынырнуть, воспрянуть, вернуть былую славу. Быть может, они еще сыграют вместе, он — героя, Матт — благородного отца, и вспомнят несчастливый день в Тэйлорвиле, и Огастес улыбнется и скажет: «Да, милый, такой уж он — театр!»

Джадсону хотелось иногда сбежать и пристроиться в театре, но он никак не мог решить, когда именно это сде-

лать. Он как бы дал слово самому себе, что убежит рано или поздно, и оно поддерживало его в темные часы, когда родители спорили о том, куда его отдать, что ему выбрать — стать ли дельцом, как дядя Чарлз, или врачом, как отец. Когда он несмело заметил, что хочет стать актером, они только улыбнулись.

Пока что, для разрядки, он ставил пьесы просто так, зная, что это — не то, и все ж пытаясь хоть чему-то научиться. Он строго запретил своим актерам общаться с публикой или появляться где-нибудь в костюме. Как-то один из них, совсем малолетний, увидел мать и закричал: «Мама, посмотри!» — и Джадсон влепил ему затрещину. Разгневанная мать увела актера, и больше он в спектаклях не участвовал.

Ядром труппы были два еврея, помоложе его, которые жили рядом и удивительно кротко терпели его власть. Сэмми и Мартин Гроссмены, темноглазые и мечтательные, прониклись духом его затеи больше всех ребят. Другие, как ни странно, поддавались туго.

Девочки были покладистей, но Джадсон мало с ними водился. Случай привел к нему двоих: Лилиан Фрэнк, высокая блондинка лет тринадцати, учившаяся играть на скрипке, отнеслась к делу серьезно (это ему весьма польстило), а Тельма Бернс, глупая толстушка, хоть и старалась изо всех сил, но с ней бывало нелегко. Она не могла понять, что нельзя во весь рот улыбаться публике, и забывала все замечания. Лилиан публике не улыбалась. Джадсон считал ее настоящей актрисой.

Первые спектакли шли в уитфилдовском погребе, и участвовали в них только он сам и Гроссмены. Пьесы он написал, вернее, набросал, на сюжет каких-то рассказов. Диалог был сбивчив, зато действия хватало — и борьбы, и убийств, и разбоя, комический же элемент сводился к зуботычинам. Публика в те дни состояла из его родителей, а иногда приходила и мама Гроссмен. Вскоре Джадсон понял, что это все же не профессионально, и развесил афиши на оградах и деревьях. Писал он их мелками на картоне, который вкладывала прачка в отцовские рубашки. Пришло довольно много народу. Заплатив по одной монете, юные зрители вдоволь пошумели и остались довольны.

Однако самолюбие его страдало. Он взял в труппу девочку, догадавшись, что надо сыграть на интересе к женскому полу. Потом занялся погребом, чтоб сделать там настоящий зал.

Но тут родители купили калорифер и поставили его в погреб.

— Папа! — дрожащим голосом начал Джадсон, услышав об этом. — Ты же знал, что тут у меня будет сцена.

— Ты уж прости, — виновато ответил доктор. — Забыл как-то...

Он лгал. За день до того мать сказала, смущенно улыбаясь:

— Бедняга Джад так расстроится...

А доктор ответил:

— Пускай знает, что дом — не для его забав.

Но сыну он сказал:

— Вот что. Я тебе дам доллар. — Взрослые в таких случаях говорят «дали отступного».

— Не нужен мне доллар, — печально ответил Джадсон. — Мне театр нужен.

— Что ж, может, и будет когда-нибудь, — сказал отец.

Сын отвернулся, глотая слезы. И почему это взрослые думают, что им закон не писан и все в порядке, если они вам скажут, что когда-нибудь будет по-вашему? Конечно, он заведет настоящий театр, и будет носить цилиндр, и угощать красивых актрис, а потом и умрет в конце концов.

Казалось, театр его обречен. Потом он понял, что можно играть в беседке. Затянуть три стороны — ну, скажем, листьями толя, и из квадратного помоста под сенью увитой виноградом плетенки выйдет превосходная сцена. Метрах в тридцати там кирпичная ограда, отделяющая соседний участок; здесь и будет зрительный зал. Черт побери, это вам не погреб, только вот крыши нет! Он слышал, что летние театры следят за сводкой погоды и, если обещают дождь, отменяют спектакль. Не очень удобно, но все же терпимо.

Он приказал юным Гроссменам явиться в субботу, и к вечеру во дворе красовалось дикое сооружение из толя, дерюги и всякого хлама.

Когда доктор пришел домой, он тут же отправился к заднему крыльцу посмотреть, кто же так стучит.

— Господи! — крикнул он. — Это еще что?

Гроссмены опустили молотки, чтобы начать объяснения.

— Театр строю, — небрежно бросил Джадсон, готовый к отпору. — Ну, как тебе?

Отец ответил не сразу. Он любил посидеть в беседке летним вечером, почитать, попить там пивка. Стоял май, и как раз в тот день он думал, что скоро станет совсем теп-

ло. Он смотрел, как предвечерние лучи проходят сквозь плетенку зелени и разбиваются о доски и толь.

— Надеюсь, это не навсегда? — спросил он.

— Да как сказать, — ответил Джадсон. — Зимой вряд ли понадобится.

— А лето простоит вот так?

— Не совсем. Мы еще не достроили.

— М-да... — вздохнул отец. Нелегко было отказаться от вечеров под сенью жимолости, но ведь сам он так жестоко отнял у Джада погреб. — Ну, ладно, — прибавил он и пошел в дом через кухню.

Театр построили за две недели. Снаружи он смахивал на старую лачугу, но внутри его задрапировали простынями, а для занавеса выкрасили две простыни в красную краску (миссис Уитфилд без особой охоты отдавала простыню за простыней), и вышло ничего, прилично. Рядом, у самой стены, соорудили две будки для костюмерной и для реквизита, чтобы актеры не бегали в костюмах через двор, на потеху соседям и родителям. Джадсон хотел устроить рампу, но и так было хорошо. Довольны были и Гроссмены, и Лилиан, и, уж конечно, Тельма.

Тут встал вопрос о пьесе. Чем открыть сезон? Простенькие сценки погребной поры давно решили заменить чем-нибудь получше. Лилиан думала взять пьесу из детского журнала, но Джадсон чувствовал, что пришла пора проститься со всем детским. К примеру, не слишком профессионально вести репетицию с детской книжкой в руке. Откинься в кресле, сдвинь набекрень выдавшую виды шляпу, ори: «Рацн бога, Бернс, пылу, пылу побольше!» — и все ни к чему, если у тебя на коленях лежит синий с золотом томик «Десять детских пьес».

И Джадсон написал в Чикаго тем, кто сулил в рекламе «пьесы на всякий вкус, для любителей и профессионалов»; оттуда прислали каталог, и у него голова закружилась от радости, словно перед ним уже сияли огни ramпы. Он колебался между «Летучей мышью» и «Каппи Рикс», но Лилиан его уговорила не прыгать выше головы и взять «Два билета, пожалуйста» — комедию проверенную, маленькую, с одной декорацией и как раз пятью ролями: две женских и три мужских.

— Сам знаешь, как трудно набрать людей, — коварно говорила она.

Он мрачно кивал:

— А все-таки «Мышь» пошикарней.

Но «билеты» оказались тоже шикарными, а книжечка в строгой бурой обложке — вполне профессиональной. Действие происходило на станции, и участвовали в нем беглая пара, смешной кассир, старая дева и железнодорожный вор.

— Все, что надо для успеха, — говорил Джадсон.

Репетиции начали сразу, и работа шла более бурно и прилежно, чем раньше.

Проходя как-то под вечер мимо театра, миссис Уитфилд остановилась и чуть не выронила от ужаса молоко и печенье, услышав голос сына: «А, черт! Ты что, совсем ничего не можешь?»

Она сказала доктору:

— Вот уж не ожидала...

Доктор ворчливо ответил:

— Это не ругательство. Ты сама так говоришь. Вчера, например, когда ты спутала козыри.

Она покраснела.

— Он как-то иначе... грубо.... Ну, как... не знаю как — а грубо.

— Велика важность! — сказал мистер Уитфилд. — Если он только чертыхается, это еще ничего.

— Тут дело не в голосе, — настаивала мать. — Мне было так странно... Как будто чужой.

— Все взрослые — чужие, — сказал доктор, чтобы кончить разговор и вернуться к детективному рассказу.

Казалось, большую беседку нелегко превратить в театр, но Джадсон это сделал. Окошечко кассы прорезали в простыне, а дно от старого сита заменило решетку. Повесить доску, то есть расписание, было совсем нетрудно. Как раз в те дни подновляли методистскую церковь, и листы отслужившей жести оченьгодились Джадсону. Он соорудил прекрасную скамеечку, а сзади поставил плевательницу.

Несколько указателей — «К Восточному поезду», «Багаж», «Западные штаты» — дополняли иллюзию. Последний указатель стащил на телеграфе ловкий мальчишка, специально для того нанятый. У театральных заправил совесть гибкая.

Костюмы были первый сорт, и куда проще, чем понадобились бы для всяких ведьм, фей или рыцарей из детских книжек. Все взяли у родителей, кроме фуражки для кассира — здесь пригодилась дедовская.

— Наверное, про войну, — говорила миссис Уитфилд. — Он вытащил папину форму.

Доктор хмурился.

— Эта форма... ну, не то чтоб священна... а все ж с ней столько связано.

— Наверное, для героя.

— Только б не испортили...

По ремарке, эту фуражку кассир бросал на пол и, для верного смеха, прыгал на ней.

Наконец все было сделано, и соседние улицы запестрели афишами. Джим Уотеон, парикмахер, поместил афишу в витрине — доктор был выгодным клиентом, — и Джадсон чуть не лопнул от радости, увидев ее рядом с плакатом, извещающим о скором прибытии «Барни Гугла с 24-мя «звездами» пляжа».

Накануне премьеры кратко сообщили: «Завтра небо ясное». Наутро в газетах было: «Возможна облачность к вечеру и завтра». Ничего, терпимо.

Утро тянулось долго. Холодея от ожидания, Джадсон слонялся по двору, проверял декорации, реквизит, поднимал и опускал пунцовый занавес и улыбался труппе, испытывая поиременно то предвкушение успеха, то страх провала.

Мать видела из кухни, как он бродит по двору и, заложив руки за спину, смотрит в тускло-голубое небо.

— Хоть бы дождь не помешал, — думала она. — Бедный Джад, он так принимает это к сердцу.

Она увидела в нем что-то взрослое. Она не сразу разобрала, что именно, и вдруг поняла: руки. Ей никогда не приходилось видеть, чтоб мальчики ходили, заложив руки за спину. Они всегда их держат в карманах. А Джадсон мерил двор шагами, как взрослый, обдумывающий важное дело. Ей снова стало и смешно и странно, и, вздохнув, она вернулась к плите.

Юные Гроссмены пришли посмотреть, как идут дела, и принесли удивительную новость. Альберт, их двоюродный брат из Питсбурга, игравший в театральном оркестре, приехал к ним и придет на премьеру.

— Вот это да! — сказал Джад и прибавил с сомнением: — Он тут со скуки подохнет...,

Но сам-то он знал, что, если все будет как надо, Альберт не подохнет со скуки, а, скорей, подивится их мастерству.

Обедать он не мог.

— Ну, Джад! — говорил доктор. — Дело — делом, а есть надо.



— Перед спектаклем наедаться вредно,— отвечал Джадсон.— Вот потом — ешь сколько влезет.

— Откуда ты это взял?

— Это все знают. Актеры и актрисы только ужинают. Так полагается.

— Ладно,— сказал доктор,— ты не актер, а подросток. Тебе необходимо есть три раза в день. Доедай пудинг.

Джадсон опустил голову и горестно копнул ложкой кусок пудинга.

Спектакль назначили на два часа дня. Тельма опоздала, и Джадсон очень беспокоился, не случилось ли с ней чего; но она явилась в четверть третьего как ни в чем не бывало. С полдюжины ребят дождалось во дворе.

— А, чтоб тебя,— прошипел Джад.— Вот вышвырну из труппы.

Тельма испугалась, губы у нее задрожали.

— У нас часы отстают,— еле прошептала она.

— Ладно, поверим,— резко сказал он.— Эй вы,— обернулся он к остальным,— жмите всюю. Покажите им, что такое театр. Ясно?

Сэмми, не занятый в первом действии, вышел во двор проверить билеты, и зрители повалили внутрь, болтая и смеясь. Тут были большей частью ровесники Джада, были и постарше, были и матери, чьи солидные штампованные фразы звучали снисходительно и важно на фоне визгливой болтовни. Альберт вошел сзади, с актерского подъезда, что непростительно для родственника, но вполне допустимо для коллеги. Он оказался молодым, гладковолосым, и Джадсон тут же признал, что он «из этих».

— Вы скажете потом, как вам понравилось,— попросил Джадсон.— Это для меня очень важно, вы ведь свой, коллега.

— Труппа у вас ничего,— сказал Альберт.— Вы парень ловкий, дело пойдет.

— Надеюсь...— ответил Джадсон, стараясь сдержать радость.

Альберт сел на место. Можно было начинать. Джадсон, игравший кассира, примостился за решеткой, Лилиан (она не могла играть героиню, потому что переросла других чуть ли не на голову) села на скамейку, как и подобает старой деве. Мартин и Тельма стояли у кулис, собираясь выйти на сцену.

Джадсон прошептал Мартину: «Валяй!» Тот дернул за веревку, и занавес рывками пополз по проволоке.

Лириан подождала, пока зрители утихнут, и крикнула:

— Сколько мне ждать поезда?

— Точно не знаю, мэм,— прокричал Джадсон.— Я так скажу: ждите, пока не придет.

По рядам пробежал смехок. Зрители явно оценили шутку. Джад облегченно вздохнул. Начали хорошо.

Первый акт прошел как по маслу. Тельма забыла реплику и застыла в ужасе, пока Джадсон не переспросил: «Как вы сказали, леди? Вы спешите?»

— Да,— жалобно подтвердила она.— Мы очень спешим.

Ясновидение кассира никому не показалось странным, и Джадсон хладнокровно продолжал:

— Что ж мне, поезд свистнуть? — высунулся за кулисы, засвистел в свисток и подождал, скрежеща зубами.

Тут вступила Тельма.

— Кажется, поезд сам свистит,— сказала она, и все покатались со смеху.

Но перед самым концом действия Джадсон с удивлением заметил, что народ беспокоится. Зрители много смеялись и всегда в нужных местах. Устать они не могли, а все же что-то их мучило. Когда занавес закрылся под неожиданно жидкие аплодисменты, он понял: капли дождя упали сквозь навес, прикрывавший сцену.

— А, черт! — крикнул он своим.— Дождь идет.

Они задрали головы и подставили дождю ладони. Слышно было, что в зале ходят и говорят. Голос чьей-то матери перекрыл все звуки: «Что вы думаете делать, миссис Данлеп?» — а та ответила: «Заберу его домой, миссис Финч».

Над зеленью навеса темнело небо, и капли стучали все громче по листьям.

— Придется это дело прикрыть,— печально сказал Джад,— деньги вернем и объявим, что переносится на ту субботу, если погода позволит. Ничего не поделаешь.

— Ой, как стыдно! — взревела Лириан.

Джад мрачно кивнул.

— Делать нечего,— сказал он.— Я сам объявлю.

Тем временем миссис Уитфилд, сидевшая в заднем ряду, вышла во двор и увидела, что муж идет под дождем по газону. Они посмотрели друг на друга сочувственно и шутливо.

— Ты сегодня рано,— сказала мать.

— Я думал застать представление, но его, наверное, отменяют.

— Вот бедняга наш Джад! Он так расстроится.

— Да, позор,— сказал отец и поднял воротник.

Миссис Уитфилд думала, закусив губу.

— А почему б им не кончить в доме? — спросила она.— Зрителей можно рассадить в гостиной, а они доиграют в столовой.

— Что ж, можно, только они там все перевернут.

— Ничего! Я их позову.

Она вошла в растерянный и шумный зал в тот момент, когда ее сын встал перед занавесом и поднял руку.

— Леди и джентльмены! — сказал он с печальным достоинством.— Я знаю, что вам мешает дождь, и не буду вас задерживать. Я только хотел сказать...

И тут он застыл от ужаса. Из-за рядов послышался домашний, до ужаса неактерский голос его матери.

— Подождите минутку! — крикнула она.— У меня предложение. Я — мама Джада, если кто не знает. Идите в дом, там доиграем. Идите, идите за мной!

Она приветливо помахала Джадсону, который стал совсем белый, он не верил своим ушам.

— Веди свою труппу, Джад,— звала она.— Я там все устрою.

Он молчал, пока зрители шли за ней из театра — нет, не из театра, из жалкой лачуги, сооруженной мальчишками во дворе. Потом он обернулся туда, где ждала труппа.

— Думаю, сами слышали,— сказал он, не глядя на них. Все молча кивнули, кроме Тельмы.

— Вот здорово! — сказала она.— И отменять не надо. Джадсон поднял голову.

— Заткнись! — крикнул он, но, вспомнив, что они — уже не на сцене, сказал помягче: — Эх, Тельма, куда тебе понять!

Он посмотрел на всех: юные Гроссмены глядели сочувственно, а нежные губы Лилиан жалостливо улыбались.

— Видно, придется перетерпеть,— сказал он.— Пошли.

Столовую готовили примерно полчаса. Джадсон равнодушно глядел, как другие вешали указатель «К восточным поездам» у хлопающей кухонной двери и отодвигали к стене стол красного дерева. Миссис Уитфилд угощала зрителей печеньем и молоком и доверительно улыбалась сыну, не сомневаясь в его благодарности.

— Вроде бы все,— сказала Лилиан.

Джадсон огляделся:

— Вылитая станция, а? — горько сказал он.

— Да ну тебя,— сказала Лилиан.— В Нью-Йорке совсем без декораций играют.

— Не в декорациях дело,— сказал Джадсон.— Не в них...

— Сама знаю,— сказала Лилиан.

Трудно говорить квакающим голосом кассира, когда все видят, что ты — маленький Джад в фальшивой бороде и дедушкиной фуражке. Но говорить пришлось.

— Минуточку,— заквакал он,— не моя вина, пути размыло.

Эта реплика не была комической, но все засмеялись, и так оно шло до конца, и смех проедал ему душу. Когда вор оглядел столовую — обои, занавеси, буфет — и спросил: «Какая же это станция?» — дом чуть не обвалился. Публика веселилась вволю, особенно миссис Данлеп, которая долго и тщетно дожидалась приглашения к Уитфилдам.

В следующем антракте доктор вошел в столовую и сказал Джаду:

— Ты не можешь взять другую шапку? Больно смотреть, как ты с ней обращаешься. Бери мою.

Джад равнодушно кивнул.

— Я думал, он рассердится,— говорил мистер Уитфилд жене,— а он — хоть бы что.

Наконец все кончилось. Вор был изловлен старой девой (у которой, несмотря на кислую физиономию, оказалось золотое сердце), она дала пять тысяч долларов, и влюбленные смогли пожениться, а Джадсон сказал под занавес:

— Да, с виду — одно, а на деле-то — совсем другое.— Он швырнул отцовскую шапочку для гольфа (как долго он репетировал этот смешной жест!), и обсохшие, согревшиеся, сытые зрители разразились аплодисментами.

Джадсон повернулся к актерам.

— Спасибо вам всем,— выговорил он,— большое спасибо.— И кинулся к себе, пока они не заметили, что он плачет.

Когда мама вошла, он лежал ничком.

— Джад, что с тобой? — удивилась она.— Не пойму! Все прошло превосходно.

Он зарылся лицом в подушку.

— Ну, скажи мне, Джад,— настаивала мать.— Что случилось?

— Уйди,— сказал Джадсон и не поднял головы.

Миссис Уитфилд обиделась и вышла. На лестнице ей повстречался Альберт.

— Мощно повидать вашего сына? — спросил он. — Я — Альберт Гроссмен, двоюродный брат Сэмми и Мартина.

— Он у себя, — нетвердо сказала миссис Уитфилд. — Ему что-то плохо.

— Он говорил, чтоб я к нему зашел.

— Ну, идите. Вот его комната.

Альберт постучался и сказал:

— Это я, Альберт Гроссмен.

Джадсон быстро сел и вытер глаза.

— Входите, мистер Гроссмен, — сказал он.

Альберт вошел и присел на кровать.

— Да, — сказал он, — не повезло тебе с дождем.

— Что поделаешь! — откликнулся Джадсон, сдерживая дрожь в голосе.

— Наверное, твоя мама не поняла, что ты затеял настоящий спектакль. Она — хорошая тетка, но ей тебя не понять.

Сочувствия он вынести не смог. Горло у него перехватило, он закашлялся, потом пробурчал.

— Никогда она не поймет.

— Все они так, — сказал Альберт. — Особенно в нашем деле. Моя чуть ноги не протянула, когда меня взяли в оркестр.

— Правда? — сказал Джадсон с новой надеждой.

— Ей-богу. А потом поймут. Придет успех — и поймут. А успех у тебя будет.

— Вы правда думаете... Я попаду в театр?

— Еще как! С твоим-то талантом! И упорство у тебя есть. Думаешь, я не знаю, как тяжело было играть? Ты — настоящий актер.

— Ой, господи! — сказал Джадсон и снова закашлялся, на сей раз от радости. — Спасибо вам... спасибо, мистер Гроссмен.

— Не за что. Ладно, я пошел.

— Пока, — сказал Джадсон.

— Пока, — сказал Альберт. — На Бродвее встретимся. Джадсон лег на спину и стал смотреть в потолок: там из сияющих букв складывалось его имя.

# Трумэн Капоте

## *Дети в день рождения*

Вчера вечером шестичасовой автобус переехал мисс Боббит.

Сам не знаю, как мне рассказывать об этом: ведь что там ни говори, мисс Боббит было всего десять лет, и все же я уверен — в нашем городе ее никто не забудет.

Начать с того, что она всегда поступала необычно — с той самой минуты, когда мы впервые ее увидели, а было это около года назад. Мисс Боббит и ее мать, они приехали этим же самым шестичасовым автобусом — он прибывает из Мобила и идет дальше. В тот день было рождение моего двоюродного брата Билли Боба, и почти все ребята из нашего городка собрались у нас. Мы как раз угощались па веранде пломбиром тутти-фрутти и обливным шоколадным тортом, когда из-за Гиблого поворота с грохотом вылетел автобус. В то лето не выпало ни одного дождя; все было присыпано ржавой сушью, и, когда по дороге проходила машина, пыль иной раз висела в недвижимом воздухе по часу, а то и больше. Тетя Эл говорила — если в ближайшее время дорогу не замостят, она переедет на побережье; впрочем, она говорила это уже давным-давно.

В общем, сидели мы на веранде, и тутти-фрутти таяло у нас на тарелочках, и только нам всем подумалось — а хорошо бы сейчас произошло что-нибудь необычайное, как оно и произошло: из красной дорожной пыли возникла мисс Боббит — тоненькая девочка в нарядном подкрахмленном платье лимонного цвета; она важно выступала с таким взрослым видом: одну руку уперла в бок, на другой висел большой зонт, какие носят старые девы. За нею плелась ее мать, растрепанная, изможденная женщина с

голодной улыбкой и безмолвным взглядом, тащившая два картонных чемодана и виктролу.

Все ребята на веранде до того обомлели, что, даже когда на нас с громким жужжанием налетел осиный рой, девчонки забыли поднять обычный визг. Все их внимание было поглощено мисс Боббит и ее матерью — они как раз подошли к калитке.

— Прошу прощения, — обратилась к нам мисс Боббит. Голос у нее был шелковистый, как лента, и в то же время совсем еще детский, а дикция безупречная, словно у кинозвезды или учительницы. — Нельзя ли нам побеседовать с кемнибудь из взрослых представителей семьи?

Относилось это, конечно, к тете Эл и до некоторой степени ко мне. Но Билли Боб и остальные мальчишки, хотя всем им было не больше тринадцати, потянулись к калитке вслед за нами. Поглядеть на них, так они в жизни девчонки не видели. А такой, как мисс Боббит, — определенно. Как говорила потом тетя Эл — где это слыхано, чтобы ребенок мазался? Губы у нее были ярко-оранжевые, волосы, напоминавшие театральный парик, все в локонах, а подрисованные глаза придавали ей бывалый, всезнающий вид. И все же была в ней какая-то сухопарая величавость, в ней чувствовалась леди, и, что самое главное, она по-мужски прямо смотрела людям в глаза.

— Я — мисс Лили Джейн Боббит, мисс Боббит из Мемфиса, штат Теннесси, — торжественно изрекла она.

Мальчишки уставились себе под ноги, а девчонки на веранде, во главе с Корой Маккол, за которой в то время бегал Билли Боб, разразились пронзительным, как звуки фанфар, смехом.

— Деревенские ребяташки, — проговорила мисс Боббит с понимающей улыбкой и решительно крутанула зонтиком. — Мы с матерью, — тут стоявшая позади нее простоватая женщина отрывисто кивнула, словно подтверждая, что речь идет именно о ней, — мы с матерью сняли здесь комнаты. Не будете ли вы так любезны указать нам этот дом? Его хозяйка — некая миссис Сойер.

— Ну, конечно, — сказала тетя Эл — вон он, напротив.

Это единственный пансион у нас в городе, старый, высокий, мрачный дом, и вся крыша утыкана громоотводами — миссис Сойер до смерти боится грозы.

Зарумянившись, словно яблоко, Билли Боб вдруг сказал:

— Простите, мэм, сегодня такая жарница и вообще, так

не угодно ли отдохнуть и покушать тутти-фрутти. И тетя Эл тоже сказала:

— Да, да, милости просим.

Но мисс Боббит только качнула головой.

— От тутти-фрутти очень полнеют; но все равно, мерси вам большое. — И они стали переходить улицу и мамаша мисс Боббит поволокла чемоданы чуть ли не по пыли. Вдруг мисс Боббит повернула обратно; лицо у нее было озабоченное, золотистые, как подсолнух, глаза потемнели, она чуть скосила их, словно припоминая стих.

— У моей матери расстройство речи, так что я вынуждена говорить за нее, — торопливо сказала она и тяжело вздохнула. — Моя мать превосходная портниха; она шила дамам из лучшего общества во многих городах, больших и маленьких, включая Мемфис и Таллахасси. Вы, разумеется, обратили внимание на мое платье и пришли от него в восторг. Это работа моей матери, и каждый стежок сделан вручную. Моя мать может скопировать любой фасон, а совсем недавно она получила приз от «Журнала хозяйки дома» — двадцать пять долларов. Моя мать знает также любую вязку — крючком и на спицах — и делает всевозможные вышивки. Если вам понадобится что-нибудь сшить, обращайтесь, пожалуйста, к моей матери. Пожалуйста, рекомендуйте ее своим друзьям и родственникам. Спасибо за внимание.

И она удалилась, шурша накрахмаленным платьем.

Кора Маккол и остальные девчонки, озадаченные, настороженные, нервно дергали ленты у себя в волосах; они что-то скисли, лица у всех вытянулись.

— «Я мисс Боббит», — передразнила Кора и состроила зловнюю гримасу, — а я принцесса Елизавета, вот я кто — ха-ха-ха! — А платье-то, — сказала Кора, — самое что ни на есть муровое. И вообще, я лично выписываю все свои платья из Атланты, а еще есть у меня пара туфель из Нью-Йорка, я уж не говорю, что серебряное кольцо с бирюзой мне прислали из самого Мехико-Сити, Мексика.

Тетя Эл сказала — зря они так обошлись с приезжей, ведь она такая же девочка, как они, да к тому же нездешняя; но девчонки бесновались, как фурии, а кое-кто из мальчишек — те, что поглупей и любят водиться с девчонками, взяли их сторону и понесли такое, что тетя Эл залилась краской и сказала — она сейчас же отправит их по домам и все-все расскажет ихним папашам, чтобы взрели их хорошенько. Но исполнить свою угрозу тетя



Эл не успела, а причиной тому была мисс Боббит собственной персоной — она появилась на веранде сойеровского дома в новом и совсем уж странном одеянии.

Ребята постарше, как, скажем, Билли Боб и Причер Стар, которые упорно отмалчивались, куда девчонки явились по адресу мисс Боббит, и только мечтательно поглядывали затуманенными глазами на дом, где она скрылась, разом повскакали и пошли к садовой калитке. Кора Маккол фыркнула и презрительно выпятила губу, но мы, остальные, тоже поднялись с мест и расселись на ступеньках веранды. Мисс Боббит не обращала на нас ни малейшего внимания.

В сойеровском дворе темно от тутовых деревьев, он весь зарос шиповником и бурьяном. Иной раз после дождя шиповник пахнет так сильно, что даже у нас в доме слышно. Посреди двора стоят солнечные часы — миссис Сойер воздвигла их еще в 1912 году над могилкой бостонского бульдога по кличке Солнышко, который издох, умудрившись вылакать ведро краски. Мисс Боббит величественной походкой спустилась с веранды, держа в руках виктролу, поставила ее на солнечные часы, завела и пустила пластинку — вальс из «Графа Люксембурга».

Уже почти стемнело; наступил час летающих светлячков, когда воздух становится голубоватым, как матовое стекло, и птицы, поспешно слетаясь в стайки, рассеиваются затем в складках листвы. Перед грозой цветы и листья словно бы излучают свой собственный свет, их окраска становится ярче; так и мисс Боббит в пышной, похожей на пуховку белой юбочке и со сверкающей золотистой повязкой в волосах, казалось, вся светится в сгущающихся сумерках. Выгнув над головою руки с поникшими, словно головки лилий, кистями, она встала на пуанты и простояла так довольно долго; и тетя Эл сказала — вот молодчина какая. Потом она принялась кружиться под музыку, кружилась, кружилась, кружилась; тетя Эл даже сказала: «Ой, у меня уже все перед глазами плывет». Останавливалась она лишь для того, чтобы завести виктролу. Уже и луна скатилась за гребень горки, и отзвонили все колокольчики, сзывавшие семьи к ужину, и все ребята разошлись по домам, и стал раскрывать свои лепестки ночной ирис, а мисс Боббит все еще была там, в темноте, и кружилась без устали, словно волчок.

Потом она несколько дней не показывалась. Зато теперь к нам зачастил Причер Стар — он являлся с утра и

торчал до самого ужина. Причер — худуший, как жердь, парнишка с огромной копной ярко-рыжих волос; у него одиннадцать братьев и сестер, но даже они его боятся — нрав у него бешеный, и он знаменит на всю округу своими дикими, злобными выходками: четвертого июля он так отдубасил Олли Овертона, что того пришлось отвезти в больницу в Пенсаколу; а в другой раз он откусил у мула пол-уха, пожевал-пожевал и выплюнул. Пока Билли Боб не вымахал такой здоровенный, Причер и над ним измывался черт знает как: то набьет ему репьев за шиворот, то вотрет перцу в глаза, то изорвет тетрадку с домашним заданием. Зато сейчас они самые закадычные дружки во всем городе — и повадки у них одинаковые и разговоры; иногда они оба пропадают по целым дням — одному богу известно где. Но в те дни, когда мисс Боббит не показывалась, они все время вертелись около дома — то стреляли из рогатки по воробьям, усевшимся на телефонных столбах, то Билли Боб брэнчал на гавайской гитаре и оба они что есть мочи горланили:

«Отпиши-ка мне, милашка,  
От тебя я писем жду,  
Отпиши мне поскорее  
В бирмингемскую тюрьму».

Орали они так громко, что дядюшка Билли Боб (он у нас окружной судья) уверял — их даже в суде было слышно. Но мисс Боббит не слышала их; во всяком случае, она ни разу носа за дверь не высунула. Потом зашла к нам как-то миссис Соьер одолжить чашку сахара и много чего наболтала про своих новых постояльцев.

— А знаете, — сыпала она, прижмуривая блестящие, как у курицы, глазки, — папаша-то ихний — мошенник, да-да, девчушка мне сама говорила. Стыда у нее ни на грош. «Лучше моего папочки, говорит, на свете не сыщешь, а уж поет он слаще всех в Теннесси...». Тогда я и спрашиваю: «А где же он, кисонька?» А она мне как ни в чем не бывало: «Да он, говорит, в каторжной тюрьме, и у нас от него никаких вестей». Ну что вы на это скажете — просто кровь стыпет в жилах, а? И еще я так думаю — ее мама, думаю, пе иначе как иностранка какая: никогда слова не скажет; а другой раз сдается мне, ничегошеньки она не понимает, что ей говорят. Да потом, знаете, они все едят сырое. Сырые яйца, сырую репу, сырую морковь. А мяса в рот не берут. Девчушка говорит — это

для здоровья полезно. А вот и нет! Сама-то она с прошлого вторника пластом лежит, у ней лихорадка.

В тот же день тетя Эл, выйдя полить свои розы, обнаружила, что они все исчезли. Розы эти были особенные, она собиралась везти их в Мобил, на выставку цветов, и потому, ясное дело, тут же устроила небольшую истерику. Позвонила шерифу и говорит:

— Вот что, шериф, давайте-ка приезжайте сию же минуту. Такое дело — тут кто-то срезал все мои розы «Леди Энн», а я с ранней весны хлопотала над ними, все сердце, всю душу в них вкладывала.

Когда машина с шерифом остановилась у нашего дома, все соседи вылезли на веранды, а миссис Соьер, с белым от крема лицом, затрусилась к нам через улицу.

— Тьфу ты, пес, — пробурчала она, страшно разочарованная тем, что у нас никого не убили, — тьфу ты, да никто их не крал, эти розы. Ваш Билли Боб притащил их к нам, розы эти, и велел передать малышке Боббит.

Тетя Эл не сказала ни слова. Она подошла к персиковому дереву, срезала ветку и сделала хороший прут.

— Ну-у-у, Билли Боб, — выкрикивала она, идя по улице, — ну-у-у, Билли Боб!

Она обнаружила его у Лихача в гараже — они с Причером сидели и смотрели, как Лихач разбирает мотор. Она безо всяких подняла Билли Боба за вихры и потащила домой, что есть силы нахлестывая прутом. Но так и не заставила его просить прощения и не выжала из него слезинки. Когда тетя Эл наконец выпустила его, он убежал на задний двор, забрался на самую верхушку высоченного pekanового дерева и поклялся, что оттуда не слезет. Потом к окну подошел отец и стал громко уговаривать:

— Сынок, мы на тебя больше не сердимся, слезай, ужинать пора.

Но Билли Боб — ни в какую. Вышла тетя Эл, она припала к дереву, и голос у нее стал мягкий, как чуть затеплившийся день.

— Ну не сердись, сынок, — говорила она, — я ж не хотела так сильно тебя отхлестать. А ужин-то, сынок, я приготовила какой вкусный — картофельный салат, вареный окорок, фаршированные яйца.

Но Билли Боб твердил:

— Уходи, не надо мне твоего ужина, ненавижу тебя, ненавижу!

Тогда его отец говорит — нельзя так с матерью разгова-

ривать, и тетя Эл заплакала. Она стояла под деревом и плакала и утирала глаза подолом.

— Да я ж не со зла, сынок... Да когда я тебя не любила, разве стала бы я тебя драть...

Листья пекана зашелестели, Билли Боб медленно сполз с дерева, и тетя Эл, взъерошив ему волосы, притянула его к себе.

— Ох, мам, — приговаривал он, — ох, мам...

После ужина Билли Боб пришел ко мне в комнату и улегся у меня в ногах на кровати. От него пахло чем-то кислым и сладковатым, мальчишки всегда так пахнут, и мне стало ужасно жаль его, он был такой удрученный, даже глаза прикрыл.

— Но так ведь положено — когда люди болеют, посылать им цветы, — сказал он вполне резонно. Тут мы услышали виктролу, отдаленный ритмичный звук, и в окошко влетела ночная бабочка и закачалась в воздухе, нежная, слабая, как эта музыка. Уже стемнело, и мы не могли разглядеть, танцует ли мисс Боббит. Билли Боб, словно от боли, сложился вдвое, как складной нож, но лицо его вдруг просветлело, диковатые мальчишеские глаза замерцали, как свечки.

— До чего же она мировая, — зашептал он, — никогда таких мировецких девчонок не видел. А, на фиг все, плевать мне — да я бы в Китае и то все розы пообрывал.

Причер тоже готов был пообрывать все розы в Китае. Он совсем ошалел, как и Билли Боб. Но мисс Боббит не замечала их. Ее дальнейшее общение с нами ограничилось запиской к тете Эл — она благодарила за розы. День за днем просиживала она на веранде, раздетая в пух и прах, — вышивала, расчесывала локоны или читала словарь Вебстера; держалась со всеми официально, но вполне дружелюбно; здороваешься, и она здоровается в ответ. И все же мальчишки никак не могли набраться духу подойти к ней и завести разговор; обычно она их попросту не замечала, даже когда они носились по улице и вытворяли черт знает что, лишь бы привлечь ее внимание: боролись, играли в Тарзана, выделявали идиотские трюки на велосипедах. Невеселое это было дело.

Многие девчонки по два, по три раза в час проходили мимо сойеровского дома, чтоб хоть одним глазком взглянуть на мисс Боббит. Среди них были Кора Маккол, Мэри Мэрфи-Джонс, Дженис Аккermэн. Но мисс Боббит и к ним не проявляла ни малейшего интереса. Кора перестала

разговаривать с Билли Бобом, а Дженис с Причером. Дженис даже прислала Причеру письмо — оно было написано красными чернилами на бумаге с узорчатым обрезом, и в нем говорилось, что подлее его нет в целом свете, и у нее просто нет слов, и она разрывает их помолвку, и он может забрать обратно чучело белки, которое он ей подарил.

Причер, желая все сделать по-хорошему, так он потом объяснял, остановил Дженис, когда она в следующий раз проходила мимо нашего дома, и говорит: ладно уж, елки-палки, если она хочет, то может оставить эту самую белку себе, и совершенно не мог понять, с чего это Дженис вдруг разревелась и убежала.

Однажды мальчишки разошлись пуще обычного. Билли Боб напялил отцовскую форму, оставшуюся после войны, а Причер разгуливал без рубашки, и на груди у него старой губной помадой тети Эл была намалевана голая красotka. Выглядели они оба совершеннейшими кретинами, но мисс Боббит, полулежавшая на качелях, при виде их только зевнула.

Был полдень, на улице ни души, кроме цветной девчушки, еще по-детски пухлой и смахивающей на круглый леденец. Она брела с ведерком ежевики в руке и что-то мурлыкала себе под нос. Мальчишки тут же прилипли к ней, словно рой мошкар; взявшись за руки, они не давали ей пройти — пускай сперва заплатит пошлину.

— Да ни про какую пошлину я знать не знаю, — твердила девчушка, — какую такую вам пошлину, мистер?

— Прогулочку в амбар, — прошипел Билли Боб сквозь зубы, — веселенькую прогулочку в амбар.

Девчушка надулась и, передернув плечами, сказала: — Да ну еще, какие такие амбары.

В ответ Билли Боб опрокинул ее ведерко. С отчаянным поросячьим визгом она бросилась за рассыпанной ягодой, тщетно пытаясь ее спасти, и тут Причер Стар, а он иногда бывает гнусней самого сатаны, как наподдаст ей сзади, и она плюхнулась, словно желе, прямо в пыль, на рассыпанную ежевику. А с другой стороны улицы уже мчалась мисс Боббит, и ее указательный палец раскачивался, как метроном.

Она похлопала в ладоши, как заправская учительница, топнула, сердито сказала:

— Хорошо известный факт, что джентльмены за тем и живут на этой земле, чтобы служить защитой для дам. Неужели вы думаете, что в таких городах, как Мемфис,

Нью-Йорк, Лондон, Голливуд и Париж, мальчики держат себя подобным образом?

Мальчишки попятились, спрятали руки в карманы. Мисс Боббит помогла цветной девчужке подняться, стряхнула с нее пыль, вытерла ей глаза и, протянув свой носовой платок, велела ей высморкаться.

— Хорошее дело, — сказала она. — Красивая ситуация, чтобы дама средь бела дня у всех на виду не могла спокойно пройти по улице.

Затем обе они направились к дому миссис Сойер и сели на веранде; и потом целый год они были неразлучны, мисс Боббит и этот слоненок в юбке по имени Розальба Кэт. Сперва миссис Сойер подняла бучу — почему цветная девчонка целыми днями околачивается у нее дома? Ну, куда это годится, жаловалась она тете Эл, чтоб черномазая этак вот, у всех на виду, сидела, нахально развалясь, у нее на веранде.

Но, по-видимому, мисс Боббит обладала какими-то чарами, а уж если она за что бралась, то делала все основательно и притом всегда действовала напрямик и с такой торжественной серьезностью, что остальным ничего другого не оставалось, как подчиняться. Вот вам к примеру — сперва все торговцы у нас в городке пофыркивали, называя ее «мисс» Боббит; но мало-помалу она стала для них просто мисс Боббит, и, когда она проносилась мимо, решительно крутя зонтиком, они отвешивали ей церемонные полупоклоны. Мисс Боббит твердила всем и каждому, что Розальба — ее сестра, и сперва это вызывало немало шуточек; но постепенно к этому привыкли, как и ко всем ее выдумкам, и никто из нас больше не улыбался, слыша, как они окликают друг друга: «Сестрица Розальба!», «Сестрица Боббит!»

А между тем сестрица Розальба и сестрица Боббит проделывали довольно странные вещи. Взять хоть эту историю с собаками. Дело в том, что у нас в городке множество бездомных собак — тут и терьеры, и легавые, и овчарки. В полуденные часы они небольшими стайками сонно трусят по горячим пустынным улицам и лишь дожидаются, покуда стемнеет и взойдет луна, чтобы громко завывать; и всю ночь напролет слышится этот тоскливый вой: кто-то умирает, кто-то уже мертв. Так вот, мисс Боббит обратилась к шерифу с жалобой: стая собак облюбовала себе место у нее под окошком, а у нее очень чуткий сон; это, во-первых, но что самое главное — вот и сестрица

Розальба так считает, — это совсем не собаки, а нечистая сила. Шериф, разумеется, палец о палец не ударил, и тогда мисс Боббит взяла это дело в свои руки.

В одно прекрасное утро, после особенно беспокойной ночи, мы видим: мисс Боббит шествует по улице, рядом — Розальба с цветочной корзинкой, доверху набитой камнями. Завидев собаку, они останавливаются, и мисс Боббит внимательно ее разглядывает; иной раз мотнет головой, но куда чаще кивает: да, сестрица Розальба, это одна из них! После чего сестрица Розальба достает из корзинки камень, свирепо примеривается и — трах собаку между глаз.

А вот еще случай с мистером Гендерсоном, занимающим заднюю комнатку в пансионе миссис Сойер. Этот самый мистер Гендерсон — крошечный старичишка весьма крутого нрава; когда-то он рыл поисковые скважины в Оклахоме, а сейчас ему лет под семьдесят, и, как многие старики, он буквально помешан на отправлениях своего организма. Вдобавок он горький пьяница. Однажды он пил запоем целых две недели; и только услышит, бывало, что мисс Боббит и сестрица Розальба прохаживаются по двору, как сразу взбегает по лестнице на самый верх и оттуда орет хозяйке, что в стенах завелись карлицы и хотят утащить всю его туалетную бумагу. Вот уже на пятнадцать центов украли.

Как-то вечером, когда девочки сидели во дворе под тутовым деревом, мистер Гендерсон выскочил из дома в одной ночной рубашке и стал за ними гоняться.

— Ах так, — орет, — задумали у меня всю туалетную бумагу разворовать? Ну я вам покажу, карлицы окаянные! Эй, кто-нибудь, помогите, не то эти сучонки всю бумагу в городе разворуют, до последнего листочка!

Билли Бобу и Причеру удалось схватить Гендерсона, и они крепко держали его, покуда не подросли взрослые и не стали его вязать. Тогда мисс Боббит, которая держалась с изумительным хладнокровием, объявила мужчинам, что никто из них толком узла завязать не умеет, взялась за дело сама и сделала его на славу — у Гендерсона онемели руки и ноги, он потом целый месяц шага сделать не мог.

Вскоре после этой истории мисс Боббит нанесла нам визит.

Явилась она в воскресенье. Я был в доме один, вся семья ушла в церковь.

— В церкви такой невыносимый запах, — сказала она и, слегка подавшись вперед, чинно сложила руки на коленях. — Впрочем, мне не хотелось бы, мистер К., чтобы вы сочли меня язычницей. У меня достаточно опыта, и я знаю — бог есть и дьявол есть тоже. Но дьявола не приручишь, если ходить в церковь и слушать про то, какой он дурак и мерзкий греховодник. Нет, возлюбите дьявола, как вы возлюбили Иисуса. Потому что он могущественная личность, и если узнает, что вы ему доверились, окажет вам услугу. Мне, например, он нередко оказывает услуги — вот, как в балетной школе в Мемфисе... Я все время взывала к дьяволу, чтобы он помог мне получить самую главную роль в нашем ежегодном спектакле. И это вполне благоразумно: видите ли, я понимаю, что Иисуса танцы ни капельки не интересуют.

Да, в сущности, я взывала к дьяволу совсем недавно — только он может помочь мне выбраться из этого городишки. Я ведь не здесь живу, если говорить точно. Мыслями я все время в каком-то другом, совсем другом месте, где все так красиво и все танцуют, — знаете, как люди танцуют на улицах, и все такие славные, как дети в свой день рождения. Мой бесценный папочка говорил, что я витаю в облаках, но если б он сам почаще витал в облаках, он бы разбогател, как ему того хотелось. В том-то и беда с моим папочкой — вместо того чтобы самому возлюбить дьявола, он дал дьяволу возлюбить себя.

А я на этот счет большой молодец, я знаю: выход, который кажется нам не самым лучшим, так вот он очень часто как раз и есть самый лучший. Переезд в этот городишко — для нас не самый лучший выход, но раз уж я не могу продолжать здесь свою карьеру танцовщицы, значит, мне надо делать какой-нибудь маленький побочный бизнес. Именно этим я и занялась. Я единственный в округе агент по подписке на «Популярную механику», «Детектив на пятак», «Детскую жизнь» и другие журналы — весьма внушительный список. Право же, мистер К., я сюда не затем явилась, чтобы что-нибудь вам навязать. Но есть у меня на уме одна мысль. Я так подумала: эти два мальчика, которые вечно здесь толкутся... Меня осенило — ведь они как-никак мужчины! Как вы полагаете, смогут ли они быть хорошими помощниками в моем деле?

Билли Боб и Причер трудились для мисс Боббит не за страх, а за совесть. И для сестрицы Розальбы тоже; она



открыла торговлю каким-то косметическим снадобьем под названием «Росинка», и в их обязанности входило доставлять покупки ее клиенткам. К вечеру Билли Боб до того изматывался, что едва мог проглотить свой ужин. Тетя Эл говорила — это же ужас, на него смотреть жалко; и вот как-то раз, когда с Билли Бобом случился солнечный удар и он еле добрал до дома, она объявила — ну все, это решает дело, придется ему расстаться с мисс Боббит. Но Билли Боб стал ругать ее, на чем свет стоит, и отцу пришлось запереть его; тогда он сказал, что покончит жизнь самоубийством. Наша бывшая кухарка говорила ему, что если наестся капусты, хорошенько обмазанной черной патокой, то угодишь на тот свет — это как пить дать. Так он и сделал.

— Я умираю! — вопил он, катаясь по кровати. — Я умираю, а всем наплевать!

Пришла мисс Боббит и велела ему умолкнуть.

— Ничего страшного у тебя нет, мальчик. Боль в животе, только и всего, — сказала она. Потом все с него сорвала и с головы до ног крепко растерла спиртом. Тетя Эл, ужасно шокированная, сказала ей, что девочке это как-то не пристало, на что мисс Боббит ответила:

— Не знаю, пристало или не пристало, но, безусловно, очень освежает.

После чего тетя Эл сделала все, что было в ее силах, чтобы Билли Боб перестал работать на мисс Боббит, но его отец сказал — надо оставить мальчика в покое, пусть живет своей жизнью.

Мисс Боббит была весьма щепетильна в отношении денег. Комиссионные Билли Бобу и Причеру она выплачивала с величайшей точностью и никогда не позволяла им платить за нее в аптеке-закусочной и в кино, хотя они и порывались.

— Лучше поберегите деньги, — говорила она. — То есть, если вы собираетесь поступать в колледж. Потому что у вас у обоих не хватит мозгов, чтобы получить стипендию, хотя бы ту, какую дают футболистам.

Но именно из-за денег у Билли Боба с Причером вышла жуткая ссора. Суть, конечно, была не в деньгах; суть была в том, что они бешено ревновали друг к другу мисс Боббит. Словом, в один прекрасный день Причер ей заявил — и у него еще хватило наглости сделать это прямо в присутствии Билли Боба, — пусть она ведет свою бухгалтерию повнимательней, а то у него есть подозрение,

что Билли Боб отдает ей не все деньги, которые собирает, и это не просто подозрение. Подлая ложь! — крикнул Билли Боб. Чистым левым хуком он сбросил Примера с сойеровской веранды и прыгнул вслед за ним на грядку с настурцией. Но когда Причер его обхватил, Билли Бобу было уже не сладить с ним. Причер даже песок ему втер в глаза.

Во время всей этой катавасии миссис Сойер, свесившись из окна верхнего этажа, издавала пронзительный орлиный клекот, а сестрица Розальба в полном упоении выкрикивала: «Убей его! Убей! Убей!» Кого она имела в виду — непонятно. Одна только мисс Боббит, по-видимому, точно знала, что ей делать: она открыла шланг для поливки и, подбежав к мальчишкам вплотную, хорошенько их окатила. Слепленный, Причер с трудом поднялся на ноги, громко пыхтя.

— Ох, радость моя, — сказал он, отряхиваясь, словно мокрый пес, — радость моя, ты должна сделать выбор.

— Какой выбор? — сердито оборвала его мисс Боббит.

— Ох, радость моя, — просипел Причер, — не хочешь же ты, чтобы мы с Билли Бобом поубивали друг друга. Вот и реши, который из нас двоих в самом деле твой миленок.

— Миленок, скажите пожалуйста! — фыркнула мисс Боббит. — И как я только могла связаться с деревенскими ребятами? Ну какие из вас выйдут бизнесмены? А теперь слушай, Причер Стар: не нужно мне никакого миленка, но уж если бы я его завела, это был бы не ты. О чем говорить, ты даже не встаешь, когда в комнату входит дама.

Причер сплюнул себе под ноги и вразвалочку подошел к Билли Бобу.

— Пошли, — сказал он как ни в чем не бывало, — пошли, деревяшка она и больше никто; ей только одного надо — хороших друзей перессорить.

На какой-то момент показалось, что сейчас Билли Боб и Причер удалятся в мирном согласии; но Билли Боб, вдруг спохватившись, подался назад и замотал головой. Долгую минуту глядели они друг другу в глаза, и близость их переходила в другую, уродливую форму — ведь ненавидеть с такой силой можно только того, кого любишь. Все это было написано у Причера на лице. Но ему ничего другого не оставалось, как уйти. Да, Причер, такой ты был потерянный в этот день, что я впервые почувствовал

к тебе настоящую симпатию — такой худушый, гадкий, потерянный брел ты по улице, и до того одинокий.

Они так и не помирились, Билли Боб с Причером; и не то, чтобы им не хотелось мириться; только вот не было какого-то простого способа возобновить дружбу. Но и закончить с этой дружбой они не могли; один всегда знал, что затевает другой, а когда Причер завел себе нового дружка, Билли Боб целыми днями места себе не находил: то за одно возьмется, то за другое, и все валится у него из рук, а то вдруг выкинет какой-нибудь дикий номер — скажем, нарочно засунет палец в электрический вентилятор. По вечерам Причер иногда останавливался у нашей калитки, поболтать с тетей Эл. Он оставался со всеми нами в дружеских отношениях, видимо, только для того, чтобы помучить Билла Боба, и даже преподнес нам на рождество огромную коробку очищенного арахиса. Он и для Билли Боба оставил подарок. Оказалось, что эта книжка про Шерлока Холмса, и на первом листе нацарапано:

**ЕСЛИ ТЫ НЕВЕРНЫЙ ДРУГ,  
ДЛЯ ТЕБЯ НАЙДЕТСЯ СУК.**

— Сроду не видел такой дикой муры, — сказал Билли Боб. — Господи, вот балда!

Но потом, хотя день был холодный, он убежал на задний двор, залез на pekanовое дерево и до самого вечера просидел, скорчившись, в его по-декабрьски синеватых ветвях.

Но вообще-то он ходил счастливый — ведь у него была мисс Боббит, а теперь она стала с ним очень мила. Обе они с сестрицей Розальбой обращались с ним, как с мужчиной, то есть милостиво разрешали все для них делать. Зато они проигрывали ему в бридж, никогда не уличали его во лжи и не расхолаживали, когда он делился с ними своими заветными мечтами.

Счастливая это была пора. Но с началом школьных занятий пошла повея беды. Мисс Боббит наотрез отказалась учиться.

— Это смешно, право же, смешно, — заявила она директору школы мистеру Копленду, когда он зашел, чтобы выяснить, почему она не является на занятия. — Я умею читать и писать, и кое у кого здесь, в городе, были все основания убедиться, что я умею считать деньги. Нет, мистер Копленд, поразмыслите-ка минутку, и вы сами поймете, что ни у вас, ни у меня нет на это ни времени, ни

энергии. В конце концов, дело только в том, кто первый дрогнет духом — вы или я. Да и потом, чему вы можете меня научить? Вот если б вы что-нибудь понимали в танцах, тогда другое дело; но при данных обстоятельствах, да, мистер Копленд, при данных обстоятельствах, на мой взгляд, нам обоим лучше предать это дело забвению.

Мистер Копленд, со своей стороны, вполне готов был предать дело забвению.

Но весь город считал, что мисс Боббит следует хорошенько всыпать. Хорейс Дизли прислал в нашу местную газету статью под заголовком «Трагическая ситуация». Создается поистине трагическая ситуация, — писал он, — если какая-то девчонка может игнорировать Конституцию Соединенных Штатов, — почему-то он выразился именно так.

Статья кончалась вопросом: «Можем ли мы допустить, чтобы это сошло ей с рук?»

Но все-таки это сошло ей с рук. И сестрице Розальбе тоже. Впрочем, так как Розальба была цветная, всем было решительно наплевать, учится она или нет. А вот Билли Бобу не удалось так счастливо отделаться. Пришлось-таки ему ходить в школу. Но толку от этого было мало; он мог бы с таким же успехом сидеть дома. В первом же табеле у него красовались три плохие отметки — своего рода рекорд. Но вообще-то он парень смысленный, и я думаю, ему просто было не вмоготу столько часов подряд не видеть мисс Боббит; без нее он всегда был какой-то полусонный.

И вечно лез в драку — то придет с фонарем под глазом, то с разбитой губой, то вдруг захромает. Насчет этих драк он никогда не распространялся, но мисс Боббит была достаточно проницательна, чтобы догадаться, в чем тут дело.

— Я знаю, знаю, ты сокровище. И я тебя очень ценю, Билли Боб. Только не надо вступать из-за меня в драку. Конечно, люди болтают про меня всякие гадости. А знаешь почему? Ведь это комплимент своего рода. Потому что в глубине души они считают, что я просто замечательная.

И она была права: ведь если никто вами не восхищается, кому интересно вас ругать?

Но, по сути дела, мы и понятия не имели, какая она замечательная, пока в наших краях не объявился один тип, назвавшийся Мэнни Фоксом. Дело было в конце февраля.

Впервые мы узнали о Мэнни Фоксе из зазывных афиш, расклеенных во всех лавках города:

ПОКАЗЫВАЕТ МЭННИ ФОКС  
ТАНЕЦ ЖИВОТА — ДЕЙСТВУЕТ ЖИВОТВОРНО,

а внизу помельче:

СЕНСАЦИОННАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА —  
ВЫСТУПАЮТ ВАШИ СОСЕДИ  
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ —  
ГАРАНТИРОВАННАЯ КИНОПРОБА  
В ГОЛЛИВУДЕ

Все это должно было состояться в следующий четверг. Входная плата — один доллар; по местным масштабам — целое состояние. Но подобного рода острые развлечения у нас здесь такая редкость, что все раскошелились, и вообще вокруг этой затеи поднялась страшная кутерьма. Шалопайи, работавшие под ковбоев и целыми днями прохлаждавшиеся в аптеке-закусочной, всю неделю изощрались в похабщине, главным образом по адресу исполнительницы танца живота, которая оказалась не кем иным, как миссис Фокс.

Остановились Фоксы за городской чертой, в Чеклвудском туристском кемпинге, но весь день проводили в городе, разъезжая в старом паккарде, на всех четырех дверцах которого было выведено по трафарету полное имя Фокса. Своей штаб-квартирой они сделали бильярдную, и под вечер их всегда можно было там застать — они потягивали пиво и перебрасывались шуточками с нашими городскими лоботрясами. Как выяснилось в дальнейшем, сфера деловой активности Мэнни Фокса не ограничивалась театральными представлениями. У него была еще своего рода контора по найму: исподволь он дал понять, что за вознаграждение в сто пятьдесят долларов может обеспечить любому предприимчивому парню в округе классную работенку на грузовых судах «Юнайтед фрут», курсирующих между Нью-Орлеаном и Южной Америкой. Шанс, какой выпадает только раз в жизни, — так он выражался. У нас тут не найдется и двух ребят, которые могли бы набрать без труда хоть пять долларов, и все же человек десять умудрились наскрести нужную сумму. Ада Уиллингом отдала сыну все, что сумела скопить на мраморного ангела, которого ей хотелось поставить на могиле мужа, а отец Эйси Трампа продал свою привилегию на закупку хлопка.

Да, но что творилось в день представления! В этот день было забыто все — и закладные и тарелки в кухонной раковине.

— Можно подумать, будто мы собираемся в оперу, — сказала тетя Эл, — все так нарядились, разругались, от всех так хорошо пахнет.

Давно местная сцена не знала такого наплыва публики... Почти у каждого кто-нибудь из родных участвовал в любительской программе, так что волнений было много. Из всех выступающих мы знали только одну мисс Боббит. Билли Боб весь извертелся: он снова и снова повторял нам, чтоб мы не хлопали никому, кроме мисс Боббит, но тетя Эл сказала — это было бы очень невежливо, и тут на него опять накатило; а когда его отец купил нам всем по мешочку поджаренных кукурузных зерен, он к своему и не прикоснулся — сказал, что боится засалить руки и чтобы мы, бога ради, не шумели и не вздумали грызть кукурузу, когда на сцену выйдет мисс Боббит.

То, что она участвует в конкурсе, вообще-то было для нас полнейшим сюрпризом. Правда, этого можно было ожидать, да мы и сами могли б догадаться по некоторым признакам — хотя бы по тому, что вот уже сколько дней она носу не высывала за калитку, и по звукам виолы, игравшей до глубокой ночи, и по тени, кружившейся на шторе, и по таинственному, важному виду, который принимала сестрица Розальба всякий раз, как у нее спрашивались о здоровье сестрицы Боббит. Одним словом, имя ее значилось в программе, но, хотя оно стояло вторым, не появлялась она очень долго. Сперва вышел Мэнни Фокс, сверкая напояженной головой и шныряя глазами; он долго рассказывал анекдоты для курящих, похлопывая в ладоши и гогоча. Тетя Эл объявила — если он расскажет еще один такой анекдот, она тут же уходит. Рассказать-то он рассказал, но уйти она не ушла.

До мисс Боббит выступило одиннадцать человек, среди них Юстасия Бернштейн, изображавшая кинозвезд (так что все они смахивали на Юстасию), и совершенно бесподобный старикан, мистер Бастер Райли, лопухий деревенщина, сыгравший на пиле «Вальсирующую Матильду». Пока что номер его оставался гвоздем программы, хотя, в общем-то, публика оказывала участникам этого концерта довольно ровный прием: все хлопали щедро; все — это значит все, кроме Причера Стара. Он сидел на два ряда впереди нас и каждого, кто выходил на сцену, встречал

возмущенным громким ревом. Тетя Эл сказала — с этого дня она с ним больше не разговаривает. Аплодировал он только мисс Боббит.

Несомненно, на сей раз дьявол действовал с ней заодно, и она того заслуживала. Вихрем вылетела она на сцену, потряхивая локонами, вращая глазами, покачивая бедрами. Мы сразу поняли, что это будет номер не из ее классического репертуара. Она прошла в чечетке через сцену, изысканным жестом приподнимая на боках пышную, словно облако, голубую юбочку. Вот это лихо, сроду такого не видел, сказал Билли Боб и хлопнул себя по ляжке, и тете Эл пришлось согласиться, что мисс Боббит и вправду выглядит просто прелестно. Она закружилась по сцене, и публика разразилась аплодисментами. А она все кружилась, кружилась и только шипела: «Быстрее, быстрее!» — аккомпанировавшей ей на рояле мисс Аделаиде, хотя та, бедняга, и так старалась изо всех сил.

«Я родилась в Китае,  
Но Япония — мой дом...»

До тех пор мы ни разу не слышали, как она поет; оказалось, что голос у нее резкий, царапающий, как наждак.

«...Коль товар мой не по вкусу,  
Лучше вам забыть о нем! О-о! О-о!»

Тетя Эл даже задохнулась. Потом она задохнулась вторично — это когда мисс Боббит, бойко топнув, задрала юбочку и выставила на всеобщее обозрение голубые гипюровые штанишки, в результате чего на ее долю достались почти все одобрительные свистки, приберегавшиеся парнями для исполнительницы танца живота. (Впрочем, как мы убедились в дальнейшем, та тоже не сплеховала — под звуки популярной песенки «Яблочко для учительницы» и возгласы «гип-гип!» дама эта проделала все, что положено, в одном купальном костюме.)

Но на том, что мисс Боббит продемонстрировала свою попку, триумф ее не кончился. Под руками мисс Аделаиды зловеще загремели басы, на сцену выскочила сестрица Розальба с зажженной римской свечой и сунула ее в руки мисс Боббит, старательно делавшей шпагат; он тоже ей удался, и в тот самый момент, когда она села на пол, свеча рассыпалась каскадом красных, синих и белых шаров, и нам всем пришлось встать, потому что мисс Боббит во всю глотку запела «Полосато-звездное знамя». Тетя Эл

говорила потом — это было одно из самых пышных зрелищ, какие ей довелось видеть на американской сцене.

Словом, мисс Боббит бесспорно заслуживала кинопробы в Голливуде, а так как она вышла победительницей на конкурсе, похоже было, что дело на мази. Мэнни Фокс так и сказал ей:

— Детка, — сказал он, — вы из того самого теста, из которого делаются кинозвезды.

Но на другой день он смылся, наобещав своим подопечным с три короба. Следите за почтой, друзья мои, я всем вам дам знать. Так он сказал ребятам, у которых взял деньги, и так он сказал мисс Боббит. Письма у нас доставляются три раза в день, и каждый раз на почте собиралось порядочно народу — веселая ватага, оживление которой мало-помалу угасало.

Как тряслись у мальчишек руки всякий раз, когда в их почтовый ящик падало письмо! Но дни шли, и молчаливый ужас сковывал их все сильнее. Каждому было ясно, что думают другие, но никто не осмеливался произнести это вслух, даже мисс Боббит. Впрочем, почтмейстерша Паттерсон высказалась начистоту:

— Этот тип — мошенник, — сказала она, — я с первого дня поняла, что он мошенник, и если мне еще хоть день придется глядеть на ваши физиономии, я застрелюсь.

Наконец к исходу второй недели заклятие было снято — не кем иным, как мисс Боббит.

— Ну так, мальчишки. Теперь вступает в действие закон джунглей, — объявила она и увела всю ватагу к себе домой.

Там состоялось учредительное собрание Клуба вешателей Мэнни Фокса, каковая организация в несколько более цивилизованном виде существует и по сей день, хотя Мэнни Фокса давным-давно удалось изловить и, выражаясь фигурально, повесить. А в том, что это удалось — прямая заслуга мисс Боббит. За неделю она настрочила свыше трехсот писем с описанием примет Мэнни Фокса и разослала их всем шерифам Юга; кроме того, она написала в газеты всех более или менее крупных городов, и письма се привлекли внимание широкой публики. В результате «Юнайтед фрут компани» предложила четырем из жертв Мэнни Фокса хорошо оплачиваемую работу, а поздней весной, когда Фокс был арестован в Апхае (штат Арканзас), где он пытался проделать все тот же старый трюк, организация «Лучезарные девушки Америки» представила



мисс Боббит к медали «За доброе дело». Но по какой-то причине мисс Боббит постаралась оповестить всех и вся, что она отнюдь не в восторге.

— Мне не нравится эта организация, — заявила она. — Трубят в горн что есть мочи. Ничего веселого тут не вижу, да и как-то это неженственно. И вообще, что такое доброе дело? Не давайте себя одурачивать: всякое доброе дело делается для того, чтобы что-нибудь получить взамен.

Как отраднo было бы сообщить здесь, что она ошиблась и что другая, желанная награда, когда она наконец получила ее, была вручена ей от чистого сердца, в знак любви. Но на самом деле это было не так. С неделю назад все ребята, которых обжулил Мэнни Фокс, получили от него чеки — в возмещение понесенных убытков, и мисс Боббит весьма решительно прошествовала на заседание клуба. (Заседания эти и поныне служат кое для кого предлогом, чтобы по четвергам весь вечер играть в покер и наливаться пивом.) Мисс Боббит сразу взяла быка за рога.

— Вот что, мальчики, — сказала она, — никому из вас и во сне не снилось когда-нибудь снова увидеть эти деньги, но раз уж вы их получили, вам надо вложить их в какое-нибудь реальное дело — скажем, в меня.

Предложение ее заключалось в следующем: они сложатся и оплатят ее поездку в Голливуд; за это она обязуется пожизненно выплачивать им десять процентов от своих гонораров и, значит, когда она станет «звездой» — а этого ждать не долго, — все они будут богатыми людьми.

— Во всяком случае, по местным понятиям, — добавила она.

Никому из мальчишек не хотелось расставаться с деньгами; но когда мисс Боббит смотрит тебе в глаза, что тут скажешь?

...С понедельника сыплет летний дождик, днем — веселый, пронизанный солнцем, но по ночам — мрачный и полный звуков: стука капель по листьям, перезвона струй, бессонного топотка погони.

Билли Боб — начеку, и глаза у него сухие, но все эти дни он какой-то замороженный, и язык у него не ворочается, будто это язык колокола. Нелегкая для него штука — отъезд мисс Боббит. Потому что она была для него не только безумной любовью в тринадцать мальчишеских лет, но чем-то гораздо большим. Так чем же? Да все его странности — и то, что он удирал на pekanовое дерево, и то, что любил книги, и то, что настолько считался с людьми, что

позволял им себя обижать, — все это была она. И то, что он боязливо таил от всех, кроме нее, это тоже была она. А в темноте струилась сквозь дождь отдаленная музыка. Ведь будут такие ночи, когда мы услышим эту музыку так ясно, словно и впрямь через дорогу играет виолончель. И ранние вечера, когда вдруг смешаются тени и мисс Боббит развертывающейся лентой пройдет перед нами по лужайке. Она улыбалась Билли Бобу, брала его за руку, даже поцеловала его.

— Я же не собираюсь умирать, — говорила она. — Ты приедешь ко мне, и мы уйдем на высокую гору и заживем там все вместе: ты, и я, и сестрица Розальба.

Но Билли Боб знал — этому не бывать, и, когда сквозь тьму доносилась музыка, натягивал на свою голову подушку.

А вчера день вдруг улыбнулся странной улыбкой, и это как раз был день ее отъезда. Около полудня появилось солнце и принесло с собой ласковый запах глицинии. Снова цвели желтые розы тети Эл, и она поступила замечательно — сказала Билли Бобу, что он может их срезать и подарить мисс Боббит на прощание. До самого вечера мисс Боббит просидела у себя на веранде, и все время вокруг нее толпились люди — они заходили пожелать ей всего хорошего. Казалось, она собралась к причастию — в белом платье, в руках белый зонт. Сестрица Розальба подарила ей носовой платок, но тут же его позаимствовала — она все плакала и никак не могла остановиться. Другая девчушка принесла жареного цыпленка — на дорогу, как она объяснила; одно было плохо — она позабыла его выпотрошить. Но мать мисс Боббит сказала — что ж, это ничего: цыпленок есть цыпленок; слова знаменательные, если учесть, что это было единственное мнение, когда-либо высказанное ею.

Лишь одно омрачало всем настроение: вот уже сколько часов Причер Стар околачивался на углу — то играл в расшибалочку на тротуаре, то прятался за дерево, словно хотел остаться незамеченным. Всех это очень нервировало. Минут за двадцать до прихода автобуса он вразвалку подошел к нашему дому и встал у калитки, прислонившись к ней лбом. Билли Боб все еще срезал розы в саду: он набрал уже столько, что хватило бы на огромный костер, и их запах был плотным, как ветер. Причер смотрел на Билли Боба, пока тот не поднял головы. И покуда они глядели друг на друга, снова стал сеяться дождик, тонкий,

как водяная пыль над морем, и расцвеченный радугой. Ни слова не говоря, Причер подошел к Билли Бобу, помог ему разделить розы на два большущих букета, и они вместе вышли за калитку.

На той стороне улицы шмелями гудели разговоры, но когда мисс Боббит увидела их, двух мальчиков, чьи лица, скрытые букетами роз, были как желтые луны, она сбегала по ступенькам веранды и бросилась через дорогу, протягивая к ним руки. Мы поняли, что сейчас произойдет, и мы закричали, наш крик словно молния прорезал завесу дождя, но мисс Боббит, бежавшая к лунно-желтеющим розам, казалось, не слышала нас. Вот тогда-то шестичасовой автобус и переехал ее.

# Джеральд Керш

## *Поденщик*

— Доктор говорит, что, если я и впредь буду пить по утрам шерри, долго мне не протянуть, — сказал ветеран сцены, дрожащей рукой наполняя стакан. «Предупреждаю, это *felo de se*, самоуничтожение, самоубийство!..» Тогда я говорю ему: «Я не очень религиозный человек, сэр. Священник мне однажды сказал, что самоубийцы попадают в ад. Боюсь, что от меня дьяволу радости будет мало: во мне и так все давным-давно перегорело». Он, этот лекарь, принадлежит к числу ханжей-зануд, которые из каждой фразы ухитряются сделать разом песню и проповедь, да к тому же еще гнусавую. «Вы прожили греховную жизнь,— имеет он нахальство заявлять мне, — и теперь расплачиваетесь за нее». Ты когда-нибудь такое слышал? Я — и греховная жизнь! Скажи ты, друг Бенджамин, было у меня время грешить? Бог свидетель, я чудом нашел время зачать своих детей — и мне никогда не хватало его на то, чтобы быть отцом моим бедным дочуркам... и мужем моей бедной жене, — добавил он после некоторого размышления. — Да что тут говорить, Бенджамин, ты-то ведь знаешь, что такое театр!

Собеседник закивал головой так энергично, что его отвислые багровые щеки заколыхались:

— На горьком опыте, друг мой, на горьком опыте. А вот для тебя, как хочешь, дело обернулось не так уж плохо. Тебе даже завидуют: посиживаешь, как джентльмен, в кругу семьи, в собственном доме, ни пенни за него не должен да еще отложено на черный день, и пить-есть тебе подает прислуга; а в Лондоне, между прочим, добрая половина нашей братии перебивается с хлеба на воду.

— А кто так работал? Кто платил больше и получал меньше?! — воскликнул хозяин с актерским жестом трагического отчаяния. — Я начал свой путь с окрыленным сердцем, с душой, полной надежд, теперь же внутри меня пустота. А ведь я мог, клянусь тебе, мог стать великим! Когда я впервые отправился в город, в голове у меня пели и плясали все звезды неба, и я не чувствовал дороги у себя под ногами. Я знал, что могу спеть свою песню, могу завоевать мир сегодняшний и мир завтрашний. Наивный человек! Все мираж, поверь мне, все сон. Каждый человек живет словно на заколдованном острове в волшебном море: куда ни глянь, всюду видишь то, чего нет и никогда не было. Сейчас для меня мир — это... да ты знаешь: видел, как в жаркий день пляшет и струится летнее марево? Так вот, для меня мир состоит из пересекающихся плоскостей этого пляшущего марева, просвеченных летними молниями и перевязанных паутиной. Всего лишь радужное марево между нами и вечным мраком!..

Он вздохнул так глубоко, что и его жизнерадостный друг не удержался и тоже вздохнул.

Это вызвало живейший интерес у хозяина, который снова заговорил:

— Я вздыхаю — ты вздыхаешь тоже. Ты зевнешь — и я зевну. Однако зевну я не потому, что чувствую твою усталость, точно так же как и ты вздохнул вовсе не оттого, что знаешь мою печаль. Да, друг любезный, заразительно все, кроме разума... Ты сам видел это в театре: засмеется один — и все смеются, заплачет один — все плачут; и если какой-нибудь дурак, почуяв дым, закричит: «Пожар!» — то они, повинувшись неодолимой потребности обезьяничать, затопчут насмерть своих лучших друзей... Да, именно так: они — обезьяны! Знаешь, Бен, если бы у меня достало смелости, я бы написал комедию (фантазию, моралите — назови как хочешь), где идея была бы в том, что человек и обезьяна — родственники!

Огромный Бен Джонсон, оторвавшись от стакана, воскликнул: «Ох, не советую!» — и, поспешно меняя тему, продолжал своим гулким басом: — Давай, старина, выкладывай, что гнетет твое сердце, что за вес — не новых ли пьес? За рифму извини, это я не нарочно. Излей мне свою душу, Уил, облегчи ее!

Уильям Шекспир снова вздохнул и, раздумывая теперь над собственным вздохом, отозвался:

— Как-то один слюнявый коротышка философ сказал

мне: на Востоке говорят, будто душа человека — в его желудке. Я в это верю!

— В голове душа, в голове! — прогудел Бен Джонсон.

— Спокойно, спокойно, — устало махнул рукой Шекспир. — Налей себе еще. Душа... она повсюду. Она в кишках, в пальцах ног, в голове; она внутри и снаружи. Кто поймет эти тайны? Когда-то я ожидание добрых вестей превратил в сонеты; казалось бы, где, как не в голове, место надежды? В другой раз любовное разочарование обернулось искрометной речью; так что же, душа — в органах размножения? И опять же: сколько раз хороший кусок говядины прибавлял мне смелости и вдохновения. Так выходит, душа в животе?.. Поверь мне, Бен: полный желудок дал мне узнать блаженство рая, и я опускался на самое дно преисподней в крохотной полости больного зуба. А теперь, когда болит у меня под ложечкой, душа моя — в животе и терпит там муки ада. А ты говоришь — в голове! Можно понять, почему ты так думаешь: однажды вечером ты лег в постель с вдохновением, а проснулся с головной болью, и похоже, что так от нее и не избавился!

Бену Джонсону хотелось с ним поругаться, и, возможно, что лет на двадцать раньше он бы так и сделал. Но за прошедшие годы он научился не только любить Уильяма Шекспира, но и уважать его, хотя свои чувства к нему старался не выставлять на всеобщее обозрение. Случись этот разговор где-нибудь в таверне между Флит-стрит и Миллбэнком, Джонсон завывал бы как ветер, брызги слюны летели бы как град, а огромные красные кулачищи на столе изобразили бы гром — короче говоря, Бен Джонсон ярился бы яростью всех четырех стихий. Но здесь посторонних ушей не было, а в своих он слышал ласкающий шепот Авона, и обида его быстро улеглась: воздух был так упоителен, а шерри так сладок. А потом... в маленьком Уильяме Шекспире было что-то такое, что заставляло верить, когда он говорил, что ему недолго осталось жить на этом свете. Вот почему так беззлобно прозвучал его вопрос к Шекспиру:

— Кто же это сказал тебе, что душа помещается в желудке?

— Да коротышка один, жалкий, занудливый коротышка. А ну его к чертям! Ты скажи лучше: что мне было делать? Бог свидетель, ты за свою жизнь повидал всякого...

— Это уж точно, бог свидетель, — торжественно подтвердил Бен. — Отца у меня не было, взялся я бог весть

откуда. Таскался с копьём по Фландрии, и спасибо тебе и другим, что вытащили меня из тюрьмы, когда я уколошил моего...

— Да-да, все так! Но ты есть ты, и ты доволен собой, ты пропел свою песню. Но я другой, я Уильям Шекспир, и я умираю, еще не научившись не то что петь, а даже на-свистывать; умираю в... Прости, ты спрашивал меня о коротышке, который считает, что душа помещается в желудке, — так ты наверняка его встречал. Он частенько захаживал в «Глобус», но не столько из любви к театру, сколько ради других, куда менее достойных целей... Теперь вообрази себя на моем месте. Ты ведь знаешь, как оно бывает в театре: или ты — раб всех, или все твои рабы; в этом последнем случае ты становишься тираном, иными словами, рабом самого себя, а уж от этого рабства освободить тебя может только смерть. Все прожитые мною годы (да простит мне бог!) я прятался от самого себя, как прячется в соборе святого Павла, под сенью купола, какой-нибудь воришка или должник. И как мошенник клиент водит за нос портного, так я все время успокаивал себя: «Завтра, завтра, завтра». Бербежу позарез нужна хорошая роль — я пишу ее для него и клятвенно себе обещаю: «Как получу деньги, сразу сажусь писать для себя!» А дома ждут голодные рты, а для себя я пишу медленно, а Том, Дик и Гарри уже целую вечность сидят без роли... Денег — как не бывало. И я откладываю «Трагедию Велизария» и строчу «Тита Андроника» для Гарри, Дика и Тома. Теперь ко мне заявляются с пьесой какого-то стихоплета Кида — или как его там — и просят, чтобы я переписал ее наново, с монологами и умными репликами для другой обезьяны, вставшей на задние лапы и вообразившей о себе невесть что. «Велизария» побоку, и снова корпи, теперь уже над такой дребеденью, как «Гамлет, принц Датский».

— Я читал худшие, но... — торжественно загудел Бен Джонсон.

— Ты не только читал, но и писал худшие — клянусь богом! Хотя я и поденщик, но голову даю на отсечение — я мог стать великим. И сейчас бы смог, если бы не...

Уильям Шекспир приложил руку к животу.

— ...если бы не вместилище твоей души, — еле сдерживаясь, сказал Джонсон.

— Ну вот, после восьмого стакана шерри с сахаром у него появляется желание спорить! Не здесь, старина, и

не со мной! А насчет «вместилища души» — никуда не денешься! Я, например, ясно вижу по твоему пламенеющему лицу, в каком именно месте шипцы ада скоро начнут рвать твою плоть: в суставах, в суставах коленей и сочленениях ступней. Так что пей, пока пьется, дружище Бен, и когда дома, увидав во сне какой-нибудь мудреный пентаметр, ты проснешься от собственного крика, вспомни, как ты пытался иронизировать над своим старым другом Уилом Шекспиром, потому что в этот миг вместилищем твоей души будет сустав большого пальца твоей ноги, в который запустит зубы подагра. Пей, братец, пей — и пощади меня! Можешь смеяться сколько влезет над тем, что вместилище души — желудок; по правде говоря, я не знаю, что такое душа и где ее вместилище, но одно могу сказать точно: желудок — это сердце сцены. Мне доводилось писать да и играть в холоде и голоде, доводилось видеть, как в холоде и голоде писали и играли лучшие, чем я. Не поднимай крика, пока не дослушаешь; я видел, как ты, даже ты, выл волком, тоскуя по вину и хлебу, забыв — не сердись на меня! — обо всей своей учености, повинувшись лишь разъяренному животному, которое, если его накормить, напоить и обогреть, и есть мой дорогой друг Бен Джонсон. И мне не раз доводилось видеть зимними вечерами, как хорошие актеры забывают реплики и теряются только потому, что они не поели горячей пищи. Так что душа... не спрашивай меня, где она. Где-то между грудью и животом.

Раздираемый желанием выпить вина и страхом перед последствиями, думая только попробовать, но вместо этого опорожнив стакан, Шекспир сказал, прослезившись:

— Эх, Бен! Никогда не умел ты стать своими плоскими ступнями в башмаки своего ближнего. Попробуй представить себе, что ты — это я. Ты должен писать для Тома, Дика и Гарри, для Дика, Гарри и Тома, для Гарри, Тома и Дика. Зачем? Чтобы колесо вертелось. Теперь тебе понятно? Нежданно-негаданно ты оказываешься отцом необыкновенной семьи — и, как никогда, далеко от лучших из своих детищ... Нет слов, чтобы передать это одиночество, эту тоску по великолепным вещам, от создания которых пришлось отказаться! Так я и не кончил своего «Велизария». Зато колесо вертится! Это значит, что кто-то, и в конечном счете кто-то один, должен снабжать монологами и репликами, входами и выходами, едой и питьем всех и каждого, первых и последних, и должен лезть из кожи для



того, чтобы какой-нибудь Бербедр, гладкий и выхоленный, как кот, стонал о пращах и стрелах яростной судьбы; а мальчику, который играет Офелию, нужны деньги для его престарелой матери, а самому тебе надо прокормить несколько ртов (помоги нам всем, господи!) да еще соблюдать видимость, пускать пыль в глаза... Хочешь знать, что они ели и пили, собаки, с тех пор, как я везу на себе театр? Так знай: они ели мое мясо и пили мою кровь. А теперь...

— Если из меня несколько стаканов шерри делают спорщика, то тебя, братец Уил, делают плаксою, — торжественно перебил его Бен Джонсон. — Рассказывай-ка ты лучше о вместилище души, а не о том, что всем на Милл-бэнке известно давным-давно.

Вцепившись рукой в живот и роняя слезы, Шекспир простонал:

— В самой середине, пальца на три выше пупка, такое чувство, будто я проглотил гнездо крысят. Они растут, и с ними растет их аппетит. Я их пища, да смилуется надо мною небо!.. Так ты, наверное, слышал, как у меня получилось: только я засел всерьез за третий акт «Велизария», как король — он ведь помешан на ведьмах и тому подобных бабушкиных сказках — требует пьесу про ведьм! Пошли его к дьяволу, скажешь ты, пошли его домой, в Шотландию, вместе с его ведьмами, табаком и контр-позицией, и занимайся своим «Велизарием» — так ведь? Брат мой, я не мог: я слишком хорошо помнил холод и голод, да и в глазах актеров было что-то от голодных борзых. Опять: «Велизария» побоку, а вместо него на свет божий появляется «Макбет», жалкая, никудышная писанина. О прозе, которую я писал по заказу, я уж и не говорю...

— Проза?! — удивился Бен Джонсон. — Да разве ты писал прозу?

— За другого. Столько времени и сил убил... но заработал достаточно, чтобы из своих котят вырастить кошечек, а заодно помогать театру. Только это между нами, слышишь? Так вот, приходит ко мне однажды вечером пронирыливый коротышка, о котором я тебе говорил, брызжет слюной, и зовет меня обедать, и наполняет меня по самую макушку вкусной едой, дорогим вином и грубой лестью; до небес превозносит мое владение языком, умение строить фразу и все остальное; и не соглашусь ли я за толику, которая будет не такой уж малой, пересказать или,

вернее, развить содержание кое-каких его записей? Не соглашусь ли! Я как раз нуждался в деньгах для новой сцены. Но никто никогда не узнает, что я пережил, слушая этот пришепетывающий голос, эту отвратительную смесь адвоката и женщины, не говоря уж о том, что я испытал, приводя в удобочитаемое состояние его напыщенную философическую болтовню... Налей мне еще, Бен.

— Послушай, да ведь я его помню!.. — воскликнул Бен Джонсон.

— Да-да, он самый, — устало сказал Шекспир. — Если бы я мог прожить жизнь заново, то послал бы к дьяволу проклятое колесо — пусть вертится в преисподней, самое для него место. Хоть я и поденщик, но опуститься до того, чтобы писать труды Фрэнсиса Бэкона... Расскажи, о чем сплетничают на Миллбэнке.

# Ирвин Кобб

## *Моя*

Что касается зрительного зала, то он чаще всего был погружен в сумрак — созданный человеком дневной сумрак, который почему-то всегда кажется более густым и непроницаемым, чем ночная тьма. Маленькие ниши лож были черны, как угольные ямы. А нависший над партером полукруглый выступ бельэтажа походил на деформированную верхнюю челюсть, зубы которой вонзились в темноту. Его позолоченная лепка тускло поблескивала, словно ряд зубов, увеличивая это сходство. Внизу, в партере, и в амфитеатре — или, как там еще его называли, в «Театре Вселенной», — где было чуть светлее, спинки кресел, укрытые большим белым полотном, бугрили его ровную поверхность, напоминая ряды могил на кладбище бедняков после снежного бурана.

А в глубине зала, там, где был погребен давно отзвучавший смех, уныло сторбившись, сидел человек. Его поза наводила на мысль об одиноком привидении, которое, услышав трубный глас, слишком поторопилось восстать из могилы и опешило, обнаружив свою ошибку. Поля его шляпы почти касались переносицы. И хотя человек этот принадлежал к племени, которое слывет торгашеским, у него, как и у многих его сородичей, было тонкое одухотворенное лицо и умные, живые глаза.

Звали его Сэм Верба. Он был главным режиссером театральной компании «Кохалан энд Химен», и сейчас он смотрел, как идет репетиция новой пьесы, но ничем не выдавал своего присутствия. Казалось, по-настоящему его интересовали только движения двух старух уборщиц, которые неторопливо орудовали щетками и тряпками.

И время от времени, когда одна из них уж очень повышала голос, перекликаясь с приятельницей в противоположном углу, раздавалось его «ш-ш-ш» — точно пар вырывался из поврежденной трубы. Затем нарушительница порядка на какое-то время, измеряемое секундами, понижала голос.

Огни рампы ярко освещали сцену, и она выглядела сейчас голой и неудобной. Реквизит был свален в две беспорядочные кучи по обеим ее сторонам. А кирпичная стена в глубине сцены была вся заставлена декорациями — так что гостиная смыкалась с кухней, а кухня сразу же переходила в библиотеку, обшитую дубовыми панелями, и казалось, будто в чьем-то доме произошло землетрясение и все комнаты перемешались. На сцене находились четыре женщины и девять мужчин, одни примостились на стульях и столах, другие, как вороны, устроились на ступеньках узкой лестницы, ведущей к железному балкону, вдоль которого размещались артистические уборные. Было одиннадцать часов утра, и все актеры выглядели обиженными и недовольными — как обычно выглядят люди ночных профессий, если их поднимают с постели раньше полудня.

У самой рампы за столиком на шатких ножках сидел человек, хмуро уставясь в отпечатанную на машинке рукопись, которая была так исчеркана и испещрена пометками, стертыми резинкой и вписанными снова, так разукрашена крестами и звездами, что только один человек — автор этой шифровки — мог пользоваться изобретенным им кодом, по иногда и ему это удавалось с трудом. Человек за столиком был режиссером, приглашенным специально для постановки этой пьесы — комедийной драмы. Он поднял голову.

— Ну что ж, дети, — сказал он, — посмотрим второе действие с самого начала. Мисс Черри, миссис Морхед, выйдите вперед! Все остальные приготовьтесь и, бога ради, хоть на этот раз помните, когда ваш выход.

От одной из групп отделились и вышли на середину сцены молодая женщина и женщина средних лет. Молодая женщина, очень хорошенькая, с готовностью выполнила распоряжение. Юность второй актрисы давно миновала, но она всеми силами стремилась воссоздать ее, хотя бы в костюме. На ней была шляпа с большими полями и довольно короткое, не доходящее до лодыжек платье с пуговицами па спине, как у школьницы. Ее крашенные волосы, когда на них падал свет, блестели, как новый медный таз. У глаз

собрались маленькие морщинки. Но кожа была свежей и гладкой — одни говорят, что это бывает, когда умело пользуешься гримом, другие — когда высыпашься каждый день.

В руке она держала несколько тонких синих листков — это была ее роль в новой пьесе. Умудренная опытом, который дают только долгие годы на сцене, она на репетициях всегда читала роль, пока не заучивала ее — без особых усилий позволяя своей хорошо тренированной и послушной памяти постепенно и механически усваивать текст. У мисс Черри не было в руках листочков, они ей были не нужны. Мисс Черри сидела над своей ролью ночами и выучила ее — ведь она, бедняжка, совсем недавно вырвалась из театральной школы. Миссис Морхед зарабатывала хлеб насущный. Мисс Черри мечтала о славе.

Эти актрисы начали первую сцену второго действия, в которой, кроме них, никто не участвовал. Мисс Черри играла роль дочери в точности так, как она собиралась играть ее перед публикой: жестикулировала, варьировала интонации, прочувствованно, многозначительно вздыхала, то есть жила в образе. Миссис Морхед, напротив, как будто преследовала только одну цель — как можно скорее закончить репетицию. И вот при таком контрастном исполнении они подошли к следующей драматической сцене.

— Но, мама, — воскликнула мисс Черри и застыла в тщательно продуманной позе девичьей растерянности, — что же мне делать?

Миссис Морхед, покосившись на синие листочки с ролью, сказала:

— Дитя мое, положишься на волю судьбы.

Она произнесла это тоном безразличного к еде человека, заказывающего себе на завтрак поджаренный хлеб и чай. Последовала пауза.

— Дитя мое, — повторила миссис Морхед, нетерпеливо оглянувшись и продолжала тем же бесцветным голосом, — положишься на волю судьбы.

— Да ну же, — рявкнул человек за столиком после этой реплики «положишься на волю судьбы»... — Входите, Маквей! Входите! Где Маквей? — раздраженно крикнул он.

Нервный худой мужчина торопливо вышел на сцену.

— А, вот вы! Начинайте же, Маквей. Вы заставляете всех ждать. Ведь я же предупредил вас, что сегодня вы будете читать роль дедушки!

— Нет, сэр, вы меня не предупредили, — немного обиженно ответил Маквей.

— Во всяком случае, я собирался это сделать, — сказал режиссер.

— Но на этой репетиции я читаю роль мисс Гиффорд, — продолжал Маквей, который был помощником режиссера. — Мисс Гиффорд должна сегодня заняться костюмом.

— Ну так читайте за них обоих, — приказал специально приглашенный режиссер. — Ведь во втором акте они на сцене одновременно не появляются. Как-нибудь постарайтесь. А теперь повторим последний кусок.

Трепещущим голосом и с надлежащими жестами в надлежащих местах мисс Черри повторила свою реплику. Без всякого выражения и без всяких жестов миссис Морхед повторила свою. Маквей, держа в одной руке роль отсутствующей мисс Гиффорд, а в другой — неведомого дедушки, растерянно описал круг в глубине сцены, потом устремился к рампе и встал между мисс Черри и миссис Морхед.

— Нет, нет, ни в коем случае, — закричал режиссер, — так не выходите! Вы собьете этих дам. Выходите из-за спинки синего кресла, Мак, там дверь. Это же комната. Отсюда вы не можете появиться, иначе опрокините всю мебель. Вам это понятно? Еще раз — со слов «положись на волю судьбы».

Репетиция шла своим чередом — два шага вперед, шаг назад, и снова два шага вперед. Те, кто впервые получили роль, безрассудно расточали свою энергию, но ветераны берегли себя, зная, что настанет момент, когда им придется отдать все силы, какие у них есть, — все без остатка.

Из двери кассы в зал вошел молодой человек и остановился в его чернильно-черной пустоте, где гуляли сквозняки. Попав в эту мрачную пещеру после солнечного спета, молодой человек словно ослеп. Он мигал и шурился, пока наконец не разглядел сгорбленную фигуру Вербы в середине зачехленного ряда. Он ощупью пробрался по центральному проходу и опустился в кресло рядом с пребывавшим в глубоком раздумье режиссером. Вновь пришедший был Оффут — автор пьесы. Ему еще не было тридцати, и он был в приподнятом настроении, как и подобает автору, которому еще нет тридцати и пьесу которого взял солидный театр.

— Ну, как дела? — спросил он.

— Из рук вон, — ответил Верба, продолжая смотреть прямо перед собой. — К вашему сведению, у нас все еще нет дедушки.

— Да, но вы же пригласили Грейнджера, — воскликнул драматург, — я думал, что вы обо всем договорились вчера вечером.

— С этим пресыщенным сквалыгой? После того как он нам долго и нудно толковал, на каких условиях он согласится взять роль, если она ему понравится и он понравится нам в этой роли, и после того как кончил торговаться из-за жалованья и спорить, где именно следует печатать в афише его фамилию, ваш друг Грейнджер наконец иссяк, выдохся. Но когда он услышал, что после премьеры в Рочестере мы едем в Чикаго, вдруг он уперся. Сказал, что вся его публика здесь, в Нью-Йорке, и он полагал, что после премьеры мы сразу же придем сюда и не будем без толку колесить по дорогам. Сказал, что согласится уехать из Нью-Йорка в начале сезона, только если будет получать по крайней мере на семьдесят пять долларов больше. Сказал, что, уж скорее, он вернется в варьете. И что один театр, где нужно выступать два раза в день, сделал ему очень выгодное предложение. Тут уж я сказал Грейнджеру, что я о нем думаю, и он удалился. Его публика! Вы слышали что-нибудь подобное? Всю его публику можно посадить ему в шляпу, и еще останется место для головы. И в результате, мой друг, до генеральной репетиции остается десять дней, а на роль вашего дедушки никого нет. Действительно, никого нет, даже на примете.

— О, мы кого-нибудь найдем, — оптимистично воскликнул Оффут. Молодые драматурги, как правило, полны оптимизма.

— Ах так? Кого же, например?

— Это уж ваша забота, — заметил Оффут. — Я тут ни при чем.

— Смотрите, молодой человек, как бы вам вообще не остаться ни при чем, — угрюмо проворчал Верба.

— Но в самом деле, — продолжал Оффут, — наверняка есть незанятые актеры, которые смогли бы сыграть эту роль. Ведь тысячи актеров, ждущих ангажемента...

— Послушайте, Оффут, какой смысл снова все это обсуждать? — прервал его Верба, но по тону его чувствовалось, что он отнюдь не против обсудить все это снова. — Начнем с того, что неверно, будто тысячи актеров ждут ангажемента. Таких актеров всего несколько, а те тысячи,

о которых вы говорите, только думают, что способны играть. Я могу назвать вам всего лишь трех человек, которые справились бы с ролью дедушки, или четырех, если бы так настаиваете на Грейнджере и рассчитываете на него.

Он начал перечислять, загибая длинные, тонкие пальцы:

— Вэбертон, Пелл и старый Гейб Клейтон. Вэбертон совсем увяз в фильмах. Чертово кино! Они переманивают к себе всех, кто хоть чего-нибудь стоит. Мне самому вчера компания Зиглела предложила пойти к ним режиссером. Их письмо и сейчас лежит у меня на столе. Старик Гейб проходит курс лечения в санатории, а это значит, что какое-то время он не будет пить, но зато не сможет играть ни у нас, ни у кого другого. А Гай Пелл подписал контракт с братьями Фрактер, и вы сами понимаете, что они не разрешат ему сыграть у нас и самой крохотной роли. Вот и получается, что нет никого, кроме Грейнджера, который так раздулся от спеси, что с ним просто невозможно иметь дело. И к тому же он слишком молод. Как я и сказал вам вчера, к нему я обратился только за неимением никого другого. Я не хочу, чтобы эту роль играл молодой человек — неестественно дребезжащий голос и изуродованное накладными бакенбардами лицо... Я хочу, чтобы это был старик, который и выглядит как старик, и говорит как старик, и играет тоже как старик.

Дедушка у нас должен быть превосходным, иначе все пойдет насмарку. Я понимаю, молодой человек, эту пьесу написали вы, но за распределение ролей отвечаю я, и я хочу настоящего, неподдельного дедушку. «Да только, — добавил он, цитируя популярный бродвейский анекдот, — да только нет такого зверя».

— Я все-таки считаю, Верба, — перебил его Оффут, — что вы переоцениваете значение дедушки, он всего лишь второстепенное действующее лицо.

— Друг мой, — сказал Верба, — вы рассуждаете как автор. Возможно, он и казался вам второстепенным действующим лицом, когда вы писали пьесу, но на самом деле это не так. Спектакль будет держаться на нем. Он — та ось, на которой вращается все действие, и если он сфальшивит, то вся вещь будет выглядеть фальшивой. Если он провалится, то и ва а пьеса провалится.

— Пусть так, — обиженно произнес Оффут. — Но разве я виноват в том, что мой герой получился таким живым



и таким непосредственным, что никто, никто не может его сыграть?

Верба искоса взглянул на Оффута и сардонически усмехнулся.

— Не спрашивайте, чья это вина, — сказал он. — Я знаю одно: раньше актеры были действительно актерами. — Верба, которому было не больше сорока четырех, произнес это таким тоном, словно лично знал Эдмунда Кина. — Тогда воспитывали настоящих актеров, разносторонне одаренных, не замкнутых в узких ампула. Человек находил хорошую пьесу, нанимал труппу, и они ее играли. Теперь у нас нет больше актеров — есть только типажи. Каждый актер — типаж. Актер или актриса, как выберут себе типаж, так и не выходят за его рамки. Драматурги пишут роли, рассчитанные на определенный типаж, а директора театров нанимают соответствующих актеров, а если не находят нужный типаж, то тогда еще одна дорогостоящая постановка тихо и на вечные времена сходит со сцены. Я не знаю, чья это вина, я только знаю, что не моя. Это какая-то чертовщина, сущее проклятье.

Верба погрузился в безысходное уныние. Он мрачно смотрел прямо перед собой, туда, где чья-то широкая спина в синей сарже одиноко возвышалась над зачехленными креслами следующего ряда.

— Бейтмен! — воскликнул Верба. — Старый ворон Бейтмен!

С соседнего ряда вскочила уборщица и повернулась к ним, негодуя вздернув нос и прижав кулаки к бедрам (если только это можно было назвать бедрами).

— Как вы ска-за-ли? — осведомилась она с надменной вежливостью. — Вы назвали меня старой вороной?

— Успокойтесь, сударыня, — ответил Верба, — я говорил не о вас.

— Тогда почему вы смотрели на меня? Может, вы и наняли эту шайку бездельников, но мне на это плевать. И к тому же, молодой человек, я не позволю, чтобы всякие черномазые протестанты еврейчики обзывали меня...

— Да замолчите вы, — спокойно отмахнулся от нее Верба и встал. — Идемте, Оффут. Дама решила, что я с ней заигрываю, и мы все трое мешаем репетиции. Пойдемте! У меня есть идея. — В полутьме зала его глаза горели, как у кошки.

На улице, когда они ступили на раскаленный тротуар, Верба повернулся к Оффуту и взял его за лацкан пиджака.

— Мой милый юноша, — сказал он ему, — вы когда-нибудь слышали о Бертоне Бейтмене, более известном как Старый Берт или Старый ворон?

Оффут покачал головой.

— Нет, никогда, — признался он.

— И в самом деле, вы слишком молоды, чтобы его помнить, — согласился Верба. — Ну а о труппе Скаддера вы что-нибудь слышали?

— Да, конечно, — ответил Оффут. — Правда, это было очень давно.

— Нам всем кажется, что это было очень давно, — сказал Верба. — В нашем деле десять лет — это все равно что целое столетие. А двадцать пять лет назад Берт Бейтмен играл все главные роли в труппе Скаддера — все без исключения. Играл первых любовников, и друзей дома, и похищенных наследников, и немцев, и ирландцев, и негров, играл в водевилях и в классических комедиях — играл все, что нужно было играть. Это был не ваш современный однозначный стандартный типаж и не напыщенный декламатор старых времен. Это был настоящий актер. Если бы он пришел на сцену немного позднее, из него сделали бы «звезду» и, возможно, погубили бы его. И тогда бы вы его помнили! Но он никогда не был «звездой». Никогда не был даже знаменитостью. Он был просто настоящим актером. И если бы вы знали, с каким блеском он играл стариков!

— Вы говорите о нем так, будто его уже нет в живых, — заметил Оффут.

— Его забыли, а это равносильно смерти, — ответил Верба, и его слова неожиданно прозвучали как бродвейская эпитафия всему бродвейскому племени. — Я не видел его пятнадцать лет, но, насколько мне известно, он еще жив — в том смысле, что он еще не отдал богу душу. Кто-то мне говорил не так давно, что его видели в южной части города. Понимаете, Берт Бейтмен был совершенно исключительным явлением, так же как, впрочем, и Нейт Скаддер. Наверное, поэтому они и работали вместе так долго. Когда театры один за другим стали перебираться на север, поближе к Бродвею, Нейт не захотел никуда переезжать. Сначала театры переместились с Четырнадцатой улицы на Двадцать третью, потом оттуда на Тридцать четвертую, а оттуда на Сорок вторую — все севернее и севернее. Но Скаддер остался на прежнем месте. И это разорило его и убило. Скаддер умер, труппа его распалась, остался только Бейтмен. Он никуда не ушел. Наследники Скаддера

поссорились, и права на его имущество — вернее, на то, что еще осталось от него, — до сих пор оспариваются тяжущимися сторонами.

Верба оглянулся и махнул длинной рукой проезжающему такси. Шофер резко свернул к тротуару.

— Едем! — приказал Верба, устремляясь к машине.

— Куда? — не понял Оффут.

— На Университетскую площадь, вы и я, — торопливо ответил Верба, целиком захваченный новой идеей. — Мы едем в южную часть города, к театру Скаддера. Вы ведь знаете, что когда-то был такой театр — театр Скаддера? Что-то от него должно было остаться — вот туда мы и едем. Едем, чтобы разыскать старого Берта Бейтмена. По последним сведениям, именно там его и видели. И если он окончательно не спился, он сыграет вашего проклятого дедушку.

— А он сможет?

Верба резко обернулся к Оффуту.

— Сможет ли он? Друг мой, вы увидите его — и вам все станет ясно. Стоит только его увидеть. Очень удачная мысль — выкопать старика из могилы. Вы никогда не слышали о нем, и я его забыл, но сколько есть еще старых театралов, которые убеждены, что со времен Фанни Давенпорт и Билли Флоренса актеры разучились играть, и они его вспомнят. И, уж конечно, придут посмотреть на него. Это будет настоящая сенсация — как раз то, что любит Нью-Йорк, — настоящая сенсация.

Очень давно, когда Оффут еще был начинающим нью-йоркским репортером, он неплохо знал каждую пядь длинной каменной косы, которая зовется Манхэттен. Теперь, став писателем и драматургом, он заглядывал в эту часть города — в Гринвич-Вилидж, на Вашингтон-сквер или на улочки Ист-сайда — только в поисках колоритных деталей. Что касается Вербы, то он находил колоритные детали готовыми в банках с красками театрального декоратора и в коробочках с гримом. Будучи типичным нью-йоркцем, если только возможно представить себе такой тип, он был так крепко привязан к определенному, с четкими границами району города и так провинциален, как может быть провинциален только житель Нью-Йорка. Для Вербы Нью-Йорк не был городом-метрополией, в котором пять округов, огромное количество мостов и население в пять с половиной миллионов. Для него Нью-Йорк был отрезком улицы, не длиннее двух миль, с короткими ответвлениями,

отходящими от нее под прямым углом, — на восток и запад, как ребра отходят от позвоночника. Если бы ему пришлось рисовать карту Нью-Йорка, то она, наверное, походила бы на скелет трески, голова которой устремлена в направлении Гарлема, а развилка хвоста — на далекий Паттерн. Поэтому для Вербы Двадцать третья улица была далеким Югом. А все, что находилось южнее этой улицы, лежало уже где-то в Антарктиде.

Они пересекли Двадцать третью улицу и оказались в чужом, незнакомом районе, где старые здания с вместительными чердаками, оставшиеся от небольших промышленных предприятий прежних лет, впрочем, не таких уж далеких, возвышались над скромными крышами еще более старых домов. Они проехали Четырнадцатую улицу, такси продвигалось в густой толпе мужчин, говоривших между собой на каком-то странном диалекте; было время обеденного перерыва, и рабочие швейных и меховых мастерских, на час высыпав на улицу, заполняли тротуары, растекались по мостовой, чтобы обменяться новостями, поболтать, подышать свежим воздухом. Сразу же за Четырнадцатой улицей машина повернула на восток и выехала на Университетскую площадь, которая имела богатое прошлое, но и сегодня жила деятельной жизнью, и через минуту шофер остановил такси перед домом, который назвал ему Верба.

— Взгляните-ка, — предложил Верба, выйдя из машины и расплатившись с шофером. — Вы теперь убедились, что это на другом конце света? И как только никто не додумался открыть тут кинотеатр! Ведь в этом городе для кино годится любой сарай, который вместит экран, проекционный аппарат и зрителей.

Оффут смотрел и удивлялся, что до сих пор никогда не замечал этого здания, хотя несомненно не раз проходил мимо в поисках материала — когда был репортером и позже. Оно стояло в середине квартала. Слева располагалась лавка закладчика, в единственной грязной витрине которой виднелись какие-то странные предметы, существующие, казалось, только для того, чтобы их можно было заложить, — трости с вкладной шпагой, мандолины с перламутровой инкрустацией и агатовые с прожилками запонки. Справа был магазинчик, торговавший чемоданами, которые загромождали узкий дверной проем, а объявления, развешанные повсюду, уведомляли почтенную публику, что хозяин удаляется от дел и потому распродает оставшийся товар по неслыханно низким ценам, с огромным убытком

для себя. По-видимому, все владельцы магазинов, торгующих чемоданами, постоянно удаляются от дел и вынуждены продавать свой товар за бесценок.

Между двумя этими заведениями зиял темный подъезд, обрамленный двумя пузатыми колоннами, увенчанными громоздким фронтоном, старательно выдающим себя за коринфский. Над ним крыша круто поднималась вверх. Проход между колоннами перегораживали решетчатые ворота, открывающиеся внутрь и запертые цепью, больше всего они походили на железный намордник, который в елизаветинские времена надевали на сварливых жен.

Верхняя часть здания точно сурово сдвигала брови, нижняя — напоминала физиономию толстяка. Человек, изучающий архитектурные преступления, обязательно остановился бы перед этим фасадом и взял бы его на заметку.

Пространство за погнутыми, расшатанными воротами бережно хранило пыль многих лет. Ее серые сугробы покоились на каждой из пяти ступенек, ведущих к выложенной плитами площадке; толстый слой копоти покрывал двустворчатые запертые двери, о первоначальном цвете которых можно было только догадываться. Обрывки афиш, клочки газет и программok облепили основания колонн, точно опавшие листья стволы деревьев в лесу.

На фризе некогда позолоченными буквами было написано: «Семейный театр Скаддера», но теперь эта надпись была еле различима. И везде, где только можно, были расклеены газеты и афишные листки.

Верба тряс ворота, пока не заскрипели засовы и не зазвенели цепи.

— Никого нет, — сказал он. — Наверное, когда начался судебный процесс, шериф запер дом, а ключи выбросил. Ну что ж, давайте искать. Кто-нибудь его все-таки знает; мне говорили, что Бейтмен был тут местной достопримечательностью. И любой полицейский, вероятно, сможет помочь нам — только я ни одного не вижу. Может быть, на этой улице полицейских вообще не бывает?

Он обвел взглядом обе стороны улицы в тот и другой конец, а потом показал на трактир, расположенный на углу ближайшего перекрестка.

— Если сам не знаешь, — сказал он, — спроси того, кто всех знает. Давайте перейдем улицу и потолкуем с буфетчиком.

Молодой человек, с лукавым изломом бровей и темны-

ми, аккуратно зачесанными назад волнистыми волосами, одернул довольно чистую белую куртку и, упершись обеими ладонями в стойку, выжидающе поглядел на вошедших.

— Глубокоуважаемый виночерпий, — начал Верба, прибегая к церемонному обращению, модному в ночных клубах. — Мы ищем старика по фамилии Бейтмен. Бертон Бейтмеи, бывший актер. Вы случайно о нем не слышали?

— Конечно, — ответил буфетчик. — Он у нас постоянно бывает. Это Старый Берт. Но сейчас его здесь нет. Вам бы прийти часом раньше.

— Он, наверно, живет где-нибудь поблизости?

— А кто его знает! — ответил буфетчик. — Думаю, что он вообще нигде не живет — то есть не снимает комнату или там угол, понимаете? Я его не спрашивал — он не любит говорить о себе, но думаю, он ночует в каком-нибудь сарае. А здесь он главным образом заправляется — за счет заведения.

— Как вы сказали, что он здесь делает? — не понял Верба.

— Заправляется, то есть обедает. Ясно? — Молодой человек указал большим пальцем на бесплатные закуски.

— Он ест здесь?

— А то как же. Хозяин наш из местных старожилов. Я слышал, как он говорил, что знал Берта еще в те времена, когда старый театр на той стороне улицы был открыт и дела у Берта шли лучше, чем теперь. И теперь хозяин нет-нет да и угостит его стаканчиком вина. Старый Берт ни за что не возьмет деньги, но от вина не отказывается, и хозяин разрешает, чтобы он брал бесплатные закуски сколько захочет. Он приплетается сюда два раза в день и набивает брюхо задарма. Только сегодня он уже побывал у нас и ушел — около часу назад. Теперь снова явится часа в четыре или в пять, не раньше.

Верба почувствовал, что кто-то дергает его за пальто. Очень маленький и невероятно оборванный мальчишка, зажав под мышкой мятую пачку утренних газет, молча проскользнул у Вербы между ног и теперь поглядывал на него одним глазом. Мальчик мог смотреть только одним глазом — вместо другого была узкая щелка в запавшей глазнице.

— Мистер, послушайте, мистер! — настойчиво повторял уличный мальчишка. — Дайте мне пять центов, и я...

— Эй, Мигун! — крикнул буфетчик, перегибаясь через стойку. — А ну, вон отсюда!

Послышалось торопливое шлепанье босых ног по кафельному полу, и крохотное оборванное существо исчезло за вращающейся дверью.

— Вы можете посидеть здесь и дождаться его, — предложил буфетчик. Хотя, по всей вероятности, вам придется ждать довольно долго. А то я могу сказать Старому Берту, когда он придет, что его спрашивали, и попытаюсь задержать его до вашего прихода. Я мог бы даже позвонить вам, если у вас к нему важное дело и если вы оставите мне номер телефона.

— Да, дело довольно важное. Я думаю, мы так и решим, Оффут. Оставьте номер вашего телефона.

Оффут положил на стойку деньги и визитную карточку. Молодой человек быстро взглянул на имя и на адрес.

— Хорошо, — сказал он, положив монету в карман и засунув карточку за зеркало, позади себя. — Я не забуду. Не так уж много людей хотят видеть Старого Берта. По правде говоря, я вообще не могу припомнить, чтобы кто-нибудь спрашивал его. Господа его друзья? Нет? Ну хорошо, во всяком случае, я обязательно скажу ему.

— Забавный старикан, — продолжал он, — сдастся мне, у него здесь не все дома. — И буфетчик постучал себя по лбу. — И еще у него бывают заскоки, его вдруг заносит. Например, приходит сюда и начинает рассказывать мне, что с ним произошло в гостиной Людовика, хотя, может, я и не так расслышал. А единственный Людовик, которого я тут знаю, — это старьевщик на Девятой улице. И ясное дело, что у Людовика нет никакой гостиной. А то вдруг скажет, что целый день провел на пляже. Вот только вчера он заливал мне про это.

— Ну а разве не мог он ненадолго съездить на Кони-Айленд? — с надеждой в голосе спросил Верба.

— На Кони-Айленд — он? — усмехнулся буфетчик. — Где он возьмет деньги, чтобы туда ехать? Можете поверить мне, господа, Старый Берт давно забыл даже, как выглядят морские волны. Бьюсь об заклад, он последние десять лет дальше, чем на четверть мили, от нашего трактира не отходил... Всего хорошего, господа.

— У меня такое впечатление, — сказал Оффут, когда они вышли на улицу, — что мы только зря теряем время. Если то, что сейчас говорил этот юный и словоохотливый служитель Вакха, правда, то мы...

— Что-то ткнулось в его колени и отлетело к Вербе. Снизу на них испытующе и жадно глядел светлый единственный глаз.

— Мистер, а мистер, послушайте, — упрашивал голос, обладатель которого ухитрялся вертеться под ногами у Вербы и Оффута одновременно. — Я слышал, о чем вы там говорили. Я знаю, где Старый Берт. Я могу показать вам, где он.

— А где он? — строго спросил Верба.

— Дайте мне пять центов, нет, десять центов, и вперед. Это большой секрет. Он стоит десяти центов.

— Ты прав, — серьезно согласился Верба, — он, конечно, стоит десяти центов, и, если ты не соврал, малыш, я дам тебе еще двадцать пять.

Верба протянул мальчишке аванс в десять центов, и ручонка, костлявая, как птичья лапа, мгновенно схватила монету.

Мигун старательно упрятал деньги в какой-то тайник в своих невообразимых лохмотьях. Так он предотвратил попытку отобрать у него полученный аванс, если переговоры вдруг сорвутся. Но у него был свой кодекс чести.

— Это тайна, понимаете? И никто, кроме меня и еще двух-трех ребят, не знает этого. Вы должны поклясться, что не скажете ему и вообще никому, что это я вас привел. Если вы расскажете, вы мне все испортите, потому что он разозлится. Понятно? В холодные ночи он пускает нас, ребят, спать с ним. А днем мы играем для него зрителей. Ясно?

— Кого-кого вы играете? — переспросил Оффут.

— Пойдемте, я покажу вам, — решительно сказал Мигун. — Только чтоб вас было не видно и не слышно, пока не кончится.

— Ладно, — пообещал Верба.

Мигун удовлетворился этим и поманил за собой. Заинтригованные его поведением, они послушно двинулись за ним. Он пересек Университетскую площадь, прошел мимо театра Скаддера (вверху — нависшая каменная лобная кость, внизу — широкая пасть в железном наморднике, которые надевали на сварливых женщин) и свернул за угол в темный грязный переулок.

За маленькой пивной, укрывшейся под брезентовым навесом, мальчик проворно юркнул в дыру в старом покосившемся деревянном заборе. Верба и Оффут протиснулись вслед за ним и оказались в небольшом, огороженном



дворике, вымощенном растрескавшимися плитами. Прямо перед ними была короткая железная лестница, ведущая к широким старинным дверям, которые когда-то были наглухо забиты досками.

— Один из входов в театр Скаддера, — сказал Верба. — Я думаю, здесь обычно ждали кареты. А мрак все сгущается, не правда ли, Оффут?

Оффут кивнул, не отрывая глаз от маленького проводника. Это приключение захватило их обоих, они чувствовали себя участниками тайного заговора.

— Тут стоять нечего, — скомандовал Мигун. — Идите за мной, но только не шумите. — Он поднялся по железной лестнице и толкнул неплотно притворенную, истыканную гвоздями дверь. — Осторожней спускайтесь, — посоветовал он, исчезая за дверью. — Здесь немного темновато.

Здесь было действительно темновато. Ничего не видя, спотыкаясь, они брели по темному коридору, а Мигун молча шел впереди. Они повернули налево, затем направо и вдруг оказались в аванложе бенуара покинутого театра.

— Ну и дела! — прошептал Верба с такой робостью и благоговением, словно оказался вдруг рядом с покойником. — Я не был здесь двадцать с лишним лет. Собственно говоря, последний раз я был здесь еще ребенком.

Он как будто и в самом деле стоял рядом с покойником. Театр казался мертвым, он и был мертвым. Воздух был тяжелый, как в склепе, — пахло гнилью, ржавчиной и пылью. Пахло заплесневелой кожей и проржавевшим металлом, источенным червями деревом и изъеденной молью материей — это был запах запустения и заброшенности, который неизбежно возникает в любом помещении с четырьмя стенами и крышей, если в течение долгого времени не впускать туда ни солнце, ни ветер, ни человека.

Оффут потянул носом и из-за плеча Вербы огляделся по сторонам.

Он мог довольно хорошо рассмотреть то, что его окружало, потому что шторы, которые раньше закрывали окна в шатровой крыше, расползлись от старости и превратились в кружево с многочисленными дырами и прорехами, а кое-где и вообще были сорваны.

Сквозь грязь, покрывавшую оконные стекла, все же просачивалось немного света, и бледные, голубоватые, как снятое молоко, лучи косо падали на ряды кресел из выц-

ветшего красного плюша, на затейливые украшения арки просцениума, на грязный, в подтеках занавес, на порванные и покрытые плесенью портьеры в ложах, на громадную газовую люстру, спускавшуюся со сводчатого потолка; она низко нависла над партером и была так плотно затянута паутиной, что казалась огромным раскачивающимся серым коконом.

Над их головами ярусы балконов изгибались широким полукругом к противоположной стороне зала, и каждый из трех ярусов поддерживали множество пухлых колонн. Под балконами был непроницаемый мрак, и казалось, что зал здесь простирается в бесконечность. А задние ряды партера темнота превратила в огромный зияющий рот, изнемогший от собственной пустоты. Но впереди косые лучи света, полные мириадом пылинок, вырывали из темноты сцену старого театра, оркестровую яму, кирпичные стены справа и слева, замызганные портьеры в ложах, на сценах, верхней и нижней.

Оффут чувствовал, что совсем рядом с ним ползали какие-то пауки, у самых его ног прошмыгнула большая серая крыса, с мерзким шорохом волоча по полу свой тяжелый хвост. Он слышал, как другие крысы пищат и что-то грызут за панелями обшивки позади него. Он видел, что буквально все здесь покрыто коростой грязи. И у него возникло ощущение, что он вторгся в древний могильный склеп. В какой-то степени так оно и было.

— То еще местечко, правда, мистер? — гордо заметил маленький оборванец, и, хотя он сказал шепотом, Оффут вздрогнул. — Стойте тут оба, — приказал им мальчик. — Через минуту что-то увидите.

Наверно, он уловил какой-то сигнал, который они, двое взрослых, незванно вторгшиеся сюда, не заметили. Оставив их, мальчик быстро побежал по боковому проходу, уженисколько не заботясь о том, поднимает он шум или нет, он даже радостно выкрикивал что-то. Потом Мигун швырнул свои газеты на пол и забрался в кресло в одном из первых рядов партера. Он забарабанил по болтающейся спинке кресла, стоявшего впереди него, и, засунув два грязных пальца в рот, испустил тот пронзительный свист, каким галерка, с тех пор как она появилась и во все последующие времена, нетерпеливо требовала поскорее начать представление.

И, словно подчиняясь этому свисту, старый размалеванный занавес вздрогнул и закачался. Мертвец пробуждался

к жизни. С печальным скрипом занавес поднимался все выше и выше, пока совсем не исчез из виду.

Сцена казалась небольшой, так как задник был опущен почти у самого просцениума. Когда-то этот задник изображал морской пляж, на который накатывались синие волны. И хотя он сильно вылинял и был теперь весь в пятнах, подтеках и дырах, рисунок все еще хорошо сохранился, потому что художник, расписывавший этот занавес, явно руководствовался принципом, согласно которому песок всегда ярко-желтый, а волны всегда ярко-синие.

Из-за дальних кулис появился человек. Он вышел на узкую сцену и остановился у рампы, у жестяного желоба, из которого, словно зубья садовых грабель, торчали стержни газовых рожков. Верба схватил Оффута за локоть, потянул его назад, в глубину ложи, и очень тихо прошептал ему в самое ухо:

— Не может быть! — Верба почти выдохнул эти слова. — «Назад, вернись назад, о время, в своем...»<sup>1</sup>. Посмотрите туда, Оффут! Это он!

Верба мог и не говорить этого, Оффуту достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что на сцене стоит тот самый человек, которого они искали. Уличный мальчишка, в одиночестве сидящий в партере, захлопал своими костлявыми лапками — хлопки получились слабые, еле слышные. Но человек у рампы низко поклонился в ответ, так, словно это была восторженная овация. И в косом луче тусклого дневного света, пронзившем полумрак театра, Оффут разглядел, что человек, стоящий на сцене, очень стар. У него было львиное лицо, густые брови и большие, глубоко посаженные серые глаза, великолепную массивную голову увенчивала копна густых белых волос. Он был одет, как одевались франты шестьдесят лет назад, и манера держаться тоже была шестидесятилетней давности.

Луч солнечного света, будто тусклый сабельный клинок, безжалостно разрубив тьму, падал прямо на него, подчеркивая землистую бледность лица, на котором не было никакого грима, и освещал все прорехи его ветхого костюма, и башмаки, помнившие лучшие времена, и фрак с длинными фалдами и высокими плечами, и грязную, неопределенного цвета рубашку под некогда шегольским бархатным жилетом.

<sup>1</sup> Строка из стихотворения американской поэтессы Элизабет Экерс (1832—1911).

Одной рукой он изящно держал за поля фетровую шляпу с плоской тульей, а другой легко играл тоненькой черной тростью, на которой еще сохранились обрывки шелковой кисточки. И все на нем, за исключением башмаков и рубашки, которые он, очевидно, носил каждый день, казалось, вот-вот расплзется и рассыплется от ветхости.

— Уважаемые дамы и господа, — произнес он, и его сильный, звучный голос заполнил пустое здание театра, — с вашего позволения я начну сегодняшний спектакль с имитации старшего Сотерна в его знаменитой роли лорда Дандрери. Я покажу вам, как он появляется в одной из сцен прославленной великолепной комедии Тома Тейлора, эсквайра, «Наш американский кузен».

И с этими словами, сразу войдя в роль, он сделал два легких, изящных шажка в сторону. Повернувшись к воображаемому партнеру и обращаясь к этому несуществующему собеседнику, он начал произносить длинный монолог, слагавшийся из разных реплик. Но он четко разделял эти реплики, хорошо чувствовал свою роль, и игра его была безукоризненной. Более того, те, кто подглядывал за ним, теперь прекрасно представляли себе (хотя по возрасту ни тот, ни другой не могли видеть, не могли запомнить) того великого актера, чью игру имитировал сейчас старый Бейтмен.

И, замороженные этой магией, Верба и Оффут совершенно забыли, что они здесь непрошенные гости. Перед их глазами чудесно воскресал давно мертвый художник, и оба они вполне могли поклясться, что все это — манера растягивать слова и шепелявить, немного неестественная походка, мимика, жесты, наклон головы, даже вскидывание бровей — было правдиво и достоверно, как отражение в зеркале.

Сколько времени они стояли и смотрели, ни Верба, ни Оффут впоследствии не могли точно вспомнить. Может быть, это было четыре минуты, может быть, шесть, а может, восемь. Когда позднее они попытались определить, сколько же времени длился этот странный монолог, их мнения так разошлись, что они не сумели определить его протяженность даже примерно.

Но оба они были глубоко убеждены, что в этой сцене старый Бейтмен блистательно преодолел все трудности, связанные с его возрастом, его внешностью, костюмом и всем тем, что его окружало. Он сделал невозможное: в одну минуту он сбросил десятки лет, как сбрасывают ста-

рую одежду, и в ту же минуту, раз этого требовала имитация, юношеская сила и бодрость потоком влилась в его старческие жилы.

Бейтмен закончил монолог с лукавой усмешкой в голосе и эффектно взмахнул тростью. Он низко поклонился, прижав шляпу к груди, и через секунду после его исчезновения ветхий занавес начал опускаться, а Мигун тем временем аплодировал изо всех своих слабеньких сил.

Оффут взглянул на своего спутника. Худое, смуглое лицо Вербы нервно подергивалось в полутьме ложи.

— Так это он? И он может играть? Я не ошибся? — спрашивал себя Верба и на каждый вопрос отвечал с коротким утвердительным кивком: — Да, это находка!

— Не находка, Верба, а, скорее уж, воскресение из мертвых, — прошептал Оффут. — Мы видели гения в его могиле.

— И мы выкопаем его оттуда! — Верба почти выкрикнул это. — Пойдите! Подождите еще! — просил Верба, хотя Оффут и не собирался уходить. — Насколько я понимаю, программа будет весьма разнообразна. Пусть он покажет еще что-нибудь. Черт возьми, ему есть что показать.

Занавес снова поднялся, словно сам собой, на этот раз задник с пляжем тоже был поднят, и они увидели декорацию для совсем другой сцены — комнату во французском доме. Справа стояло бюро, потрескавшееся и поцарапанное, слева, уравновешивая композицию, — книжный шкаф с отломанными дверцами и зияющими пустотой полками. На авансцене стояло кресло. Его обивка прогнила, и из сиденья торчала пружина, точно тоненькая змея, поднявшая голову с мягкого ложа. Все три вещи были в одном стиле — «кого-то из Людовигов», как бы сказал Верба.

И стол, который стоял у кресла, рядом с кулисами, покрытый выцветшей скатертью, почти достававшей до пола, был того же стиля. Декорации в глубине сцены изображали балкон с открытой стеклянной дверью посередине. За окном покачивался еще один задник, грязный и выцветший, как и все вокруг; на нем смутно вырисовывались пестрые крыши и вдали — Триумфальная арка. Краски почти стерлись, но впечатление перспективы, свидетельствующее о мастерстве художника, осталось.

Бейтмен снова появился из-за тех же кулис, что и раньше. Брюки и башмаки на нем были те же, но теперь поверх рубашки были выброшены жалкие остатки того, что некогда было синим мундиром с большими эполетами

на плечах и золотой тесьмой по воротнику и на обшлагах и медными пуговицами, наглухо застегивающими двубортный мундир. Теперь, правда, мундир не застегивался, так как многие пуговицы были оторваны, а золотые галуны давно стали просто черными тряпичными жгутами.

Бейтмен шел медленно, с трудом волоча ноги, его голова и руки тряслись, как у паралитика. Тяжело опускаясь в полуразвалившееся кресло, он напряженно смотрел в окно.

Едва Бейтмен появился на сцене, сразу стало ясно, что он играет очень дряхлого, очень немощного старика, которого преклонный возраст и болезни вот-вот сведут в могилу, но его игра заставила увидеть не только телесную слабость, но и властность старика, его внутреннее благородство и огромную волю. Бейтмен в изнеможении откинул голову на спинку кресла.

— «Дитя мое, — сказал он, обращаясь к кому-то, кто должен был стоять перед ним. — Я должен приветствовать наших доблестных, победоносных воинов. Вот погляди! Я оделся, чтобы достойно встретить их».

В его голосе ясно слышалось старческое дрожание. Он подождал немного, будто выслушивая кого-то. А когда снова заговорил, по его интонации можно было понять, что воображаемый собеседник возражал ему.

— «Нет, нет! — сказал он гневно. — Ты не должна удерживать меня».

Эти слова воскресили в памяти Вербы давно забытое.

— Вспомнил! — воскликнул он шепотом. — «Осада Берлина», одного француза — как его? — Доде!

— Я помню этот рассказ, — сказал Оффут.

— А я помню инсценировку, — ответил Верба. — Кто-то — я уже забыл, кто именно, — переделал его в одноактную пьесу, и Скаддер ставил ее в своем театре перед главным спектаклем. Я видел ее, Оффут, вы можете это представить? Сидел вон там, на той верхотуре, — мне было не больше лет, чем мальчишке внизу, в партере, — сидел и смотрел. И теперь я опять вижу эту пьесу, вижу Берта Бейтмена в роли старого паралитика — это старый французский офицер, которого врач и внучка уверили, что Франция выиграла войну с Германией, хотя на самом деле все...

— Шш, — остановил его Оффут.

Бейтмен сделал еще одну маленькую паузу и продолжал монолог.

— «Послушайте! Послушайте! — кричал он, поднося к уху дрожащую ладонь. — Разве вы не слышите, как вдали трубят трубы победоносной Франции? Наши войска взяли Берлин. Слава всевышнему! Весь Париж ликует. Я должен приветствовать их с балкона».

С величайшим усилием он встал на ноги, выпрямил сгорбленные плечи, поднял склоненную набок голову. Пальцы его безуспешно возились с пуговицами и петлями, сиюсь застегнуть мундир у ворота. Он властно отстранил протянутые к нему невидимые руки.

— «Трубы трубят! Трубы трубят! Послушайте! Они все ближе и ближе. Они трубят, прославляя победу Франции, ее героической армии. Я пойду! Что бы там ни говорил доктор, сегодня я должен приветствовать нашу славную, победоносную армию. Отойди, дитя мое!»

Оффут, стоя в пятидесяти шагах от сцены, поймал себя на том, что старается услышать звуки трубы. По его ноге пробежала крыса, но Оффут даже не заметил этого.

— «Они идут! Идут!» — ликовал Бейтмен. Он с трудом дотащился до балкона, поднялся на две ступеньки и вытянулся в дверях, готовясь приветствовать трехцветный флаг. Но он не забыл встать так, чтобы зрительному залу было видно его лицо.

Он улыбнулся, и двое соглядатаев, не отрывавших глаз от его профиля, увидели в этой улыбке радость и торжество. И вдруг в одно мгновение выражение его лица резко изменилось. Сначала недоумение и изумление, невозможность поверить в то, что видишь собственными глазами, потом полное оцепенение, потом потрясенность ужасным открытием, потом неистовая ярость.

Оффут помнил рассказ, который переделали в пьесу, Верба помнил пьесу, но если бы они и не знали сюжета, то сама игра Бейтмена подсказала бы им развязку, и даже не имея они никакого представления о предшествующих событиях, они все-таки поняли бы, что немощный старик, собравшийся приветствовать доблестную французскую армию, увидел под Триумфальной аркой колонны немецких завоевателей и расслышал за ревом труб не «Марсельезу», а мелодию тевтонского марша. Его спина буквально взъерошилась от ненависти. И когда он повернулся лицом в зал, это был смертельно раненный человек. Он поднял над головой крепко сжатые кулаки.

— «К оружию! — еле слышно вскричал он, и в горле его уже слышалось клочотание. — Пруссаки! Прусс...».

Задыхаясь, он с трудом спустился со ступенек, сделал, пошатываясь, несколько шагов и упал навзничь. Тело его в предсмертных судорогах покатило к столу, задрапированному скатертью. Через десять секунд занавес начал раскручиваться и опускаться; Оффут с удивлением услышал свой голос, повторяющий машинально:

— Но ведь он же умер, умер!

— Он поставил стол так, чтобы незаметно проползти за ним за кулисы и не ослаблять впечатления! — объяснил Верба. — Можете быть уверены, он знает все приемы своего ремесла. — Верба взял Оффута под руку. — Пойдемте. И вы и я видели уже достаточно. Предложим ему роль.

Он пошарил рукой по стене.

— Где-то здесь должен быть боковой проход на сцену. А вот он! Нам повезло.

Вытянув вперед руки, Верба ощупью пробирался по проходу, за ним, спотыкаясь, шел Оффут. Продвигаясь таким образом, они скоро уперлись в железную дверь. Верба отодвинул щеколду, и они очутились в душевной комнате, заваленной разным театральным реквизитом. Испуганные тараканы кинулись в щели. Маленькая деревянная дверь слева от них была приоткрыта, и за ней они увидели артистическую уборную, половину которой занимала постель из старых драпировок, а на крюках, вбитых в стены, висели потрепанные театральные костюмы.

— Наверное, там он спит, — сказал Верба. — Ну и апартаменты!

Он стал искать платок, чтобы вытереть пыльные руки, и тут оба они увидели, что им навстречу из глубины сцены идет Бейтмен. На его плечи была наброшена тяжелая мантия из рваной мешковины, а на лицо он наклеил длинную седую бороду. Бейтмен сердито взглянул на них. И тут Оффут вдруг понял, что означает взгляд этих широко раскрытых серых глаз.

Верба протянул руку и хотел было что-то сказать, но Бейтмен опередил его.

— Что вам здесь нужно? — строго спросил он. — Посторонним во время спектакля вход на сцену запрещен. И как только швейцар пропустил вас? Он слишком давно здесь работает, этот привратник, и стал плохо выполнять свои обязанности. Я требую, чтобы его уволили.

— Но, мистер Бейтмен. — Верба был несколько озадачен, и все же решительность не покидала его. — Я сам режиссер. Я бы хотел...



— Дайте мне пройти, — приказал Бейтмен. — Очевидно, вы стали режиссером совсем недавно, молодой человек, иначе не остановили бы актера, которого ждет публика. Посторонитесь, милостивый государь!

Он величественно прошествовал мимо них, взялся за веревки старого занавеса, висевшие у кулис, и с силой, которую трудно было от него ожидать, потянул вниз. Занавес поднялся, и Мигун, все еще сидевший в том же кресле, встретил старика восторженным воплем, а он, наклонившись вперед, прошел на середину французской гостиной, простер вперед дрожащую руку и звучно произнес:

«Дуй, ветер! Дуй, пока не лопнут щеки!»

— Сцена сумасшествия из «Короля Лира», — сказал Оффут.

— Да, это Шекспир, — ответил Верба. — Старик Скаддер был просто помешан на его пьесах. И Бейтмен тоже. Он знал все пьесы от корки до корки. Отелло, Гамлет, Лир — весь набор. Ну вот, Оффут, я и нашел того единственного человека, который мог бы сыграть дедушку в вашей пьесе, не так ли?

— Мне очень жаль, Верба, но вы ошибаетесь, — возразил Оффут.

— То есть, как это — я ошибаюсь? — рассердился Верба. С его губ уже готовы были сорваться слова возражения, но глаза его неотрывно следили за Бейтменом, шагавшим взад-вперед по сцене, а его уши с упоением впитывали звуки сильного и красивого голоса Старого Берта, читавшего Шекспира. — Он не так уж стар, если вас смущает это, ровно настолько, насколько нам нужно. И он справится, хотя он и стар. Разве вы не видели, как он поднял этот тяжелый занавес?

— Мне кажется, я знаю, откуда у него эта сила, — тихо проговорил Оффут. — Интересно, Верба, вы когда-нибудь слышали про мою?

— Он выступал в варьете? — спросил Верба, все еще не сводя глаз с Бейтмена. — Жонглер или что-то вроде. Оффут даже не улыбнулся.

— Моя — это птица, — сказал он.

— А, понимаю. Я ведь назвал Бейтмена старым вороном, — сказал Верба.

— Нет, вы меня совсем не поняли, — продолжал Оффут. — Была такая птица — моя. Она встречалась все реже и реже, и уже решили, что она вообще исчезла. За

ней снарядили целую экспедицию в Новую Зеландию, где она водилась, чтобы привезти хоть один экземпляр для музеев, но экспедиция вернулась ни с чем. И теперь моа числится среди вымерших пород.

— Черт возьми, куда вы гнете? — перебил Верба, обернувшись к нему.

— Послушайте его! — предложил драматург. — Старик сам скажет вам об этом лучше меня. — Оффут показал па сцену, и, вытянув шею, они стали слушать глубокий голос, читавший монолог:

«Не смейся надо мной, я — старый дурень.  
Восьмидесяти с лишним лет. Боюсь,  
Я не совсем в своем уме».

Верба понял. После короткой паузы он мрачно кивнул, соглашаясь с Оффутом.

— Очевидно, вы правы, — разочарованно произнес он. — Наверное, я бы это и сам заметил, по меня захватила его игра. Когда я вижу настоящую игру — а это случается не так уж часто, — я забываю обо всем па свете.

Он поколебался с минуту-другую. И принял решение.

— Что ж, идемте. Оставаться здесь дольше нет никакого смысла. Я дам Мигуну его двадцать пять центов, он их более чем заслужил, а потом мы вернемся к себе, и я позвоню Грейнджеру, скажу, что согласен дать ему на семьдесят пять долларов больше.

— Да, но как же он? — И Оффут махнул рукой в направлении сцены. — Мы должны что-нибудь сделать.

Теперь настала очередь Вербы. Он знал, что такое сцена, знал ее людей и ее законы — так, как Оффут никогда не мог бы их узнать. Верба сам был актером до того, как стал главным режиссером у Кохалана и Химена.

— Как же он? — повторил Верба, словно удивляясь такому вопросу. — Да никак! Каждый заброшенный дом, Оффут, имеет право на свое привидение. Вот такой дом, и вот привидение... там, на сцене. Вы упомянули о вымерших породах, не так ли? Что же, вы были совершенно правы, молодой человек, и перед тем, как уйти, взгляните еще раз на последнего представителя великой породы. Я думаю, таких, как он, больше нет.

— Но вы не можете оставить его здесь, в таком месте, — сказал Оффут. — Он помешался, вы сами это видите. Ведь есть больницы и приюты для таких людей. Мы сделаем доброе дело, забрав его отсюда.

— Доброе дело? Это будет самая зверская жестокость, какую только можно себе представить, — резко перебил его Верба. — И как вы думаете, долго он проживет в сумасшедшем доме, если мы насильно вырвем его отсюда? Неделю? Уверяю вас, и неделя была бы чудом. Нет, дорогой друг, мы оставим его здесь. И будем держать язык за зубами. Пошли!

Верба на цыпочках подошел к железной двери и тихонько открыл ее. И, уже держась за щеколду, остановился.

Бейтмен заканчивал монолог. Он произнес последние безумные слова безумного короля и удалился за кулисы. Он размотал веревку, и занавес с шумом опустился. Но и сквозь этот шум было слышно, как настойчиво аплодирует своими худенькими лапками Мигун.

Гордо улыбаясь, старый Бейтмен прислушивался к этим звукам. Он забыл о гостях, которые стояли за его спиной. Он стоял и ожидал. Мигун упорно аплодировал — оп тоже прекрасно знал свою роль. Потом, все еще улыбаясь, Бейтмен оторвал приклеенную бороду и, вытянув вперед костлявую руку, резко отдернул опущенный занавес и еще раз предстал перед зрительным залом.

Подкравшись к занавесу и отодвинув край, Верба и Оффут увидели, как Бейтмен низко поклонился партеру, где сидел Мигун, пустым ломам и зияющей пустоте балконов. И они поняли, что для Бейтмена не было этого душного склепа, в котором погребены никому не нужные воспоминания, забытые традиции и давно прошедшие дни, склепа, где бегают крысы и кишат тараканы, где нет никого, кроме одноглазого уличного мальчишки. Для него это было место настоящего торжества и подлинного триумфа. И когда Бейтмен заговорил, они поняли, что он обращается не к единственному зрителю, а к восторженно ревущей толпе поклонников.

— Уважаемые дамы и господа, — начала он, гордый своим успехом. — Благодарю вас за рукоплескания, которыми вы наградили меня. Для артиста... для артиста, которому дорого его искусство... такие минуты — самое незабываемое в жизни...

— Идемте, Оффут! — прошептал Верба хрипло. — Оставьте старика с его публикой.

# Ринг Ларднер

## *Один день в обществе Конрада Грина*

Когда Конрад Грин проснулся, он почувствовал, что на душе у него тяжело. В первый момент он не мог сообразить, отчего бы это, но потом вспомнил: умер Герман Планта. Герман Планта, его личный секретарь и доверенный еще с той далекой поры, когда он, Конрад Грин, только становился продюсером; нет, больше чем секретарь — его опора и защита, его почитатель, телохранитель, иногда лакей, а также неизменная мишень его грубых шуток и громоотвод его дурных настроений — всего за сорок пять долларов в неделю.

Герман Планта мертв, а этот Льюис, которого рекомендовал ему Эзра Пиблс, коллега-антрепренер, впечатление вчера произвел не очень хорошее. Намеков он не понимает, ему надо все говорить напрямик, а выслушав, он смотрит на тебя, как на болвана. И с ходу потребовал шестьдесят долларов в неделю. Похоже, что Пиблс, который, Грин знал это, ненавидит его почти так же, как он ненавидит Пиблса, снова подложил ему под видом услуги свинью.

Уже одиннадцатый час, а Грину все еще хочется спать. Он со своей молодой женой ушел от Брайант-Уокеров около трех часов ночи. Миссис Грин (в прошлом — Марджори Мэннинг из танцевальной группы «Стройные ножки») поехала домой, на Лонг-Айленд, он же остался ночевать в отеле «Амбассадор», в постоянно закрепленном за ним номере люкс.

Марджори хотела уйти гораздо раньше: ценой немалых усилий она добилась того, что аристократические хозяин и хозяйка и большинство гостей почти совершенно

ее игнорировали. За вечер она несколько раз ставила мужа в известность о том, что ее тошнит от такого-рассякого сборища этаких-разэтаких, и, по ней, так провались они все в преисподнюю! Но Грина увлекла помешанная на актерах хорошенькая Джойс Брейнард (муж ее — известный спортсмен, мировая «звезда» поло), и до самого ухода Брейнардов он с успехом противоборствовал назойливости жены.

Да, еще немного сна не помешало бы, но он вспомнил прошедший вечер, и настроение поднялось. Миссис Брейнард, возбужденная знакомством с известным театральным деятелем и несколькими бокалами виски с содовой, была с ним почти нежна. Она сказала, что зайдет как-нибудь к нему в контору поговорить о возможности сценической карьеры для нее — карьеры, которая, как оба они хорошо знали, совершенно исключается до тех пор, пока жив Брейнард. Но самое приятное — это что мистер и миссис Грин будут названы в газетах среди присутствовавших на ужине у Брайант-Уокеров, рядом с Вандербеками, Саттопами и Шуйлерами, и теперь Пиблс и другие пролазы из театрального бизнеса все подохнут от зависти. Сейчас он позвонит, чтобы принесли газеты, и поищет там свое имя. Или нет — уже поздно, ему надо быть у себя в конторе. Бог знает что там творится с делами без Германа Планта. Кстати, не забыть бы: сегодня после полудня его похороны.

Он принял ванну, позвонил, чтобы принесли завтрак, вызвал своего постоянного парикмахера, оделся в симфонии серого и пурпурного цветов и пешком отправился на Бродвей, сделал вид, что не слышит восторженно-благоговейных возгласов встретившихся ему двух фиф и вестчерстерского агента по продаже недвижимости: «Вон идет Конрад Грин!»

Грин прошел в свой роскошно и экзотически обставленный кабинет, стены которого украшали дорогие пейзажи и написанный Зулоагой портрет его жены. Он снял свою двадцатипятидолларовую велюровую шляпу и с удовольствием посмотрелся в большое зеркало, сел за стол и, нажав кнопку звонка, вызвал к себе мисс Джексон.

— Все утренние газеты, — распорядился он, — и пусть придет Льюис.

— За газетами мне придется послать на улицу, — сказала мисс Джексон, усталая женщина лет сорока пяти — пятидесяти.

— Почему же на улицу? Разве мы не договорились уже с мальчишкой, что каждое утро он нам будет их приносить?

— Договорились, но мальчик сказал, что больше не может их приносить — сначала мы должны заплатить за прежние.

— Сколько мы должны?

— Шестьдесят пять долларов.

— Шестьдесят пять долларов? Да он с ума сошел! Разве вы не платили ему каждую неделю?

— Нет. Вы говорили, чтобы я не платила.

— Ничего я вам не говорил! Шестьдесят пять долларов! Да это настоящий грабег!

— По-моему, нет, мистер Грин, — сказала мисс Джексон. — Он показал мне тетрадь, где все записано. Уже тридцать с лишним недель он носит нам газеты, а мы, как вам известно, ни разу еще ему не платили.

— А ну его к дьяволу! Все газеты, с тех пор как они стали выходить, не стоят шестидесяти пяти долларов! Пусть подаст на нас в суд! А сейчас пошлите за газетами на улицу, да побыстрей. С сегодняшнего дня мы будем каждое утро брать их на углу и платить за них. Скажите Льюису, пусть принесет почту.

Мисс Джексон вышла, и через минуту вошел новый секретарь. Ему было под тридцать, и по виду его скорее можно было принять за школьного учителя, нежели за адъютанта при генерале театрального бизнеса.

— Доброе утро, мистер Грин, — сказал он.

Его приветствие шеф оставил без ответа.

— Что-нибудь в почте есть? — спросил он.

— Ничего особенно важного. На большую часть писем я уже ответил. Вот кое-что из бюро газетных вырезок и письмо от ювелира из Филадельфии с требованием срочно заплатить долг.

— А его вы зачем распечатали? — взорвался Грин. — Не видели разве, что написано «лично»?

— Слушайте, мистер Грин, — спокойно сказал Льюис, — мне говорили, что у вас есть привычка оскорблять своих служащих. Хочу предупредить вас, что к такого рода обращению я не привык и привыкать не намерен. Я буду работать у вас, если вы будете вести себя со мной прилично, в противном случае я уйду.

— Не понимаю, о чем вы говорите, Льюис. Я вовсе не хотел обидеть вас — просто у меня такая манера раз-

говаривать. Забудем это, и я постараюсь больше не давать вам поводов для обиды.

— Хорошо, мистер Грин. Вы сказали, чтобы я распечатывал всю вашу корреспонденцию, кроме писем с той маленькой маркой...

— Я помню. Давайте посмотрим вырезки.

Льюис положил их на стол.

— Я выбросил около десяти одинаковых — о том, что на следующий сезон вы подписали контракт с Бонни Блю. Вот одна, где говорится о вашем возможном партнерстве с Сэмом Стайном.

— До чего же надо обнаглеть, чтобы заявить такое! Чтобы я связался с мошенником вроде Стайна? Пиблс говорит, что этот Стайн стоит мальчиков Джеймсов — правда, надо сказать, и сам Пиблс не лучше. А вот эта длинная о чем?

— О том молодом композиторе, Каспере Эттельсоне. Подписана Димсом Тейлором из «Уорлда». Там только упоминание о вас, в самом низу.

— Прочитайте, если не трудно. Я в последнее время здорово переутомил глаза.

Об этом недавнем переутомлении глаз покойный Герман Плант услышал впервые двадцать лет назад. А когда речь заходила о словах длиной свыше двух слогов, переутомление превращалось в почти полную слепоту.

— «До сих пор, — начал читать Льюис, — Эттельсону не попадалось в руки либретто, достойное его причудливой, брызжущей фантазией музыки. Каким подарком была бы для нас партитура Эттельсона на либретто Барри в постановке Конрада Грина!»

— Кто такой Барри? — спросил Грин.

— Очевидно, Джеймс М. Барри, — ответил Льюис, — тот, который написал «Питера Пэтта».

— А я думал, «Питера Пэпа» написал какой-то парень в Англии, — сказал Грин.

— Насколько я понимаю, живет он именно там. Родился он в Шотландии, а где он сейчас, я не знаю.

— Узнайте, может, он в Нью-Йорке, и если да, то свяжитесь с ним. Может, сделает пару сцен для нашего следующего шоу. Входите, мисс Джексон. О, наконец-то газеты!

Мисс Джексон отдала их ему и вышла. Грин открыл «Геральд трибюн» па странице светской хроники — расстройство зрения было не таким сильным, чтобы поме-

шать ему найти ее, и свое имя он прочитал бы всегда — лишь бы его напечатали.

Приему у Брайант-Уокеров было посвящено три абзаца, из которых два занимал список гостей. Мистера и миссис Конрад Грин в списке не было.

— ...! — прокомментировал Грин и принялся лихорадочно листать остальные газеты.

Просмотр «Уорлда» и «Таймса» дал те же страшные результаты, а другие газеты вообще не упоминали о приеме.

— ...! — повторил Грин. — Они мне за это ответят!

Он стал что-то торопливо писать, а потом резко повернулся к Льюису.

— Вот! Возьмите эту телеграмму и отправьте ее главным редакторам всех утренних газет — адреса и имена на столе Планта. Значит, так: «СПРОСИТЕ СВОЕГО РЕДАКТОРА СВЕТСКОЙ ХРОНИКИ ПОЧЕМУ МОЕГО ИМЕНИ НЕТ СПИСКЕ ГОСТЕЙ ПРИЕМЕ БРАЙАНТ УОКЕРОВ СРЕДУ ВЕЧЕРОМ ТЧК МНЕ БЕЗРАЗЛИЧНО ЗПТ РЕКЛАМЕ НЕ НУЖДАЮСЬ ЗПТ НО ПОХОЖЕ ЗАГОВОР ТЧК КАК ДОБРЫЙ ДРУГ ВАШЕЙ ГАЗЕТЫ И ПОСТОЯННО ДАВАЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕШИЛ ДОЛЖЕН СООБЩИТЬ ВАМ ТЧК». Пожалуй, хватит.

— Если вы разрешите мне высказать свое мнение, — сказал Льюис, — мне кажется, такая телеграмма вызовет только смех.

— Отправляйте, я не потерплю, чтобы какие-то репортершкки ставили меня в дурацкое положение!

— Не думаю, что виноваты репортеры — их там, наверно, даже и не было. Список гостей дают обычно сами хозяева.

— Но тогда... — Грин умолк и задумался. — Ладно, не отправляйте телеграмму. Но если Брайант-Уокеры меня стыдятся, какого дьявола они меня приглашали? У меня не было никакого желания идти к ним, а у них нет предо мной никаких обязательств. Я бы ни за что на свете...

Как будто дожидавшийся этого, телефон зазвонил, и телефонистка Кейт сообщила, что на проводе секретарь Брайант-Уокеров.

— Я говорю от имени миссис Брайант-Уокер, — произнес женский голос. — Она председатель комитета по устройству благотворительного базара, цель которого — содействовать эмансипации женщин. Базар должен открыться третьего числа следующего месяца и завершиться



вечером пятого числа каким-нибудь водевильным представлением. Она просит вас...

Грин выругался и бросил трубку.

— Вот им мой ответ! — сказал он. — Хапуги проклятые!

Снова вошла мисс Джексон.

— Вас хочет видеть мистер Роберт Блэйр.

— Это еще что за птица?

— Да вы его знаете — в прошлом году он предлагал что-то для одного из наших шоу.

— А-а, вспомнил. Да, кстати: вы послали цветы в дом Планта?

— Да, — ответила мисс Джексон, — чудные розы.

— Сколько это стоило?

— Сорок пять долларов, — ответила мисс Джексон.

— Сорок пять долларов за розы! Для человека, который цветы терпеть не мог, даже когда был живой! Ладно, пустите ко мне этого Блэйра.

Роберт Блэйр был молодой и честолюбивый «свободный художник», давно, но без особого успеха пытавшийся писать для сцены.

— Садитесь, Блэйр, — сказал Грин. — Чем порадуете?

— В том году, мистер Грин, ничего из того, что я предлагал, вам не подошло, по сейчас, по-моему, я попал в самую точку.

— Прекрасно. Если оставите, прочитаю.

— Я еще ничего не написал — решил сначала рассказать вам.

— Валяйте, но только покороче: дел у меня сегодня выше головы. Прежде всего мне надо быть на похоронах старика Планта.

— Голову даю на отсечение, что вы о нем горюете, — пособлезновал Блэйр.

— Горюю! Да как же не горевать? Какой души человек был! А лучшего секретаря, — он бросил взгляд в сторону Льюиса, — мне никогда не иметь. Но рассказывайте, что там у вас.

— В моем пересказе, — начал Блэйр, — это, конечно, не бог весть что, но, по-моему, получиться должно неплохо. Вот, слушайте: полиция сообщает, что в своем доме убита женщина, и они едут и застают там ее мужа, который очень нервничает. Они применяют допрос третьей степени, и он, не выдержав, признается в убийстве. Они спрашивают, за что он ее убил, и он рассказывает им, что

очень любит бобы, а накануне вечером он пришел домой и спросил, что на обед, и она ответила: котлеты из барашка с картофельным пюре, шпинат и яблочный пирог. Тогда он спросил ее: «А бобов нет?» — и она ответила: «А бобов нет!» — и он застрелил ее на месте. Сцена между мужем и женой, конечно. После этого...

— Не пойдет, — прервал его Конрад Грин. — Во-первых, слишком много народу — эти полицейские и всякие там.

— Да нет, нужны только два полицейских и муж с женой. Но дайте я расскажу вам остальное...

— Мне не нравится. Не пойдет. Приходите, когда будет что-нибудь стоящее.

Блэйр вышел, и Грин повернулся к Льюису.

— Пока все, — сказал он, — но по дороге скажите мисс Джексон, чтобы она связалась с Мартином — пусть заглянет ко мне, как только сможет.

— Какой Мартин? — спросил Льюис.

— Она знает — Джо Мартин, который пишет для нас почти все либретто.

Оставшись один, Конрад Грин поднялся из-за стола и пошел к сейфу, стоявшему в другом конце кабинета. Он достал оттуда футляр с выгравированной на нем фамилией филадельфийского ювелира. Извлек из этого футляра великолепную нитку крупного жемчуга и еще любовался ею в тот момент, когда в кабинет вошла мисс Джексон; при ее появлении он поспешил убрать нитку в футляр, который снова запер в сейфе.

— Опять пришел тот человек, — сказала мисс Джексон, — Хаули из «Веселого Нью-Йорка».

— Скажите, что меня нет.

— Я сказала, но он говорит, что видел, как вы вошли, и будет сидеть, пока вы с ним не поговорите. Знаете, мистер Грин, мне кажется, лучше его принять — он ужасно настойчивый.

— Ладно, пусть зайдет, — раздраженно сказал Грин, — хотя представить себе не могу, какого черта ему от меня надо.

Мистер Хаули, юркий и все время улыбающийся человек, заставил хозяина, даже не приподнявшегося из-за стола, ответить на его рукопожатие.

— По-моему, — сказал посетитель, — мы с вами где-то встречались.

— Что-то не припомню, — коротко ответил Грин.

— Да это, в общем, и неважно, но вы наверняка читаете нашу маленькую газету, «Веселый Нью-Йорк».

— Нет, — ответил Грин, — у меня еле хватает времени на чтение рукописей.

— Вы очень много теряете, — сказал Хаули. — Наша газета быстро растет, она пользуется в Нью-Йорке большой популярностью, что должно интересовать и вас.

— Вы что, подписки добиваетесь? — спросил Грин.

— Нет, объявлений.

— Знаете, мистер Хаули, мне, откровенно говоря, объявления не нужны. Даже те объявления, которые я помещаю в главных ежедневных газетах, на мой взгляд, бессмысленная трата денег.

— И все равно, — сказал Хаули, — мне кажется, вы совершите ошибку, если не купите страницу в «Веселом Нью-Йорке». Это будет стоить вам всего лишь тысячу пятьсот долларов.

— Тысячу пятьсот долларов?! Ну и шутник вы! Думаете, ко мне легко залезть в карман?

— Никто и не покушается на него, мистер Грин. Но я, пожалуй, скажу вам по секрету, что на днях один наш репортер пришел и рассказал в редакции... в общем, речь шла об одной картежной истории, в которой кое-кто из проигравших вроде бы забыл расплатиться, и... В общем, моему партнеру очень хотелось все это напечатать, но я сказал, что всегда испытывал к вам дружеские чувства и почему бы не дать вам возможность тоже высказаться?

— Я не понимаю, о чем вы говорите. Если ваш репортер утверждает, что я замешан в какой-то картежной истории, он просто псих.

— Нет, он совершенно здоров и очень, очень добросовестен. У нас работают только добросовестные репортеры, и мы совершенно спокойны за все, что публикуем.

Долго, очень долго молчал Конрад Грин, а потом сказал:

— Говорю вам: я понятия не имею, о какой картежной истории идет речь, и к тому же тысяча пятьсот долларов — неслыханная цена за страницу в газете вроде вашей. Но все же, раз вы говорите, что у нее такая популярность, действительно, польза мне от этого могла бы быть. Так что если вы сбавите цену...

— Извините, мистер Грин, но этого мы никогда не делаем.

— Ну ладно, но вам придется дать мне несколько дней,

чтобы я успел подготовить объявление. Приходите... ну, скажем, во второй половине дня в понедельник.

— Это, мистер Грин, нас вполне устраивает, — сказал Хаули, — и могу вас заверить, что поступаете вы правильно. А теперь не буду больше отрывать вас от работы.

Он протянул руку, но ее не пожали, и он вышел, улыбаясь чуть шире, чем в момент прихода. Грин остался сидеть за своим столом, уставившись в одну точку и вполголоса поминая то собак, то еще кого-то... Размышления его прервал приход Льюиса.

— Мистер Грин, — сказал новый секретарь, — я нашел чек, выписанный для Германа Планта. Очевидно, это его жалованье за последнюю неделю. Может быть, мне получить за него и передать деньги вдове?

— Конечно, — сказал Конрад Грин. — Но нет, постойте: разорвите чек. Я выпишу ей новый и еще сколько-нибудь прибавлю.

— Хорошо, — сказал Льюис и вышел.

— Сорок пять долларов за цветы, — подумал вслух Конрад Грин и улыбнулся в первый раз за все утро.

Потом он посмотрел на часы, встал и надел свою роскошную шляпу.

— Я иду на ленч, — сказал он мисс Джексон, направляясь к выходу. — Если позвонит Пиблс или вообще кто-нибудь стоящий, скажите, что я буду всю вторую половину дня.

— Вы не забыли про похороны мистера Планта?

— Ах да. Ну, так, значит, я буду здесь от полвторого примерно до трех.

В «Асторе» метрдотель подобострастно поклонился и проводил его к столику у окна. Люди, сидевшие в ресторане, глядели ему вслед как зачарованные и перешептывались: «Конрад Грин!».

Ленч из устриц, сладкого мяса, шпината, земляничного мороженого и чашечки кофе, по-видимому, насытил его. Он подписал чек и дал официанту и метрдотелю по доллару чаевых — почти столько, сколько стоил весь ленч.

Когда он вернулся в контору, его ждал там Джо Мартин, главный либреттист Грина.

— О, хэлло, Джо! — сердечно сказал Конрад Грин. — Проходи ко мне, — кажется, у меня для тебя кое-что есть.

Мартин вошел за ним в кабинет и, не дожидаясь приглашения, сел. Грин сел за стол и достал из кармана портсигар.

— Закуришь?

— Только не такую! — ответил Мартин, закуривая собственную. — У тебя хороший вкус только на девочек.

— И на либреттистов, — улыбаясь, сказал Грин. — Но вот что я хотел тебе рассказать. Прошлой ночью я все никак не мог заснуть, лежал и лежал, и мне в голову пришла одна мысль, из которой можно сделать комедию. Я расскажу тебе суть, а уж ты разработаешь. Понадобятся молодая актриса и какой-нибудь из комиков, может быть Фрэзер, и еще пара актеров.

Комик и молодая актриса — муж и жена. Да, сразу надо сказать: комик безумно любит бобы. Ну и однажды вечером... нет, подожди. Полиция узнает, что жена комика убита, и двое полицейских приходят, чтобы выяснить все, к нему в дом. Они осматривают труп и видят, что голова прострелена. Они спрашивают комика, знает ли он, кто это сделал, и он говорит, что не знает, но они берут его в оборот, и под конец он не выдерживает и признается, что убил.

Но он говорит: «Джентльмены, я не думаю, чтобы вы стали меня арестовывать, если я расскажу вам обо всех обстоятельствах». Они разрешают ему, и он рассказывает, что пришел домой с работы и был очень голодный и спросил жену, что на обед. И она сказала... устрицы, сладкое мясо, шпинат, земляничное мороженое и кофе. И он спрашивает ее, а не будет ли бобов, и она говорит — нет, и он стреляет. Можешь ты что-нибудь из этого сделать?

— Слушай, Конни, — рассмеялся Мартин, — ты рассказал только половину, да и ту переврал. Штуку эту целый сезон играли в «Музыкальной шкатулке», и написали ее Берт Кальмар и Гарри Руби. Иначе бы я много, что из нее сделал.

— Ты уверен, что это она и есть?

— Абсолютно.

— Черт бы побрал проклятого ворюгу! Сказал ведь, что сам придумал!

— Кто это? — спросил Мартин.

— Блэйр — он еще пробовал влезть к нам в прошлом году. Ну, я ему покажу!

— Я понял, что идея твоя собственная.

— Неужели ты думаешь, что я стану воровать идеи — тем более такие, которым уже стукнуло год?

— Ладно, — сказал Мартин, — когда тебя снова посетит вдохновение вроде этого, звякни, и я зайду. А сейчас

мне пора на стадион — хочу посмотреть, как старик Бэйб проведет первую подачу.

— Извини меня, Джо. Вот уж никак не ждал такого оборота!

— Ладно, времени ты у меня отнял не много, но давай условимся: идеями впредь буду заниматься только я. Ну, пока!

— До свиданья, Джо, спасибо, что зашел.

Мартин вышел, и Грин, нажав на кнопку, вызвал мисс Джексон.

— Мисс Джексон, не впускайте сюда больше этого сопляка Блэйра — он мошенник!

— Хорошо, мистер Грин, но вам не пора на похороны? Уже двадцать минут четвертого.

— Да... Кстати, где дом Планта?

— На Сто шестидесятой улице, в двух шагах от Бродвея.

— Боже мой, какая даль! Пойдите — пришлите ко мне Льюиса.

— Льюис, — сказал Конрад Грин, когда новый секретарь вошел к нему в кабинет, — я съел что-то неподходящее. Я собирался поехать на похороны Планта, но вижу, что лучше не рисковать. Вы не могли бы поехать туда, объяснить им, кто вы, и быть моим представителем? Адрес даст вам мисс Джексон.

— Пожалуйста, сэр.

Льюис вышел из кабинета.

Почти тут же дверь святилища распахнулась снова, и без всякого предупреждения в кабинете появилась прекрасная Мэннинг. Нельзя сказать, чтобы Конрад Грин был приятно удивлен.

— О, это ты, дорогая! — воскликнул он. — Привет. Не ожидал, что ты будешь сегодня в городе.

— А я не говорила тебе, что не буду, — ответила ему жена.

Они обменялись знаками супружеского расположения.

— Наверное, ты заметил, — сказала миссис Грин, — что наших имен нет в списке гостей Брайант-Уокеров.

— Нет, у меня еще не было времени посмотреть газеты. Да не все ли равно?

— Все равно, конечно. Но знаешь, я думаю, они пригласили нас только потому, что надеются что-то из тебя выжать — благотворительный спектакль или еще что-нибудь.

- Ну что ж, пусть попытаются!
- Но я пришла поговорить с тобой о другом.
- О чем, моя радость?
- Я думала, ты помнишь.
- Что, любимая?
- Так ты... о, не стоит и говорить, если ты забыл.

Грин наморщил лоб, силясь вспомнить, потом вдруг лицо его просияло.

- Вовсе я не забыл! Сегодня твой день рождения!
- Ты только сейчас вспомнил!
- Ничего подобного, последние недели я только о нем и думаю!

— Не верю! Если бы ты думал, ты бы сказал что-нибудь, и... — она была готова расплакаться, — подарил бы мне хоть какую-нибудь вещицу — пусть самую маленькую.

Грин снова нахмурился, а потом снова повеселел.

— Я тебе докажу, что не забыл! — воскликнул он и, вскочив, бросился к сейфу.

Через секунду в ее руках оказался футляр с драгоценностями из Филадельфии, еще через секунду она открыла его, и из ее груди вырвался крик восторга. Она обвила руками шею Грина.

— Ненаглядный мой! — воскликнула она. — Простишь ли ты меня когда-нибудь за то, что я в тебе усомнилась?

Она поднесла жемчуг ко рту, как будто хотела проглотить его.

— Ну не расточительность ли это?

— О какой расточительности может быть речь, если это для тебя?

— Лучшего мужа, чем ты, не было еще ни у одной девушки!

— Я рад, что тебе понравилось, — сказал Грин.

— Понравилось? Я ошеломлена! И я еще могла подумать, что ты забыл! Но не буду отвлекать тебя. Я знаю, тебе надо на похороны бедного старого Планта, так что я уйду. А вечером мы, может быть, поужинаем с тобой где-нибудь?

— Обязательно! Приезжай в «Амбассадор» к половине седьмого, и мы вдвоем отпразднуем твой день рождения. Но ты хочешь взять жемчуг прямо сейчас?

— Еще бы! И я никогда с ним не расстанусь. Если кто-нибудь захочет отнять его у меня, ему придется перешагнуть через мой труп!

— Ну, до свиданья, дорогая.

— До полседьмого.

Грин, снова оставшись в одиночестве, ударом ноги хлопнул дверцу сейфа и вернулся к своему креслу, прозвонив вслух вещи, не очень подходящие для выражения радости по случаю дня рождения любимого человека. Мисс Джексон, по всей вероятности, слышала через стену приглушенный бубнящий голос, по такое, по-видимому, было ей привычно. Все изменилось, когда в кабинет Грина впорхнуло без доклада новое существо — девушка прекраснее даже той, которая только что оттуда вышла. Увидев лицо Грина, она рассмеялась.

— Боже мой, до чего у тебя несчастный вид! — сказала она.

— Роз!

— Да, это Роз. Но что такое с тобой случилось?

— У меня был тяжелый день.

— Теперь, я надеюсь, стало легче?

— Я думал, ты придешь завтра.

— Но ты рад, что я пришла сегодня?

— Еще бы! — воскликнул Грин. — А если ты подойдешь и поцелуешь меня, я обрадуюсь еще сильнее.

— Нет, сначала дело.

— Какое дело?

— Ты прекрасно знаешь какое! В последнюю нашу встречу ты потребовал, чтобы я отказалась от всех, кроме тебя. И я обещала, что между мной и Гарри все будет кончено, если... ты знаешь. Нитка жемчуга всего-навсего.

— Я ни от чего не отказываюсь.

— Ну, так где же она?

— Куплена и приготовлена для тебя, но я купил ее в Филадельфии, и по какой-то идиотской причине ее до сих пор еще не прислали.

— Не прислали! Что она, такая тяжелая, что ты сам не мог ее привезти?

— Честное слово, дорогая, она будет самое позднее послезавтра.

— Самое подходящее для тебя слово — «честное»! Ты что, за дуру меня принимаешь? Или так привык врать, что уж и обойтись без этого не можешь?

— Если ты дашь мне объяснить...

— Какого черта тут еще объяснять? Мы с тобой заключили сделку, и ты своих обязательств не выполнил. И теперь...

— Но послушай!



— Не хочу я ничего слушать! Ты знаешь, где найти меня, и, когда выполнишь обещание, можешь позвонить. А до этого... С Гарри, надо сказать, не так уж и скучно.

— Пстой, Роз!

— Больше мне сказать тебе нечего. До свиданья!

И она исчезла, прежде чем он успел задержать ее.

Конрад Грин тяжело плюхнулся в кресло. Пятнадцать минут он просидел такой безмолвный и неподвижный, что вполне мог сойти за мертвеца. Потом он поежился, будто от холода, и произнес:

— Переживать из-за них я больше не стану — провались они все к дьяволу!

Он пододвинул телефон и снял трубку.

— Соедините меня с миссис Брайант-Уокер.

И немного погодя:

— Миссис Брайант-Уокер? Нет, мне нужно поговорить с ней лично. Конрад Грин. О, хэлло, миссис Уокер! Сегодня утром мне звонила ваша секретарша, но нас прервали. Она говорила что-то насчет благотворительного спектакля... Почему же, конечно, буду рад! Столько, сколько вам нужно. Предоставьте все мне, я организую вам интересное зрелище... Что вы, совсем не трудно. Доставит мне удовольствие. Спасибо. До свиданья.

Вошел Льюис.

— Ну как, Льюис, были на похоронах?

— Да, мистер Грин, и я видел миссис Плант и объяснил ей, как сложились обстоятельства. Она сказала, что вы всегда были очень добры к ее мужу. Сказала, что всю неделю, пока он болел, он только и говорил что о вас и выражал уверенность, что в случае его смерти вы придете на похороны. Она очень жалела, что вас не было.

— Видит бог, я тоже жалею! — сказал Конрад Грин.

# Ринг Ларднер

## *Ритм*

История эта несколько аморальна, но таковы, я думаю, все правдивые истории. Речь в ней пойдет о Гарри Харте, искренность и простота которого стяжали ему любовь всех остальных членов «Клуба монахов» и всех разбитных красоток, которым довелось познакомиться с ним внутри или вне театрального бизнеса. Пишущие музыку обычно не очень склонны смотреть на себя критически, и Гарри был отрядным исключением из общего правила — пока «Апси Дэйзи» не воцарилась на год в театре «Казино».

Вы могли бы составить себе представление о нем, подслушав однажды вечером в клубе разговор Гарри Харта с Сэмом Роузом, автором либретто «Рубашки Рут» и «Лифчика Лиззи», а также сотни текстов популярных песен. Они сидели вдвоем у стола около выдавшего виды рояля.

— Ты знаешь, Сэм, — сказал Гарри, — я тут подумал: а не стать ли нам с тобой партнерами?

— А что произошло с Кейном?

— Между нами все кончено, — ответил Гарри. — Эта дамочка его погубила. По-моему, она вышла за Кейна замуж специально для того, чтобы сделать из него честного человека. Так или иначе, но он стал до того честным, что я не мог больше этого выносить. Сэм, ты ведь знаешь, какой я: живи и жить давай другим. Я не ставлю под вопрос ничью этику, или как там она называется, пока не ставят под вопрос мою. Все мы вертимся как можем — я так смотрю на это. И потом, мне доводилось слышать лучшие тексты, чем те, которые он написал к двум моим ритмическим пьесам в «Лотти» — ну, ты их знаешь; и вообще, между нами говоря, я считаю, что он обе их за-

порол. Спрос на них был как на церковные гимны, не лучше, и понятно, что, когда наши пути разошлись, перенести это мне оказалось вполне под силу. Но я расскажу тебе развязку — просто для того, чтобы показать, до чего человек может поглупеть. Ты помнишь нашу «Да-да, Ев-лалия»? Так вот, там в конце первого акта было место для отличного любовного дуэта, и у меня был для него мотивчик, который потом стал шлягером. Ты знаешь, что я не хвастаю, когда говорю это: я ведь не утверждаю, что он мой, но он был и остается шлягером. Я имею в виду «Поймай меня».

— Конечно, шлягер! — согласился Сэм.

— Но шлягер не из-за слов, — сказал Гарри.

— Ты прав, — кивнул Сэм.

— Так вот, когда я в первый раз сыграл ему этот мотив, он на нем прямо помешался, и я дал ему ноты ведущей партии, и он показал их своей жене. Похоже, что она играет немного на фортепьяно, и она сыграла эту мелодию и сказала ему, что я свистнул ее из какой-то оперы; она думала, что из «Джоконды», но не была уверена. На другой день Кейн стал мне об этом говорить, и я сказал ему, что это не «Джоконда»; это была «Линда ди Шамуни» Доницетти. Так он заявил, что ему, видите ли, кажется нечестным работать над мелодией, которую у кого-то сперли! Тогда я говорю: «Не поздно ли начинаешь щепетильничать?» А он говорит: «Может быть, но лучше поздно, чем никогда». А я ему: «Слушай, Бенни, это твоя жена говорит, не ты». А он: «Давай не будем ее сюда вмешивать». А я: «Кому-кому, а мне меньше всех хотелось бы ее вмешивать». А потом говорю: «Бенни, ты должен признать, это потрясная мелодия», и он сказал «да» — он признал это. Тогда я говорю: «Ну, а теперь скажи мне: многие ли из дураков, которые ходят на наши шоу, когда-нибудь слышали или услышат «Линду ди Шамуни»? Когда наша труппа получает от меня эту мелодию, я оказываю благодеяние миллиону людей; я даю им возможность услышать прекрасную музыкальную пьесу, которую иначе они бы ни за что на свете не услышали. Мало того, они услышат эту музыку в улучшенном виде — потому что я ее улучшил». А Бенни мне: «Первые четыре такта — те же самые, и на этом ты погоришь».

Тогда я говорю: «Вот что, Бенни: до настоящего времени ты никогда не критиковал мою музыку, а я никогда не критиковал твои слова к ней. Но теперь ты упрекаешь

меня в том, что я ворую мелодии. Я этого не отрицаю, но посмотрел бы я, как бы ты заработал себе на жизнь, да еще смог бы жениться, не делай я этого. Но ладно, об этом говорить не будем. На днях я ездил к сестре, там была певица, сопрано, и она спела что-то вроде «Люблю тебя, люблю тебя, мне сердце говорит». Великолепная песня — она лет так двадцать, тридцать назад прогремела».

Бенни на это: «Ну и что?» И я ему сказал: «А то, что мне припоминаются четыре или пять твоих текстов, где встречается фраза «Люблю тебя», и готов поспорить, что слова «мне сердце говорит» ты использовал не меньше двух раз в каждой из песен, написанных тобой с начала твоей блестящей карьеры поэта-песенника. Так скажи, пожалуйста, ты сам придумал эти слова или от кого-нибудь их слышал?» Вот что я сказал ему, и он сразу заткнулся. Но его этика все равно не давала ему покоя, и стало ясно, что после «Евлалии» мы друг с другом распрощаемся. И как я уже сказал, текст его отнюдь не украсил мою доницеттиевскую пьеску; он бы угробил ее — если бы ее можно было угробить!

— Итак? — сказал Сэм.

— Итак, — сказал Гарри, — вчера Конрад Грин прислал мне телеграмму с просьбой прийти побеседовать, и сегодня я у него был. Он так туп, что считает меня лучше Фримля. Оказывается, у него есть либретто Джека Прендергаста, и он хочет, чтобы мы с Кейном им занялись. Я ему на это говорю, что с Кейном работать не стану, и тогда он сказал, чтобы я взял кого хочу. Поэтому я тебе и позвонил.

— Звучит неплохо, — сказал Сэм. — Как либретто?

— Я его только пролистал, но, по-моему, с ним все нормально. Сюжет «Золушки», и если к нему еще твои слова да мою музыку — уж тут мы наверняка удивим публику новинкой.

— Есть у тебя новые мелодии?

— Есть? — расхохотался Харт. — Да они из меня прут! — Он сел к роялю. — Послушай эту ритмическую пьеску. Считаю меня кем хочешь, если это не шлягер!

Он сыграл ее сначала в фа-диез мажоре, сыграл виртуозно. Особенно хорош был запоминающийся рефрен, который правая рука играла, как вальс, а левая — на две четверти.

— Она и пониже хороша, — сказал он, и сыграл ее снова, так же уверенно, в си-бемоль мажоре — тональности,

одно упоминание о которой наводит страх на среднего пианиста.

— Да это... — Сэм Роуз был в диком восторге. — Что это такое?

— Не узнаешь?

— Песня волжских бурлаков?

— Нет, — сказал Харт. — Это из партии Аиды, — когда она узнает, что тот тип отправляется на войну. И ни один из тех, кто ходит на наши шоу, этого не заметит, кроме разве что Димса Тейлора и Альмы Глак.

— Она так хороша, — сказал Сэм, — что просто уму непостижимо, как она до сих пор не стала шлягером.

— Только потому, что Верди не знал ритма! — воскликнул Харт.

Давайте вернемся немного назад и понаблюдаем за нашим героем в гостях у Баксов на Лонг Айленде. В тот вечер там собралось несколько мальчиков и девочек, и все они пришли в восторг, когда услышали, что ожидают самого Гарри Харта. Он едва успел пригубить свой коктейль, как они стали приставать к нему, чтобы он сыграл.

— Что-нибудь из вашего собственного! — упрашивала потрясенная им Хелен Морзе.

— Если вы имеете в виду то, что сочинил я сам, — ответил он с располагающей откровенностью, — то это просто невозможно; то есть не то что невозможно, но это будет такая серятина, что хуже некуда. Однако мое имя стоит и под некоторыми великолепными вещами, и я сыграю вам одну-две из них.

И, не заставляя себя больше упрашивать, он сыграл две ритмические пьески и песнь любви, благодаря которым «Апси Дэйзи» Конрада Грина стала гвоздем сезона. И он уже начал играть что-то другое, чего кружок его слушателей не мог узнать, когда услышал, как хозяйка дома представляет кому-то мистера Рудольфа Фримля.

— Спокойной ночи! — воскликнул Харт. — Пусть играет тот, кто умеет играть! — и с этими словами он уступил свое место у рояля вновь прибывшему и ретировался в дальний угол комнаты.

— Надеюсь, Фримль не слышал меня, — доверительно сказал он мисс Силлоу, — ведь я играл его вещь, а выдавал ее за свою.

Или вот: он на футболе вместе с Ритой Марлоу из

«Голдвин-Мейер». Какой-то студенческий оркестр играл «Да, сэр! Это моя беби!»

— Уолтер Дональдсон — вот парень, который может писать шлягеры! — с восхищением сказал Харт.

— Как будто ты не можешь! — отозвалась его приятельница.

— Куда мне до него! — скромно ответил ее спутник.

Немного позже Рита сказала ему, что в публике, должно быть, его узнали: многие пялят на них глаза.

— Давай не будем обманывать себя, девочка, — сказал он. — Они пялятся на тебя, а не на меня.

Еще позже, по дороге со стадиона, он сказал ей, что в банке у него больше двадцати пяти тысяч долларов, и пока мода на него не прошла, он рассчитывает на средний годовой доход минимум в сорок тысяч.

— Пока у меня не кончатся интересные мотивчики — я на коне, — сказал Гарри, — и я не вижу, почему бы им кончиться, ведь у всех этих старых мастеров их миллион. Я рассказываю тебе про свое финансовое положение, потому что... думаю, ты и сама знаешь, почему.

Рита знала, что, по общему мнению, разделявшемуся и ими самими, они с Гарри помолвлены.

Когда «Апси Дэйзи» шла уже третий месяц и песенки из нее пели все вокруг, играли и насвистывали почти до одурения, Харта открыл Спенсер Дил. Что он пионер нового американского джаза, что его ритмы совершат переворот в нашей музыке — эти и многие другие вещи сообщались в статье на четыре тысячи слов под заголовком «Гарри Харт — провозвестник», которую Дил напечатал в «Уэбстери уикли», еженедельнике для интеллектуалов. И Гарри прямо-таки проглотил эту статью, хотя чуть не подавился некоторыми словечками.

Интересные люди посещали гостиную Пегги Лич в воскресные дни после полудня. Макс Рейнгардт бывал там, Рейнольд Веррепрат бывал там. И Яша Хейфец, и Джерица, и Майкл Арлен, и Ноэл Коуард, и Дадли Мэлоун. И Чарли Чаплин, и Джин Танни. Да, квартира Пегги в воскресные дни была салоном, очагом культуры.

И именно к Пегги привел Харта Спенсер Дил через несколько недель после появления статьи в «Уэбстерс уикли». Представляя его, Дил объявил, что Харт работает над «голубой» симфонией, после которой ультраритмы и почти диссонансы Джорджа Гершвина покажутся церковными песнопениями.

— О, — воскликнула хорошенькая Майра Хэмптон, — он, конечно, сыграет нам что-нибудь из нее?

— Сыграет, сыграет, — раздраженно передразнил ее Харт. — Хоть бы подумали, что и мне когда-нибудь надо отдохнуть! Вчера вечером, на приеме у Браунов, все пристали ко мне и не хотели ничего знать, когда я отказывался, и в конце концов я сыграл для них: сыграл так паршиво, как только мог, чтобы их проучить. Но до них даже не дошло, что паршиво! Вы чем зарабатываете себе на жизнь?

— Я актриса, — смущенно призналась молодая леди.

— Ну и понравилось бы вам, если бы каждый раз, как вы где-нибудь появитесь, вас просили бы играть?

— Да, — ответила она, но его уж и след простыл.

Похоже было, что Гарри ищет уединения; вид у него был обиженный, и сел он в стороне от гостей. Он принял виски-соду, предложенную хозяйкой, но не нашел нужным поблагодарить ее. Ничуть не обескураженная, она подвела к нему синьора Парелли из «Метрополитан».

— Мистер Харт, — сказала она, — это мистер Парелли, один из дирижеров «Метрополитан».

— Дда?

— Быть может, когда-нибудь мистеру Парелли придется дирижировать какой-нибудь из ваших опер.

— Надеюсь, — сказал вежливый Парелли.

— Надеетесь? — презрительно фыркнул Харт. — Уж если я и напишу оперу, то сам буду и дирижировать, и, уж во всяком случае, не доверю ее иностранцу.

В результате последней войны способность людей переносить невзгоды значительно возросла, и минут через двадцать гости Пегги начали вести себя так, как будто, несмотря на отказ Гарри играть, они могут и не кончать жизнь самоубийством. Более того: один из них, Рой Лэттимер, исполненный шотландской отваги, но отнюдь не переполненный музыкальными способностями, сел к роялю и начал играть сам.

Начал... и кончил, потому что он не успел сыграть и четырех тактов, как Харт с другого конца комнаты кинулся к нему и спихнул его с табурета.

— Надеюсь, вы не считаете себя пи-о-нистом! — негодуя воскликнул Харт, произнеся последнее слово как обозначение человека, который разводит или продает пионы.

И два часа кряду, два часа, в течение которых все,

кроме Спенсера Дила и несчастной хозяйки, демонстративно его покинули, Гарри играл, играл и играл. И среди того, что он играл, не было ничего написанного Керном, Гершвином, Стивенем Джонсом или Айшемом Джонсом, Сэмьюэлсом, Йоумэнсом, Фримлем, Стэмпером, Турсом, Берлином, Тьернеем, Хаббелом, Хайном или Гитц-Райсом.

Именно в этот период его жизни Харту случилось однажды идти от Сорок пятой улицы по Пятой авеню в ресторан «Плаза». Он заметил, что почти все встречные провожают его пристальными взглядами, и вспомнил, что в прошлое воскресенье две газеты напечатали его портрет. Не иначе как сходства оказалось больше, чем он думал.

В ту зиму Нью-Йорк отапливался мягким углем, и когда Харт очутился в туалетной комнате «Плаза», он обнаружил на левой стороне верхней губы сажу. Как будто у него были усы, и он решил их сбрить, но передумал, когда парикмахер уже наполовину сделал свое дело.

Рита Марлоу — вот с кем условился Гарри о встрече в «Плаза». Он оттягивал эту встречу так долго, как только мог. Будь у нее хоть капля гордости или здравого смысла, она бы уже все поняла. С какой стати должен он тратить свое время на второразрядную киноактрису, когда он водит дружбу с такими женщинами, как Элинор Дил и Тельма Уоррен, и когда его обещали представить миссис Уоллес Джерард? Девушке следует понять, что, если ее приятель, который выезжал с нею по три-четыре раза в неделю и названивал ей каждое утро, вечер и в промежутки между утром и вечером... ей следует понять, что, если он больше не звонит ей, и перестал с нею выезжать, и даже не хочет разговаривать, когда она звонит сама, — тут может быть только одна причина. Однако эта особа хочет во что бы то ни стало с тобой встретиться и, вероятно, устроить сцену. Что ж, она будет ее иметь. Хотя нет, не будет. Хамить совсем ни к чему. Просто надо тихо и спокойно дать ей почувствовать, что с прошлым покончено, и поскорее поставить на этом крест.

— Куда нам пойти? — спросила Рита. — Чтобы поговорить.

— Только туда, где это не займет много времени, — сказал Гарри. — У меня встреча с Полом Уайтменом — он должен посмотреть кусок из моей симфонии.



— Я не хочу мешать твоей работе, — сказала Рита. — Может быть, лучше тебе прийти сегодня вечером ко мне домой?

— Сегодня я не могу, — сказал Гарри.

— А когда ты можешь?

— Я тебе позвоню. Трудно вырваться. Понимаешь...

— Кажется, да, — сказала Рита и, повернувшись, пошла прочь.

— Давно бы так, — пробурчал Гарри.

Его симфония провалилась с треском, явно не вызвав у критиков такого восторга, как работы Гершвина и Димса Тейлора. «Но, в конце концов, — рассуждал Гарри, — Гершвин начал раньше меня, а у Тейлора свои люди в газетах, это уж точно».

После концерта Спенсер Дил устроил прием, и там Гарри познакомился с миссис Уоллес Джерард, принимавшей большое участие в молодых композиторах и, как говорили, оказывавшей им немалую помощь. Харт принял приглашение сыграть в ее квартире на Парк авеню, но ошибся, думая, что ей нужны ухаживанья, а не музыка, и его первый визит к ней оказался последним.

Конрад Грин нанял его написать музыку для нового шоу по либретто Гая Болтона. Теперь Харт не хотел работать даже с Сэмом Роузом, ссылаясь на то, что тексты Сэма безнадежно пролетарские. Грин сказал ему, чтобы он сам выбрал, кто ему подходит, и Харт выбрал Спенсера Дила. Плодом их сотрудничества оказались партитура, требовавшая новой сигнатуры в начале каждого такта, и набор шестисложных рифмованных строк, понять которые, не говоря уже о том, чтобы спеть их, девушкам-хористкам было бы примерно так же под силу, как понять трактат о какой-нибудь биотаксии, написанный Эрнестом Бойдом.

— Черт те что! — так по совету своего музыкального консультанта Фрэнка Турса оценил их работу Грин.

— Много вы понимаете! — сказал Харт. — Но вообще-то неважно, что вы там думаете. По нашему контракту мы с вами должны написать музыку и текст для этого шоу, и мы это сделали. Не нравится — можете побеседовать с моим адвокатом.

— Ваш адвокат, по всей вероятности, окажется и одним из моих, — ответил Грин. — Во всяком случае, если

он практикует в Нью-Йорке. Но все это пустой разговор. Если вы думаете, что можете вынудить меня Припеть партитуру, в которой, сказал мне Турс, если ее аранжировать, сам Стоковский не сможет прочесть даже партию треугольника, не говоря уж о тексте, который надо начинать с семи вечера, чтобы хор успел кончить пролог до того, как бэйсайды побегут на поезд в час двадцать, тогда, Харт, отправляйтесь сейчас домой, потому что в ближайшие сорок лет нам с вами предстоит видеться в зале суда каждый божий день.

Примерно через год после этого разговора наличный капитал Гарри в банке и на руках составлял 214 долларов 60 центов, включая сюда 56 долларов, которые он выручил от продажи нот и пластинок с записью своей симфонии. В воскресных газетах он прочитал, что Отто Гарбах взялся написать либретто для Уиллиса Мервина и этот последний подыскивает композитора, который бы написал музыку. Мервин, продюсер младшего поколения, в прежние времена был дружкой Гарри по «Клубу монахов». Туда Харт и отправился. Он разыскал Мервина и сразу взял быка за рога.

— Слишком поздно, — сказал молодой антрепренер. — Сперва я подумал о тебе, но... похоже на то, что ничем, кроме разве оратории, тебя теперь не заинтересуешь. То, что ты писал раньше, подошло бы здорово, но тяжеловесная нудятина, которую ты выдаешь в последнее время, в эту пьесу никак не полезет. Нужно что-нибудь легкое, и я подписал контракт с Дональдсоном и Каном.

— Я мог бы вставить что-нибудь... — заикнулся Гарри.

— Едва ли, — прервал его Мервин. — Не помню такого места в либретто, где нам пригодились бы fuga или рекем.

Направляясь к выходу, Харт увидел Бенни Кейна, своего партнера в прежние годы. Бенни вроде бы хотел встать и поздороваться, но передумал и снова уединился в своем кресле.

«Что-то он не задирает нос, как прежде», — подумал Гарри, и пожалел, что Кейн не проявил заинтересованности. «Что мне надо, так это сделать шлягер — он меня вытащит. Слова я, конечно, могу написать и сам, но у Бенни тоже бывали неплохие мыслишки».

Харт заглянул к своим старым издателям, где в давно ушедшие беспечальные дни он был таким же желанным гостем, как пиво на балу кондитеров. В свое время он, сле-

дую совету Спенсера Дила, променял их на фирму, пользовавшуюся лучшей репутацией у эстетов.

— Что происходит, Гарри? — сказал Макс Уайз, один из компаньонов. — Ты совсем пропал, в последнее время о тебе ничего не слышно.

— Может, еще услышите, — ответил Харт. — Что бы вы сказали, если бы я написал новый шлягер?

— Я бы сказал, что это как нельзя вовремя.

— Как насчет того, чтобы мне снова вернуться к вам?

— Со шлягером — пожалуйста. Сделай хоть один — и наши двери для тебя широко открыты. Ты с кем работаешь?

— Сейчас у меня никого нет.

— Было бы совсем неплохо, если бы ты надумал снова взять в напарники Бенни Кейна, — сказал Макс Уайз. — Вам с ним разделиться — да это все равно что Балтимору отделить от Огайо или свинину от бобов.

— Он ничегошеньки не сделал с тех пор, как ушел от меня, — сказал Харт.

— Верно, — ответил Уайз, — но похоже, что и сам ты не особенно балуешь нас шедеврами!

Харт вернулся к себе в отель, сожалея, что есть на свете такая вещь, как гордость. Он не прочь был бы позвонить Бенни.

Раздался телефонный звонок. Он поднял трубку и узнал голос Бенни.

— Увидал я сегодня тебя у «Монахов», — сказал Бенни, — и пришла мне в голову одна мысль. Где бы нам встретиться?

— В клубе, — ответил Гарри. — Я буду через полчаса.

— Я тут подумал, — начал Бенни, когда они сели у стола рядом с роялем, — что в последнее время никто не писал ритмических песенок на тему «Люблю тебя»; я хочу сказать — последние два-три месяца. Когда-то ты мне рассказывал, как ты приехал к своей сестре, и там была певица, сопрано, и она спела песню, где были слова: «Люблю тебя, люблю тебя, мне сердце говорит».

— Ну и что?

— А то, — сказал Бенни, — что давай возьмем эту песню, я чуточку подправлю слова, а ты можешь взять мотив и всунуть его в свой ритм — и тогда мы живем! Конечно, если мотив стоящий. На что он похож?

— Да на «Аркадию», на «Марчету» и, пожалуй, на ту, стэмперовскую — «Жужжи-жужжи». Но ведь все на что-то похоже!

— Тогда принимаемся.

— Где же теперь твоя этика?

— Знаешь, — сказал Бенни, — мы с Рей толковали сегодня, а про этику не вспомнили ни разу. Она сказала мне только, что туфли, наверное, есть у всех детей божьих, кроме нее.

— Порядок, — сказал Харт. — Мотив я, в общем, помню, а завтра я разыщу песню и дам тебе, чтобы ты мог переписать слова.

— Идет! Ну а теперь, может, в кормушку?

— Нет, — сказал Гарри. — Я обещал позвонить одной особе.

После чего он пошел выполнять свое давнишнее обещание.

— Ты очень самонадеян, — сказала Рита на другом конце провода, — если воображаешь, что девушка столько времени будет тебя ждать. И если я не говорю «нет» и не говорю это слово ясно и понятно, то только потому, что мой рояль недавно настроили, а свою симфонию ты мне никогда еще не играл.

— Не играл и не собираюсь играть, — ответил Гарри, — но зато я попробую сыграть тебе одну ритмическую пьеску, которая должна иметь колоссальный успех. Она начинается словами «Люблю тебя, люблю тебя».

— Как прекрасно это звучит! — сказала Рита.

# Виктория Линкольн

## *Моя артистическая карьера*

В нашем городе жил некогда человек, на именном бланке которого значилось: Дж. Веллингтон Фримен, профессия — адвокат, призвание — поэт. Будь я по натуре столь же откровенна, па моем бланке стояло бы: Виктория Линкольн, профессия — писатель, призвание — актриса. Признаться, нам с Дж. Веллингтоном Фрименом одинаково не повезло со второй музой. Ведь любовницы менее сердобольны, чем жены.

С первого выхода на сцену (в роли Фиалки на ежегодном майском празднике в церкви св. Эндрю) надо мной тяготел злой рок. В самый разгар веселья мы присоединялись к танцующим и хором декламировали: «Весне навстречу сердце раскрывая, мы славим Королеву мая»; однако ни у кого, кроме меня, не отлетали при этом от корсета пуговицы и не падали кружевные панталоны; и уж как только я ни старалась избежать этого — все было напрасно.

Неудачи преследовали меня и в школе и в колледже, перешагнули они вместе со мной и через порог «Маленького театра». Вечно мне сопутствовали какие-то странные, необъяснимые истории.

Взять, к примеру, св. Франциска с его птичками. Каждый год наш «Маленький театр» устраивал бал в костюмах какой-нибудь исторической эпохи; открывался он красочным театрализованым представлением. В тот год мы выбрали эпоху Возрождения, и я была Продавцом птиц. «Несколько птичек подешевле, — предупреждали мы бутафора. — Канарейки или что-нибудь в этом роде. И обязательно в корзине».

Я сидела на базарной площади и продавала птиц. Ко мне подошел св. Франциск и, осмотрев товар, укоризненно воскликнул:

— У них не обрезаны крылья. Отпусти их. Пусть летят себе к господу богу.

Он взмахнул руками, показывая, как они полетят, а чуть поодаль стояли Лоренцо Великолепный и Пьетро Аретино со свитой и одобрительно улыбались. Мне стало жаль бедных птичек. Картинным жестом освободительницы я откинула крышку корзины и замерла в ожидании. Но ничего не произошло. Я посмотрела на корзину и, глотнув слюну, легонько пнула ее ногой. Оттуда, лениво взмахнув пару раз крыльями, вылезли, тяжело отдуваясь, два старых, до безобразия ободранных голубя. С несчастным видом уселись они возле корзины и уставились на свет.

— Пусть летят себе к господу богу, — повторил св. Франциск, по уже не так уверенно.

Мне бы тут сделать вид, что ничего страшного не произошло, я же отчаянно смутилась и, взмахнув своими юбками, крикнула: «Кшш!» Издав противный звук, напомиравший треск ревматических суставов, голуби с трудом оторвались от пола, перелетели через рампу и устроились на люстре в центре зала. Только сидевшие с краю и в самых первых рядах партера смогли досмотреть представление до конца.

Помню, правда, случай, когда я была действительно в какой-то мере виновата. Мы ставили «Много шума из ничего», и я играла Беатриче. Возможно, я не потерпела бы такого фиаско, не внуши я себе, что у меня недостаточно сильный голос. Он вполне чистый и вполне приятный, но его не мешало бы приукрасить флейтой и парой скрипок без струн «соль» и «ми». А поскольку мне тогда безумно хотелось сыграть настоящую роль, что-нибудь вроде Миранды, меня это не на шутку беспокоило.

Я поделилась своими сомнениями с одной очень доброй, пожилой, уже давно не занятой в спектаклях актрисой, голос которой заставлял вспомнить динамики концертного зала Радио-Сити. Она объяснила мне, что надо только уметь правильно пользоваться голосовым аппаратом. Она учила меня произносить на распев «мна-а-а», чтобы разработать резонаторы (она называла их резонансными камерами), и «бр-ла», чтобы ослабить челюсть, и все время твердила об этом несчастном воздушном столбе, от

которого мои слоги должны отскакивать, как мячи от струи фонтана. Хозяин дома, где я жила, дал мне ключ от пустующей квартиры, и я потихоньку от всех каждый день совершенствовала свое искусство.

Я ликовала при мысли, что моих друзей ждет большой сюрприз. Ждал он, кстати, и меня, когда я впервые услышала свой новый голос. Это был большой, глубокий голос, удивительно похожий на голос Греты Гарбо, вздумай она читать молитвы в бассейне. А как он был богат модуляциями, господи, как богат! На репетициях я буду говорить, как обычно, решила я; пусть до поры до времени это останется в тайне, зато и удивлю же я их на премьере!

Но неужели эти глубокие, торжественные, волнующие звуки и правда мой собственный голос? Я не верила своим ушам, когда он отражался от стен пустой гостиной, где, прохаживаясь взад и вперед, я разучивала роль, прерывая чтение, только чтобы произнести свое «мна-а-а» и лишний раз убедиться, что все идет строго по научной системе.

Мне приготовили роскошный костюм из серебряной зеленовато-голубой парчи, весивший, без рюшей и нижних юбок, чуть не тонну. И хотя корсет был не таким твердым, как носили в старину, мне он казался стальным. На него пошло несколько слоев прорезиненного холста, и я до сих пор содрогаюсь, вспоминая, как он впивался мне в тело. Талия у меня тогда была «своя» — в незатянутом виде пятьдесят семь сантиметров. А поскольку такое не часто встретишь в наши дни, костюмерша решила, очевидно, что меня можно стягивать корсетом до бесконечности. Протащить, например, через обручальное кольцо. При этом она не учла, что я обладаю парой превосходных легких и что даже самый неглубокий вдох я начинаю чуть ли не от пальцев ног. Платье у меня было умопомрачительное. Расширяясь книзу колоколом, оно постепенно сужалось кверху, сходясь чуть ли не в одну точку на талии, и затем, уже не разжимая своих объятий, подобных объятиям здоровенного питона, заканчивалось где-то на уровне четвертого ребра.

Я пришла в театр в приподнятом настроении. Такой радостной я не была с того самого дня, когда меня, уже большую тогда девочку, впервые попросили прочитать «Створчатого Наутилуса» моим тетушкам и дядюшкам, обычно собиравшимся у нас по воскресным дням. Перед выходом на сцену у меня начался нервный озноб, и актеры

за кулисами, желая подбодрить, пожимали мне руку и говорили, что я прекрасно выгляжу, что вчера я отлично играла и что все сегодня будет хорошо. Я смотрела на них, пряча улыбку под толстым слоем грима. Если бы они только знали!

Я участвовала в первой сцене. Стоя возле каменной скамьи слева от центра и мысленно произнося зычное, раскатистое «мна-а-а», я старалась набрать в свой панцирь как можно больше воздуха. Вздернув подбородок и повернув голову, я небрежно махнула рукой и спросила: «А скажите, пожалуйста, синьор Фехтовальщик вернулся с войны или нет?»

Зрители и актеры буквально подпрыгнули от удивления, и тут до меня дошло, что акустику этого зала не сравнить с акустикой маленькой комнаты. Когда же эхо наконец замерло, гонец, худошавый застенчивый юноша, для которого этот спектакль был дебютом, ответил: «Я такого имени не слышал, синьора». Но по сравнению с моим его голос казался шепотом.

Затем произнес свою реплику Леонато, после него Геро, потом снова я, на этот раз тише, но с такими же сочными и неожиданными раскатами и переливами: «Он по всей Мессине развесил объявления, вызывая Купидона на состязание в стрельбе острыми стрелами...» Это довольно длинная реплика, и с первых слов мною овладело предчувствие надвигающейся катастрофы. Я изо всех сил пыталась предотвратить ее, старательно выговаривала каждое слово, думая, что именно в этом мое спасение. Но все было напрасно. Только я дошла до слов: «расписался за Купидона и предложил состязаться тупыми стрелами», как преисподняя разверзлась. Даже при самой болезненной фантазии нельзя представить себе тот кошмарный приступ икоты, который начал сотрясать мое истерзанное нутро. Занавес опустился, и кто-то принес мне стакан воды.

Почувствовав себя лучше, я попросила поднять занавес. Мне нужно было сделать выбор между этим жутким голосом и этим жутким корсетом. Но за меня уже все решили. Не могла же я одна из всей труппы играть в современном платье. Поэтому, стараясь дышать с величайшей осторожностью, я начала все сначала. По залу пронесся удивленный гул, исходивший, я думаю, главным образом от тех, кто слышал мой голос в этот вечер впервые. Но у меня не было времени думать еще и об этом. Теперь все



будет в порядке, уговаривала я себя, все будет хорошо. Но, к несчастью, как только я раскрывала рот, меня ско- вывал панический страх.

Второй приступ случился со мной в сцене, где очарова- тельная и дерзкая Беатриче появляется, чтобы сказать Бе- недикту: «Меня, против моей воли, прислали просить вас идти обедать».

Бог тому свидетель, после первого своего конфуза я боялась хоть чуточку повысить голос, но моя диафрагма так настрадалась за это время, что достаточно было ше- пота, чтобы снова ее всколыхнуть. Мы с Бенедиктом стоя- ли, уставившись друг на друга. Он потом сказал мне, что, глядя на меня в тот момент, боялся, как бы я не грохну- лась без чувств — до того я была бледна.

Пока мы стояли и ждали занавеса, на сцену выбежал гонец и, опустившись передо мной на одно колено, сунул мне в руку бумажный стаканчик с водой и сказал: «Вот вам, синьора милая, бокал вина от тех, кто искренне же- лает вам добра». Спеша предупредить новый приступ ико- ты, я отвечала: «Благодарю, мой добрый шут, и передай, что оценила я их доброту».

С этого момента спектакль, можно считать, был спас- сен, но содержание пьесы изменилось самым невероятным образом. Теперь это был рассказ о спившейся, духовно опустошенной женщине, друзья которой, поняв, что все их попытки спасти ее безуспешны, раз и навсегда решили смотреть сквозь пальцы на эту ее слабость. Кто-то из ак- теров даже сбегал в свой клуб, благо он был через дорогу, и принес огромный спортивный кубок, который мы, пре- бывая в состоянии крайнего возбуждения, сочли более или менее подходящим для той эпохи, и я до конца спектакля не расставалась с ним, делая перед каждой фразой боль- шой, фальстафовский глоток. Меня охватило чувство абсо- лютного спокойствия, которое было страшнее любой исте- рики. Временами, правда, мне стоило большого труда удержаться, чтобы не крикнуть: «Дайте мне отлить не- много хереса в воды Темзы».

Такое же спокойствие, благодарение богу, овладело всей нашей труппой. Мы сохраняли до конца этого стран- ного спектакля какую-то осторожную размеренность. Так продолжалось до того момента, когда, уже под занавес, Бенедикт, глядя на меня с комической нежностью, ска- зал: «Стой! Рот тебе зажму я!» — а я, предостерегающе подняв руку, шепнула ему: «Подожди», поднесла ко рту

кубок, не переводя дыхания, выпила половину и, оставив кубок, замерла в его объятиях.

Назавтра я за весь спектакль не притронулась к спиртному. Все меня простили. Говорили, что я не виновата. Но я почему-то чувствовала, что па этом моя артистическая карьера закончилась. Мне уж никогда не сыграть Миранды. Не сыграть миссис Милламант, миссис Малапроп, да и вообще о театре можно забыть. Против судьбы не пойдешь. Мне потребовалось много времени, чтобы понять эту истину, но зато теперь я всегда знаю, когда я нокаутирована.

# Леонард Меррик

## *Кукла в розовом платье*

Нет, я не могу работать — это забавное существо, расположившееся среди страниц четвертого акта, меня положительно отвлекает. Вы спрашиваете, что это за существо? Большая заводная кукла в розовом шелковом платье, которая умеет ходить, говорить и даже поет несколько оперных арий,— безумно дорогая игрушка. Вам хочется знать, зачем старый писатель держит на своем рабочем столе куклу? Ее принесли час назад из магазина с Больших Бульваров, я вынул ее из коробки полюбоваться и в который раз задумался о непостижимости женской души: кукла напомнила мне о женщине, которая пришла просить меня о помощи, в слезах молила и убеждала, а когда я наконец в нее поверил, она... Ах, бог с ней, с куклой, сейчас я расскажу вам все по порядку.

Случилось это в то время, когда на мои пьесы ломился весь Париж и имя «Поль де Варенн» было у всех на устах. Увы, мода переменчива. Сейчас моя слава уже не та, другие, молодые, начинают оттеснять меня, но в те дни я властвовал на сцене безраздельно.

Но слушайте, слушайте! Было чудесное весеннее утро, я стоял у открытого окна, ловя разлитый в воздухе запах цветущей сирени. В кабинет вошел Максим, мой секретарь.

— Мадемуазель Жанна Лоран просит принять ее, мсье. Я удивился.

— Кто такая мадемуазель Жанна Лоран?

— Актриса, мсье. У нее нет ангажемента.

— Очень жаль, но я сейчас занят. Скажите, пусть мне напишет.

— Дама писала нам тысячу раз, — заметил Максим, подходя к двери.— Жанна Лоран — одна из тех, чьими грудями полнится наша мусорная корзинка.

— Тогда передайте ей, что я очень сожалею, но сделать для нее ничего не могу. Mon Dieu! <sup>1</sup>. Чтобы я стал тратить время на бездарностей — придет же такое в голову! Кстати, а почему вы взяли на себя труд просить за нее? Откуда это неожиданное участие? Надо полагать, наша просительница хорошенькая?

— Да, мсье.

— И молоденькая?

— Да, мсье.

Я заколебался. Судьба этой актрисы начинала интересоваться меня, не скрою, но, может быть, виной всему оказалась сирень — для меня сирень и хорошенькая женщина сочетаются так же естественно, как кофе и сигара.

— Пусть войдет! — согласился я, сел за стол и взял в руки перо.

— Мсье де Варенн... — Она в волнении остановилась у порога.

Глупец этот Максим — хорошенькая! Жанна Лоран была красавица — или совершенно некрасивая женщина, смотря на чей вкус. Я, во всяком случае, сразу ею пленился, и не будь она актрисой, которая пришла ко мне кланчить роль, я бы, пожалуй, обрадовался возможности провести четверть часа в ее обществе. Но...

— Я могу уделить вам всего несколько минут, мадемуазель, — сказал я, роясь в стопе чистой бумаги.

— Вы очень добры, мсье.

И голос ее мне понравился.

— Присядьте, прошу вас, — сказал я более благо-склонно.

— Мсье, я пришла просить вас о помощи. Я бьюсь и бьюсь уже много лет, но передо мной глухая стена. Я дошла до отчаяния. Будьте великодушны и протяните мне руку!

— Моя дорогая мадемуазель... э... Лоран, — ответил я, — поверьте, я прекрасно понимаю, как труден ваш путь, и сочувствую вам, но ведь я не антрепренер, я не могу предложить вам ангажемента.

Она горько усмехнулась.

---

<sup>1</sup> Мой бог! (франц.).

— Вы — де Варенн, одного вашего слова достаточно, чтобы передо мной открылась любая дверь.

Интересно, сколько ей лет? Около двадцати восьми, решил я. А может быть, гораздо меньше или гораздо больше.

— О, вы преувеличиваете мое влияние, как и все актеры, которых я соглашался принять. Сколько их сидело в этом кресле, и все были уверены, что одно мое слово — и перед ними откроются все двери. Какая чепуха! Ну подумайте сами, что я могу сделать?

— Вы можете дать мне роль в Париже. Вы не антрепренер, но любой антрепренер возьмет актрису, которую рекомендовали вы. Да, к вам обращаются сотни актеров, и я всего лишь одна из толпы, знаю, знаю... Но подумайте, мсье, ведь от этого зависит моя судьба! Если мне кто-нибудь не поможет, я всю жизнь так и буду напрасно обивать пороги парижских театров, буду до старости писать парижским антрепренерам, зная, что ни один из них никогда не пришлет мне ответа. Если мне кто-нибудь не поможет, я так и погибну в глуши!

Ее волнение растрогало меня. Я так часто выслушивал мольбы и просьбы, что они обычно наводили на меня только скуку, но сейчас... Если бы у меня была свободная какая-нибудь маленькая роль, я бы, пожалуй, согласился дать ее этой женщине на пробу.

— Я всю жизнь пишу для сцены и, естественно, не могу не знать, как трудна карьера актрисы, а вот вам о трудностях, с которыми сталкивается писатель, ничего не известно. Сейчас ни одна моя пьеса не репетируется и лично я ничего не могу предложить вам, а писать директору театра или кому-нибудь из коллег-драматургов с просьбой дать роль, пусть самую скромную, актрисе, которую я никогда не видел на сцене, — простите, это невозможно...

— Скромная роль мне не нужна, — сказала она спокойно.

— Что?

— Я играю героинь.

Я широко раскрыл глаза, лишившись от такой наглости дара речи.

— Вы сумасшедшая, — наконец сказал я и встал со стула.

— Я произвожу такое впечатление, мсье?

— Несомненно! Иначе не пришли бы ко мне жаловаться. Вы стоите на самой нижней ступеньке лестницы

и требуете, чтобы я единым взмахом вознес вас на самый верх. Конечно, вы сумасшедшая... или дилетантка.

Она тоже поднялась — судя по всему, признавая свое поражение. И вдруг рассмеялась, в отчаянии прижав к груди руки.

— Я дилетантка! — срывающимся голосом воскликнула она. — Что ж, тогда я расскажу вам об этой дилетантке, мсье де Варенн!.. Я начала учиться своему ремеслу в бродячей труппе, когда мне было шесть лет. Мои сверстники беззаботно играли в своих солнечных, веселых детских, а я уже выступала на подмостках. Едва мне исполнилось пятнадцать лет, как меня, жалкого гадкого утенка, сделали примой, мне приходилось выучивать по пять-шесть ролей в неделю, и если я плохо с ними справлялась, меня били. Я ходила смотреть знаменитых актеров не ради тех нескольких франков, что мне платили в моем бродячем театре — я к тому времени уже прилично зарабатывала, — но ради того, чтобы учиться. Я часами простаивала под дождем у дверей модных портных и магазинов, чтобы подсмотреть, как знатные дамы выходят из коляски и говорят с лакеем. И если мне удавалось поймать их жест или интонацию, я была на седьмом небе от счастья, пусть ноги мои подламывались от усталости, а с вымокшего платья ручьями текла вода. Я играла добродетельных женщин и интриганок, нишенок и королев, инженерю и старух. Я родилась и выросла на сцене, я столько лет страдала и голодала там. Театр — моя жизнь, моя судьба! — В голосе ее задрожали слезы. — А вы говорите «дилетантка».

Позволить ей сейчас уйти было совершенно невозможно. Она задела меня за живое; сам не знаю почему, но я в нее поверил. Как же быть? Я стал соображать, расхаживая по кабинету.

— Садитесь-ка, — сказал я. — Давайте сделаем так: я приеду в город, где вы будете играть, и посмотрю вас. Когда следующий спектакль?

— У меня сейчас нет ангажемента.

— *Bigre!*<sup>1</sup> Хорошо, напишите мне, когда снова поступите куда-нибудь.

— Нет! — испугалась она. — Нет, вы к тому времени обо мне забудете, ваш интерес угаснет или судьба помешает вам приехать.

<sup>1</sup> Черт возьми! (*франц.*).

— Почему вы так думаете?

— Сердце говорит мне, что так все и кончится. Сейчас или никогда! Завтра мне уже не на что надеяться. Мсье, умоляю...

— Нет, сегодня я ничего не могу сделать, ведь я же не видел вашей игры.

— Я прочту вам что-нибудь.

— Zut!<sup>1</sup>

— Вы посмотрите меня на репетиции.

— А вдруг у вас ничего не получится? Да надо мной все станут смеяться, и поделом.

В эту минуту нас прервали — вошел лакей с докладом, что приехал мой старинный друг де Лаварден. И тут я совершил глупость. Я сказал мадемуазель Жанне Лоран, что вынужден с ней проститься, но она с таким жаром умоляла меня продолжить наш разговор после ухода моего гостя, что я уступил и позволил ей остаться. Зачем? Ведь я и так обещал ей больше, чем хотел. Наверное, я, сам того не замечая, поддался ее обаянию, а может, во мне просто заговорила жалость — она чутьем угадала, что если я сейчас с ней прощусь, она никогда ничего не дождется. Я велел лакею проводить ее в соседнюю комнату, и в кабинет вошел генерал де Лаварден.

Когда-то мы учились с ним в одном коллеже, потом служили в одном полку и были очень дружны. Выйдя в отставку, генерал поселился в Сан-Уандрилле, неподалеку от Кодебек-ан-Ко, где у него был chateau<sup>2</sup>, и в последние годы мы с ним виделись не часто. Я очень обрадовался встрече.

— Как поживаете, мой друг? Я и не знал, что вы в Париже.

— Я приехал только вчера, — отвечал он, — и видите — уже у вас. Но скажите, может быть, я не вовремя? Я не велел лакею тревожить вас, если вы работаете. Так что признавайтесь без стеснения, если я незваный гость.

— Не незваный, а желанный! Кладите трость и шляпу, усаживайтесь поудобнее и рассказывайте. Как Жорж?

Жорж был его сын, капитан де Лаварден, очаровательный молодой человек, красавец и умница, которому все прочили блестящую карьеру.

— Жорж ничего, — сказал генерал не очень уверен-

<sup>1</sup> К черту! (франц.).

<sup>2</sup> Загородный дом (франц.).

но. — Он со мной сегодня обедает. Я прошу и вас составить нам компанию, если вы свободны.

— Сегодня вечером? Ну конечно, буду очень рад.

— Это одна из причин, почему я к вам явился — пригласить пообедать с нами. — Он снова посмотрел на мой рабочий стол. — Но вы действительно не спешите вернуться к тому, от чего я вас оторвал?

— Что за глупости! Берите сигару... Так что же привело вас в Париж? Кайтесь!

— Я приехал повидать Жоржа, — вздохнул он. — Сказать вам правду, мой друг, я страшно встревожен.

— Надеюсь, не из-за Жоржа?

— То-то и беда, что из-за Жоржа.

Генерал с досадой крикнул.

— Неужели? Что же случилось?

— Мне нужен ваш совет, мой друг. Жорж, мой сын, мальчик, на которого я возложил столько надежд... — его грубоватый, низкий голос дрогнул, — влюбился в актрису.

— Жорж? В актрису?!

— Что вы на это скажете?

— А вы уверены?

— Уверен? Да он сам заявил мне, что любит ее. Но вы думаете, это все? Болван хочет на ней жениться!

— Жорж хочет жениться на актрисе?

— Voila!<sup>1</sup>

— Мой друг, мой дорогой друг, — прошептал я.

— Невероятно, правда? Мы пребываем в счастливом заблуждении, что нам ведомы души и помыслы наших детей, и вдруг в один прекрасный день оказывается, что ваш ребенок — ребенок? — нет, давно уже взрослый мужчина. Ведь Жоржу скоро тридцать — оказывается, что человек, которым вы гордитесь, которым все восхищаются, потерял голову из-за ничтожной комедиантки и хочет погубить ради нее всю свою карьеру!

— Ну, карьеру-то он, может быть, и не погубит, — возразил я.

— Мы не в Англии, мой друг, у нас порядочные люди на актрисах не женятся. С вами я могу быть откровенен: вы пишете для театра и потому вам приходится вращаться среди этих людей, но к их кругу вы не принадлежите.

— Вы пробовали воззвать к его рассудку?

— Еще бы!

<sup>1</sup> В том-то и дело! (франц.).



— И что он вам ответил?

— Он мне ответил — нет, вы только послушайте! — что, к несчастью, эта девушка не любит его.

— Не любит? Значит, он вне опасности!

— Ах, неужто вы действительно в это верите? Да она спит и видит во сне выскочить за него, только хитрит и притворяется, чтобы вернее его завлечь. А он заявил мне, что не отступится и будет добиваться ее согласия. Ну, положеньице! Честь семьи зависит от авантюристки, которая не желает снизойти до моего сына, — каково! Что делать? Конечно, я могу не давать согласия и оттягивать свадьбу, но расстроить ее не в моих силах... Вот если бы можно было уладить дело с ней, я заплатил бы за это любой ценой.

— Кто она?

— А, какое-то ничтожество. Он говорит, она совершенно неизвестна. Вам, конечно, ее имя ничего не скажет, но я подумал, вы можете навести о ней справки и решить, принадлежит ли она к тому сорту женщин, с которыми можно договориться без шума.

— Непременно, я все сделаю. Где она, в Париже?

— Да, сейчас в Париже.

— Как ее зовут?

— Жанна Лоран.

Я открыл рот.

— Что?!

— Вы ее знаете?

— Она сидит в соседней комнате.

— Как?

— Да, она пришла ко мне по делу.

— Mon Dieu! Ну и чудеса!

— Вы не представляете, какая это удача. До сегодняшнего дня я вообще не подозревал о ее существовании.

— Какая она?

— Так вы ее никогда не видели? Сейчас я предоставлю вам эту возможность. Она пришла как просительница. Ей нужна протекция в театре. Так что вам не придется разоряться, мой друг. Она у нас в руках! Я скажу ей, кто вы.

— Как мне вести себя с ней?

— Предоставьте все мне.

Я вышел на лестницу и открыл дверь в салон. Он был весь завален иллюстрированными журналами, но я не увидел у нее в руках номера — она сидела против портрета

Моны Лизы и старалась повторить ее таинственную улыбку. Да, передо мной была актриса, которая не тратила даром ни одной минуты.

— Пойдемте со мной, мадемуазель.

Мой друг встал, с ненавистью глядя на нее.

— Это генерал де Лаварден, — сказал я.

Она поклонилась строгим, грациозным движением. В нем было приветствие де Лавардену, укор мне за то, как я представил их друг другу, и достоинство аристократок, которых она изучала под дождем.

— Мадемуазель, вы слышали, как лакей докладывал о мсье де Лавардене, и не сказали мне, что знакомы с его сыном.

— Non, monsieur...<sup>1</sup> — прошептала она.

— А когда вы умоляли меня помочь вам, вы скрыли, что собираетесь выйти замуж и вам придется оставить сцену. Не в моих правилах пользоваться своим влиянием ради тех, кто в этом не нуждается. Прощайте!

— Я... я вовсе не собираюсь замуж. — Она побледнела.

— Глупости, мне все известно. Рано или поздно вы выйдете за него замуж, это ясно как день, и он, конечно, потребует, чтобы вы оставили сцену. Помогать женщине, которая меня морочит, — нет, благодарю покорно! Я более не задерживаю вас, мадемуазель.

— Я отказывалась выйти за него замуж. — Ее голос дрожал. — Клянусь вам, это правда. Спросите его, он скажет вам то же.

— Но вы продолжаете с ним видеться! — наконец обрушил на нее свой гнев генерал де Лаварден. — Он все свое время проводит возле вас, посмейте отрицать это! Если ваш отказ не уловка, как объяснить такую непоследовательность? Зачем вы держите его?

— Потому что я недостаточно сильна, мсье, — отвечала она, — и когда его нет, я тоскую о нем.

— Ага, тоскуете! Значит, вы признаете, что влюблены в него?

— Нет, мсье. — Она задумалась. — Нет, я не влюблена в него, и отказ мой не уловка, хоть мало кто поверит, чтобы такая женщина, как я, могла отвергнуть вашего сына. Я никогда не выйду замуж, если ради этого мне придется принести в жертву театр. Предать мое искусство — нет, сцена слишком много для меня значит. Стало быть, я не

<sup>1</sup> Нет, мсье... (франц.).

влюблена в него, потому что любящая женщина думает только о своем избраннике, все остальное для нее не существует.

Де Лаварден снова крикнул — на сей раз смущенно.

— Да, но это несправедливо по отношению к моему сыну, — сказал он. — Говорите вы очень разумные слова — что вы актриса, что вы любите сцену и хотите посвятить себя своему призванию, а вот поступаете легкомысленно — зачем отталкивать его и в то же время удерживать? Его женитьба на вас будет несчастьем и для вас и для него: вы погубите его жизнь и испортите свою. Enfin<sup>1</sup>, сделайте же так, чтобы он забыл вас! Зачем вы продолжаете с ним видеться?

Она вздохнула.

— Это нехорошо, я знаю.

— Нехорошо, вы говорите? Это противоестественно! — подхватил я.

— Нет, мсье, в моих поступках нет ничего противоестественного, сейчас вы это поймете. За всю свою бродячую жизнь я встретила только одного человека, который понял, что у бьющейся в нищете и безвестности актрисы может быть душа благородной женщины. Этот человек — ваш сын, мсье де Лаварден. Раньше я слышала учтивые, возвышенные слова только на сцене, моей руки касались с уважением и трепетом только при огнях рампы... Мы познакомились в провинции, шел «Рюи Блаз», и я играла королеву, в антракте директор привел его ко мне за кулисы. Как он отличался от всех, кого я знала! Мы с ним стали дружны, и только много, много времени спустя он сказал, что любит меня. Я была счастлива его дружбой, а вы хотите, чтобы я никогда больше не видела его — это же страшно!

Если она не влюблена в него, то до такой степени близка к этому, что катастрофа может произойти в любую минуту. Де Лаварден тоже это понял. Во взгляде, который он устремил на меня, я прочел страх.

— Однако вы сами признались, что поступаете дурно, — снова повел наступление я. — Конечно, вам довольно его дружбы, у вас есть театр, а он? Он любит вас так сильно, что забыл о своем долге. Вы хотите, чтобы он провел всю жизнь, вздыхая о вас? Это чудовишно. А брак ваш будет

<sup>1</sup> Словом (франц.).

роковой ошибкой. Если Жорж де Лаварден хоть немного вам дорог, освободите его! Запретите ему бывать у вас.

— Он не бывает у меня. Я ни разу не приняла его в своем доме.

— Ну, писать к вам, посылать цветы, приглашать в рестораны, на прогулки.

— Я никогда не позволяла ему тратить на меня деньги. Вы плохо обо мне думаете, мсье.

— Мы вовсе не обвиняем вас, мадемуазель. Напротив, мы взываем к вашему великодушию и к вашему мужеству. Расстаньтесь с ним!

— Это очень жестоко, — со стоном вырвалось у нее.

— Сделайте это ради вашего избранника. И потом, чем больше вы будете мучиться, тем тоньше будет становиться ваша игра. Актриса должна страдать.

— Мсье, я давно смиренно несу свой крест.

— Не дружбой единой жив человек. У вас театр, карьера.

— Карьера, это у меня-то?

— Вы же знаете, мне сейчас трудно что-нибудь обещать, по, поверьте, я не из тех, кто забывает добро.

Де Лаварден снова крикнул — теперь уже растроганно.

— Ну хорошо, я скажу ему, что нам не должно видеться, и что? Он придет в театр и увидит меня на сцене. Я не убью его любви, лишив себя его общества. Да он и не примет отказа. Выйдя после спектакля из театра, я увижу его у подъезда.

Увы, она была права.

— Умная женщина всегда найдет способ дать мужчине отставку, а уж тем более умная актриса, — возразил я. — Скажите ему что-нибудь, после чего он сам не захочет видеть вас. Не вы первая так поступите.

— Вы... вы хотите, чтобы я заставила его презирать себя?

— Это было бы неплохо.

— Превратить его уважение в ненависть?

— Вы проявите благородство, мадемуазель.

— Солгать и опозорить себя?

— Но вы сделаете это ради блага человека, который вам дорог!

Глаза ее гневно засверкали.

— Никогда! Вы требуете слишком много, мсье де Варенн. По вашей прихоти я должна принести себя в жертву — да почему? Что вы-то для меня сделали? Вы остались

глухи к моим мольбам, а на мое отчаяние и слезы вы ответили туманным обещанием когда-нибудь, при случае, вспомнить, что я существую на свете. Нет, не ждите, что я откажусь от дружбы Жоржа де Лавардена!

— Вы зря теряете свое красноречие, мадемуазель,— сказал я.— Я ничего от вас не требую, у меня нет на это никаких прав. Но женщина с сердцем последовала бы на вашем месте моему совету, и не ради меня, не ради генерала, а ради человека, который ее любит. Вы не откажетесь от дружбы Жоржа де Лавардена? *Vien!*<sup>1</sup> Значит, вы неспособны думать ни о ком, кроме себя, и вам не дорого его счастье.

В глазах ее показались слезы. Она закрыла лицо руками. Мы с генералом снова обменялись быстрыми взглядами.

Я продолжал:

— Вы упрекнули меня, что я остался глух к вашей просьбе, — это незаслуженное обвинение. Я обещал вам сделать все, что было при данных обстоятельствах возможно, и собирался непременно исполнить свое обещание. Не могли же вы в самом деле ожидать, что я дам вам роль, не зная, на что вы способны! Но если вы сохраните мое расположение, я, повторяю, приеду посмотреть вас в первом же спектакле с вашим участием.

— И тогда? — спросила она.

— И тогда, если мне понравится ваша игра, вы получите хорошую роль.

— Роль героини?

— *Vigre!* Этого я не обещаю, речь сейчас идет о хорошей роли, и в Париже.

— Вы даете слово?

— Даю честное слово, но при условии, что мне понравится ваша игра.

— И вы посмотрите первый же спектакль с моим участием?

— Первый же спектакль с вашим участием.

Она задумалась. Молчание длилось и длилось, мне начало казаться, что никто из нас не решится его прервать. Я закурил сигарету и без слов протянул ящик де Лавардену. Он покачал головой, не отрывая глаз от лица этой женщины.

— Хорошо, — наконец произнесла она, — я согласна.

<sup>1</sup> Что ж! (*франц.*).

— Ну вот и умница.

— Вам нужно, чтобы капитан де Лаварден отказался от мысли жениться на мне, не так ли?

— Да.

— Прекрасно. Я знаю, что может оттолкнуть его. Сегодня же вечером я все сделаю. Но вы, господа, вы должны будете помочь мне. Вам придется прийти ко мне домой вместе с ним. Вы, конечно, сумеете придумать какой-нибудь предлог, правда? Итак, сегодня в девять. Он знает, где я живу.

Она медленно пошла к двери.

Де Лаварден в три прыжка догнал ее и схватил за руки.

— Мадемуазель, — пробормотал он, — о, как мне благодарить вас, мадемуазель. Я отец, и я люблю своего сына, но — будь все иначе, я, клянусь, сам просил бы вас оказать нам честь и принять предложение моего сына.

Ах, как умела кланяться эта бледная, изможденная женщина! Сколько выразительности было в каждом ее движении!

— Au revoir<sup>1</sup>, господа, — сказала она.

Мы с де Лаварденом рухнули в кресла. Ну и ну!

— Поль! — вскричал он. — Поль, какие мы скоты!

— Еще бы. Но ведь теперь вам легче?

— Да у меня с души просто камень свалился. Но, интересно, что она собирается сказать ему? Скорее бы все кончилось. А знаете, у меня, наверное, не хватит духу пригласить его к ней. Лучше сделайте это вы. И потом, вдруг он не согласится?

— Согласится, — уверил его я, — и еще с какой радостью. Ура! — Я вскочил с кресла и хлопнул его по плечу. — Ура, она не выйдет замуж за Жоржа, она не погубит себя! Ее брак с вашим сыном был бы национальным бедствием.

Де Лаварден побагровел.

— Что?!

— Нет, нет, я не хочу сказать ничего обидного о Жорже, я просто думаю... я думаю... боюсь вымолвить, что я думаю, боюсь даже подумать! — Я в волнении метался по кабинету. — Раз в несколько столетий, Жюль, случается чудо: народ рождает актрису, наделенную даром, в котором заключено и величайшее счастье и величайшее проклятье. Ее талант совершает переворот в театре, а имя

<sup>1</sup> Прощайте (франц.).

остается в памяти людей века. И если поклоннику театра вроде меня посчастливится открыть такую актрису и представить ее миру в своих пьесах, этот человек чувствует то же, старый вы военный сухарь, что, наверное, чувствовали египетские фараоны, когда воздвигали свои пирамиды, которым суждено пережить тысячелетия!

Мое волнение поразило его.

— Вы считаете, что она гениальна? Неужели?

— Я не смею так считать, я гоню от себя эту мысль, — лепетал я, — потому что я не видел чудес. Но... но мне кажется, что это так!

Мы обедали у Вуазена. Было решено, что де Лаварден заведет разговор об увлечении сына, и, когда он это сделал, я сказал Жоржу:

— Надеюсь, вы не сердитесь, что ваш отец все рассказал мне, ведь мы с ним такие старые друзья.

Беседа быстро приняла нужное направление. Было ясно, что Жорж преклоняется перед Жанной Лоран. Мне очень понравилось, как он говорил о ней — просто и искренне. Когда я сделал вид, что не вижу ничего необыкновенного в его намерении жениться на актрисе, я почувствовал себя предателем, не скрою.

— Я тоже принадлежу к кругу людей искусства, — сказал я, — и, естественно, социальные различия для меня значат меньше, чем для вашего отца.

— Мадемуазель Лоран, — благоговейно произнес он, — заслуживает самого глубокого уважения. Если бы она согласилась стать моей женой, все, кто знает ее, были бы вправе завидовать мне. Возможно, она не выйдет победительницей из ученого спора с профессором и искусство светской болтовни не ее стихия, но она умна, благородна и добра.

Дальше все было разыграно как по писаному: за ликером мне неожиданно пришла в голову идея: «А знаете что, покажите ее нам. Право, *mon ami*<sup>1</sup>, поедemте к ней!»; генерал разыграл удивление (ужасно дилетантски); я принялся убеждать (с профессиональным пылом); Жорж заколебался, боясь оскорбить ее бестактностью и заранее радуясь впечатлению, которое она произведет на нас. Как же быть, он ни разу у нее не был, и вдруг явиться без приглашения, и в такой час...

— Вздор, — успокоил его я, — у актеров совсем другие

<sup>1</sup> Мой друг (*франц.*).

правы. И потом, моя визитная карточка откроет перед нами двери ее дома, уверяю вас!

Бедняжка, как доверчиво он шел в расставленную ему ловушку! Было только половина десятого, а наш фиакр уже перевозил нас на левый берег.

Мы остановились в темной, глухой улочке возле старого, облупленного дома. Представляю, как сжималось при виде его сердце Жоржа.

— Слава не пришла еще к мадемуазель Лоран, — сказал он просто.

«Молодец, Жорж!» — подумал я. В полутемном парадном шмыгнувший навстречу нам чумазый, нестриженный мальчишка лет десяти велел идти на пятый этаж. На наш настойчивый стук дверь наконец отворилась, и растрепанная старуха в лохмотьях не слишком любезно объяснила, что мадемуазель нет дома. Видно, мы приехали слишком рано. Не предупрежденная о нашем визите старуха стояла на пороге, разглядывая нас и не приглашая пройти. Срочно требовалось вмешательство режиссера.

— Скоро ли вернется мадемуазель? — спросил я.

— Mais поп<sup>1</sup>.

— Мы подождем, — решил я, и старуха, судя по всему, квартирная хозяйка — с неохотой провела нас в комнату, где при свете чадающей лампы нам прежде всего оросилась в глаза бутылка коньяка на столе. Старуха явно успела к ней приложиться, и не один раз... Она пробурчала, правда, уже чуть менее враждебно:

— Видать, Жанна не знала, что вы придете, а то бы не ушла.

Жорж вздрогнул — как фамильярно она назвала мадемуазель Лоран Жанной.

— Мадемуазель ваша приятельница? — спросил я в недоумении.

— Почему приятельница? Дочь она мне, а никакая не приятельница.

Так вот оно что! Значит, девушка нарочно ушла из дому, пусть ее возлюбленный посмотрит, с кем ему предстоит породниться. Воображаю, как ужаснулся бедный малый. Я украдкой поглядел на него — в лице у него ни кровинки. Генерал глубоко вздохнул и наклонил голову — слава богу, Жорж спасен!

<sup>1</sup> Нет (*франц.*).



— Выпейте по рюмочке, господа, чего так-то сидеть, — предложила она.

— Нет, нет, благодарим! — поспешил отказаться я.

Она налила себе рюмку, потом другую, словно забыв о нашем присутствии. Воцарилось молчание. Я подумал, что ждать нам, собственно, уже нечего, и вдруг старуха заговорила — она принялась рассказывать о Жанне. Постепенно она увлеклась и, потягивая коньяк, начала посвящать нас в отвратительные подробности собственной карьеры. Я немало повидал на своем веку, но, поверьте, эта женщина заставила меня содрогнуться. Взять в жены дочь этого исчадия мог только сумасшедший или святой. А старуха все бормотала, чему-то хихикала, и вдруг я с ужасом заметил в ее увявшем, истасканном лице сходство с женщиной, которая пришла ко мне сегодня утром просить о помощи. По-моему, Жорж тоже заметил. Перед нами сидела Жанна, только постаревшая, опустившаяся, жалкая, такая, какой она может стать лет через тридцать.

Выбрать себе в жены девушку с такой наследственностью, найти невесту среди отбросов общества!

На Жорже не было лица. Я понимал: еще минута — и он не выдержит.

— Пойдемте, мой мальчик, — тихо сказал я. — Мужайтесь. Вы забудете ее, поверьте мне. А сейчас довольно.

Но старуха услышала.

— Куда же вы? Нет, постойте! Сдается мне, что вы и есть тот самый прощельга, что хочет на ней жениться, а?.. А я-то, я-то с ними как с порядочными разговариваю. Ловко же вы меня обвели вокруг пальца, шпионы несчастные! Вынюхивать приехали, выведывать, да? — И она двинулась на меня.

Я был вынужден время от времени вставлять какие-то слова в поток ее болтовни, это верно, но почему она избрала объектом своей ярости меня? Она вплотную подступила ко мне, сжав кулаки, и вдруг тихо, так тихо, что никто, кроме меня, не слышал, спросила:

— Ну что, понравилась вам моя игра?

Я остолбенел — Жанна! Но она уже снова превратилась в пьяную старуху и принялась поносить Жоржа.

Я вытащил из бумажника визитную карточку и нацарапал несколько слов.

— Передайте вашей дочери, когда она вернется, — сказал я, протягивая ей карточку. Там было написано: «Отдаю вам главную роль в моей пьесе!»

Она скосила глаза на мои каракули, но, клянусь, даже тени радости не мелькнуло в ее искаженном злобой лице. Актриса осталась верна характеру, который она создавала, даже в тот миг, как читала слова, возносящие ее из безвестности к славе.

— Что, видно, свадьбе-то не бывать? Из-за меня даете отставку дочке? Ну и правильно делаете, нечего, а то она больно много понимать о себе стала, дрянь такая. О матери-то совсем не думает.

— Мадам Лоран, — холодно сказал Жорж, и голос его разнесся по всей комнате, — я никогда так не восхищался вашей дочерью, никогда так не жалел и не любил ее, как сейчас, потому что я понял, что у Жанны нет и не было матери.

Первой опомнилась она. По лицу ее побежали слезы. Я понял, что сейчас произойдет взрыв.

— Простите меня, милый! — вскричала она. — Это я, Жанна, и я люблю вас. Я думала, что театр мне дороже всего на свете, но я ошиблась. — Она не заметила, как моя визитная карточка выскользнула у нее из рук и упала на пол. — Не сердитесь, ведь я сделала это ради вас. Мне так стыдно. Если моя любовь не унижит вас, я стану вашей женой, потому что никто никогда не сможет любить вас сильнее, чем я.

Они бросились друг другу в объятия. Де Лаварден вытащил меня в коридор. Старый дуралей расчувствовался чуть не до слез.

— Это ужасно! — пробормотал он.

— Это чудовищно! — подтвердил я.

— Но она, мой друг, она! Какова? Удивительная женщина.

— Она настоящая, большая актриса, — торжественно произнес я.

— Я никогда не дам согласия на их брак, — сказал генерал, пряча глаза, — как вы думаете?

— Об этом не может быть и речи! Пусть страдают, мне их ничуть не жалко.

— Ах вы обманщик! Вон у вас на носу слеза.

— А у вас две! — огрызнулся я. — Стыдно-с, генерал.

Почему же кукла в розовом платье заставляет меня вспоминать об этой истории? Завтра Новый год, и кукла — подарок для моей крестницы, а мать моей крестницы зовут

Жанна де Лаварден. О, она прекрасная мать, дети ее обожают, генерал ее боготворит, а Жорж — Жорж больше всего на свете гордится своей женой. Но когда я начинаю думать о том, какие пьесы я мог бы написать для нее, о том, какой актрисы лишился театр, о том, что женщина отказалась от славы, от мировой известности ради счастья, всего лишь счастья, я — *Morbleu!*<sup>1</sup> — нет, я никогда не прощу эту глупышку!

---

<sup>1</sup> Черт побери! (*франц.*).

# Сомерсет Моэм

## *Голос горлицы*

Я не мог решить, нравится мне Питер Мелроуз или нет. Он опубликовал роман, вызвавший некоторый интерес среди довольно скучных, но весьма достойных людей, вечно рыщущих в поисках новых талантов. Пожилые джентльмены, у которых нет иных дел, кроме как ходить на званые завтраки, перевозили его с девичьим пылом, а гибкие миниатюрные женщины, не ладившие со своими мужьями, считали, что он подает надежды. Я прочел несколько рецензий. Они явно противоречили друг другу. Одни критики заявляли, что этот первый роман выдвинул автора в число лучших английских романистов; другие ругали его. Я не прочел его, ибо по опыту знал, что, если книга вызывает сенсацию, следует читать ее не раньше, чем через год. И просто удивительно, до чего же много оказывается книг, которые вовсе не нужно читать.

Но случилось так, что в один прекрасный день я встретился с Питером Мелроузом. Я получил приглашение на коктейль и принял его, предчувствуя неладное. Прием был на самом верхнем этаже перестроенного дома в Блумсберри, и, когда я одолел четыре пролета, у меня слегка перехватило дыхание. Хозяйками дома были две очень полные дамы средних лет. Женщины такого типа разбираются в автомобильных моторах, любят бродить под дождем и есть прямо из бумажных пакетов, но при всем том остаются женственными. Гостиная, которую они называли «наша мастерская» (хотя, располагая вполне достаточными средствами к существованию, ни одна из них в жизни палец о палец не ударила), была большой пустой комнатой; обстановку составляли стулья из нержавеющей стали

(они выглядели так, словно с трудом выдерживали весьма солидный вес своих владелиц), столики под стеклом и широкая тахта, покрытая шкурой зебры. Стены были увешаны книжными полками и картинами наиболее известных в Англии подражателей Сезанна, Брака и Пикассо. На полках, помимо нескольких любопытных книжечек восемнадцатого столетия (ибо порнография не имеет возраста) стояли только произведения ныне живущих авторов, большей частью первые издания. И я был приглашен для того, чтобы подписать кое-какие собственные книги.

Народу было очень мало: из женщин — еще одна, должно быть, младшая сестра хозяек, потому что, хоть она тоже была полной, рослой и энергичной, но во всем этом уступала им. Я не расслышал, как ее зовут, но она откликнулась на имя Буфалз. Из мужчин кроме меня был Питер Мелроуз. Это был совсем молодой человек, лет двадцати двух — двадцати трех, среднего роста, но с нескладной фигурой, из-за чего он казался квадратным. У него была красноватая кожа, слишком туго обтягивающая лицо, довольно большой семитский нос, хоть Мелроуз и не был евреем, и тревожные зеленые глаза под кустистыми бровями. В каштановых, коротко подстриженных волосах виднелась перхоть. На нем была коричневая норфолкская куртка и серые фланелевые брюки — так одеваются студенты художественных школ, шатающиеся с непокрытой головой по Кингз-роуд в Челси. Малопривлекательный молодой человек. Манеры его также не отличались привлекательностью. Он был заядлым спорщиком, самоуверенным и нетерпимым к чужому мнению. Он искренне презирал своих собратьев по перу — писателей и высказывался о них весьма энергично. Удовлетворение, которое я получал от его бойких наскоков на авторитеты — сам я считал, что он впадает в крайность, но из осторожности ему не перечил, — портила лишь уверенность в том, что, не успею я выйти за порог, он точно так же расправится и с моей собственной репутацией. Он умел говорить. Он был занятен и временами остроумен. Я бы смеялся над его остротами еще охотнее, если бы эти три дамы не реагировали на них слишком уж бурно. Они к месту и не к месту хохотали во все горло над каждым его словом. Он говорил немало глупостей, потому что болтал без умолку, но сказал также и кое-что умное. У него был свой взгляд на мир, — не устоявшийся и не столь оригинальный, как ему казалось, но полный искренности. Более всего удивляла его страстная,

всесокрушающая жизнеспособность, которая, словно жаркое пламя, сжигала его, прорываясь с нестерпимой яростью. Это пламя бросало отблеск на всех окружающих. В Мелроузе кроме удивительной его жизнеспособности было что-то, и, возвращаясь домой, я не без любопытства размышлял о том, что из него выйдет. Трудно сказать, был ли у него талант (так много юпцов могут написать толковый роман — это еще ничего не значит), но мне почудилось, будто по человеческим качествам Мелроуз несколько отличался от других. Он был из тех, которые в тридцать лет, когда время смягчает резкость их характера и жизненный опыт подводит их к выводу, что они не так умны, как думали раньше, вдруг превращаются в интересных и приятных людей. Но я не рассчитывал встретиться с ним когда-нибудь еще.

Поэтому я удивился, получив несколько дней спустя его роман с чрезвычайно лестным посвящением. Я прочитал роман. Он был явно автобиографическим. Действие происходило в маленьком городке в Сассексе, действующие лица принадлежали к высшим слоям буржуазии и лезли из кожи вон, лишь бы создать у других впечатление, что их доходы больше, чем есть на самом деле. Юмор у Мелроуза был довольно грубый и пошловатый. Он меня раздражал, так как в основном это были насмешки над людьми за то, что они стары и бедны. Питер Мелроуз не знал, каково приходилось этим несчастным, не знал, что усилия, необходимые, чтоб сражаться с нищетой, заслуживают скорее симпатии, нежели осмеяния. Но в этом романе были описания местечек, мелкие зарисовки и изображения сельской жизни, сделанные великолепно. Они говорили о присущей автору тонкости и ощущении духовной красоты материальных предметов. Книга была написана легко, без аффектации, автор хорошо ощущал звучание слова. Но что делало ее особенно примечательной, что, по моему мнению, и привлекло внимание публики, так это страсть, которой была пронизана любовная история, лежавшая в основе сюжета. Сюжет этот, в соответствии с современной манерой, был довольно необработанным, и роман, опять-таки в соответствии с современной манерой, заканчивался туманно, без какого бы то ни было определенного итога, так что под конец все оказалось в том же положении, что и вначале; но вам запомнился рассказ о юной любви, романтической и тем не менее чувственной, описанной так живо и глубоко, что у вас спирало дыхание. Она

трепетала на книжных страницах, как пульс жизни. Не осталось ни одного потаенного уголка. Все было нелепо, неприлично и прекрасно, словно силы природы. Конечно, это была настоящая страсть. Ничто в мире больше не может так волновать и внушать такой благоговейный трепет.

Я написал Питеру Мелроузу все, что думал о его книге, а потом предложил позавтракать вместе. На следующий день он мне позвонил, и мы условились о времени.

Когда в ресторане мы сели за столик друг против друга, я с удивлением обнаружил, что он робеет. Я предложил ему коктейль. Он говорил довольно бойко, но я заметил, что он не в своей тарелке. У меня создалось впечатление, что его самоуверенность была позой, призванной скрыть, быть может и от самого себя, собственную робость, которая мучила его. Манеры у него были резкие и неловкие. Он мог сказать грубость, а потом засмеяться нервным смешком, чтобы скрыть свое смущение. Хоть он и напускал на себя браваду, но сам все время жаждал, чтобы вы его приободряли. Раздражая вас высказываниями, которые, по его мнению, могли быть неприятны, он пытался заставить вас признать, хотя бы молчаливо, что он так хорош, каким сам себе кажется. Он стремился презреть мнение своих товарищей, ничего важнее этого для него не было. Я считал его довольно неприятным молодым человеком, но ничего не имел против него. Вполне естественно, что умные молодые люди довольно неприятны. Они отдают себе отчет в собственных талантах, но не знают, где и как их применить. Они сердиты на мир за то, что тот не воздает должного их достоинствам. У них есть что дать миру, по ни одна рука не протягивается, чтобы взять это что-то. Они с нетерпением ждут славы, на которую смотрят как на должное. Нет, я ничего не имею против неприятных молодых людей; вот когда они обаятельны, тут я начинаю держать ухо востро.

Питер Мелроуз был чрезвычайно скромнен в отношении своей книги. Когда я похвалил в ней то, что мне понравилось, сквозь красную кожу его лица проступил румянец, а мою критику он принял с таким самоуничижением, что чуть не привел меня в замешательство. Он получил за книгу очень мало денег, и его издатели давали ему ежемесячно небольшое содержание в счет гонорара за следующую книгу. Он ее только начал, но хотел уехать подальше, чтобы писать в тишине, и, зная, что я живу на Ривьере, спросил меня, нет ли там дешевого спокойного местечка

с морским купанием. Я предложил ему приехать и провести у меня несколько дней, чтобы он мог осмотреться, пока не найдет себе чего-нибудь подходящего. Когда я сделал ему такое предложение, он весь зарделся, а его зеленые глаза заискрились.

— А я вам не помешаю?

— Нет. Я буду работать. Могу предложить вам разве что ночлег и еду три раза в день. Будет очень скучно, но вы сможете делать все, что хотите.

— Великолепно! А если я решусь приехать, можно будет вам сообщить?

— Конечно.

Мы расстались, и через неделю или две я отправился домой. Это было в мае. В начале июня я получил от Питера Мелроуза письмо, в котором он спрашивал, всерьез ли я пригласил его провести у меня несколько дней и может ли он приехать в такое-то время. Конечно, тогда я говорил всерьез, но теперь, месяц спустя, я помнил только, что это запосчивый, плохо воспитанный юнец, которого я видел лишь дважды и которым ни в малейшей степени не интересовался, и сейчас мне уже не хотелось, чтобы он приезжал. Мне казалось, что, вероятнее всего, с ним будет тоска зеленая. Я жил очень размеренной жизнью и встречался с немногими людьми. И я думал, что, если он окажется таким грубым, каким, я знаю, он может быть, а мне как хозяину придется сдерживаться, это будет слишком большим напряжением для моей нервной системы. Я уже представлял себе, как терпение мое лопается и я звоню, чтобы собрали его вещи и подали машину и чтобы через полчаса духу его здесь не было. Но ничего нельзя было сделать. Если он немного поживет у меня, он сэкономит на столе и квартире, а если он измучен и несчастлив, как он об этом пишет, возможно, все это пойдет ему па пользу. Я послал телеграмму, и вскоре он приехал.

Когда я встретил его на станции, он в серых фланелевых брюках и коричневой куртке из твида выглядел взмыленным и неопрятным, но, искупавшись в бассейне, переоделся в белые шорты и рубашку Коше и стал до смешного моложавым. Он впервые выехал за пределы Англии и был взбудоражен. Трогательно было видеть, как он восторгается. В непривычном окружении он, казалось, изменил сам себе и стал прост, скромн и ребячлив. Я был приятно поражен. Вечером после обеда в саду, где тишину нарушало лишь кваканье маленьких зеленых лягушек, он



начал мне рассказывать о своем новом произведении. Это была романтическая история о молодом писателе и знаменитой примадонне. Тема была навеяна Уидой<sup>1</sup>. Я даже развеселился, так как не ожидал ничего подобного от этого прожженного юнца; странно было наблюдать, как мода движется по кругу и поколение за поколением возвращается к одним и тем же темам. Я ни минуты не сомневался, что Питер Мелроуз будет трактовать ее самым современным образом, но все же это была она, та же старая история, которая приводила в восторг сентиментальных читателей трехтомного романа восьмидесятых годов. Мелроуз предполагал перенести действие в начало эдуардианской эпохи<sup>2</sup>, вызвавшей у него ощущение фантастически далекого прошлого. Мелроуз продолжал говорить. Нельзя сказать, чтобы слушать его было неприятно. Он не замечал, что облакает в беллетризованную форму собственные грезы, смешные и трогательные грезы непривлекательно-неприметного молодого человека, который воображает себя возлюбленным невероятно красивой, знаменитой и блестящей женщины. Я всегда получал наслаждение от романов Уиды, и нельзя сказать, чтобы фантазия Питера пришлась мне не по вкусу. Я считал, что Питер с его чарующим даром описания, умением воспринимать материальный мир, ткани, детали обстановки, стены, деревья, цветы, с его умением выразить увлеченность жизнью, страстность любви, клокочущую в каждой клетке его нескладного тела, может написать нечто цветистое, нелепое и поэтичное. Но я задал ему один вопрос:

— А вам случалось встречаться с какой-нибудь примадонной?

— Нет, но я прочел все автобиографии и мемуары, какие только можно было. И основательно проштудировал их. Брал не только то, что на поверхности, но всякими путями добывал разоблачительные штрихи и пикантные подробности.

— И получили то, что хотели?

— Я думаю, да.

Он начал мне описывать свою героиню. Это была молодая прекрасная женщина, правда, своенравная и вспыльчивая, но великодушная. Женщина большого размаха.

---

<sup>1</sup> Уида — псевдоним модной в свое время английской романистки Марии Луизы де ла Рамо (1839—1908).

<sup>2</sup> Время царствования короля Эдуарда VII (1901—1910).

Музыка была ее страстью; музыка звучала не только в ее голосе, но и в жестах и в сокровенных помыслах. Она не знала зависти, и восприятие ею искусства было таково, что, будучи оскорбленной другой певицей, она простила ее, когда услышала, как великолепно та исполняет свою роль. Она была на редкость щедрой и могла отдать все, что имела, если рассказ о чужом несчастье затрагивал ее нежное сердце. Она была замечательной возлюбленной, готовой отдать всю вселенную человеку, которого любила. Она была умна и начитанна, нежна и бескорыстна. По правде говоря, она была слишком хороша, чтобы в нее можно было поверить.

— По-моему, вам нужно встретиться с какой-нибудь примадонной, — сказал я наконец.

— Но как это сделать?

— Вы когда-нибудь слышали о Ла Фальтероне?

— Конечно. Я читал ее мемуары.

— Она живет здесь, на побережье. Я позвоню ей и приглашу ее на обед.

— Правда? Это было бы чудесно!

— Но не вините меня, если вы найдете в ней не то, чего ожидаете.

— Я хочу знать только правду.

Кто не слышал о Ла Фальтероне! Даже Мельба<sup>1</sup> не могла похвастать большей славой. Теперь Ла Фальтерона уже не пела в опере, но голос ее был все еще прелестным, и она украсила бы собой концертный зал в любой части света. Каждую зиму она отправлялась в длительные туры, а летом жила на вилле у моря. На Ривьере люди считают себя соседями, если живут в тридцати милях друг от друга, и в течение последних лет я частенько видел Ла Фальтерону. Она была женщиной пылкого темперамента и прославилась не только своим пением, но и любовными похождениями; она рассказывала о них запросто, и я нередко часами сидел как замороженный, пока она не без юмора, который для меня был одним из самых удивительных ее свойств, услаждала мой слух сенсационными рассказами о своих богатых, а иногда и венценосных обожателях. Я довольствовался тем, что в этих рассказах была хоть какая-то доля правды. Ла Фальтерона выходила замуж раза три или четыре, но ненадолго; одним из ее му-

---

<sup>1</sup> Элен Митчелл Мельба (1861—1931) — известная австралийская певица.

жей был неаполитанский князь. Считая, что имя Ла Фальтерона значительнее любого титула, она не взяла имени князя (на самом деле она не смогла это сделать); но ее серебро, ножи и обеденный сервиз были щедро украшены гербом со щитом и короной, и слуги неизменно величали Ла Фальтерону *madame la princesse*<sup>1</sup>. Она называла себя венгеркой, но великолепно говорила по-английски, с легким акцентом (когда помнила об этом) и с интонацией, присущей, как мне сказали, уроженцам Канзаса, объясняя это тем, что ее отец, политический ссыльный, бежал в Америку, когда она была еще ребенком; по она будто не вполне твердо знала, был ли он выдающийся ученый, попавший в беду из-за своих либеральных взглядов, или высокопоставленный венгр, навлекший на себя императорский гнев своим романом с эрцгерцогиней.

В зависимости от обстоятельств среди артистов она была артисткой, а среди лиц благородного происхождения — знатной дамой.

Даже если бы она и старалась быть естественной, ей бы это не удалось, но со мной она была более откровенной, чем с кем бы то ни было. Она питала врожденное презрение ко всем видам искусства. Она искренне считала искусство гигантским обманом, но где-то в глубине души ее забавляли и привлекали те, кто с его помощью добился успеха у публики. Признаюсь, я ожидал, что предстоящая стычка Питера Мелроуза с Ла Фальтеронией доставит мне немало сардонического веселья.

Она любила обедать у меня, так как знала, что здесь ее накормят хорошо. Она очень следила за своей фигурой и ела всего один раз в день, но любила, чтоб пища была обильной и вкусной. Я просил ее приехать к девяти, зная, что только в это время к ней приходит аппетит, и заказал обед на полдесятого. Она явилась в четверть десятого. Одетая она была в зеленовато-серое атласное платье с очень низким вырезом спереди и совсем без выреза сзади; на ней была нитка крупного жемчуга, дорогие на вид кольца, а на левой руке браслеты из алмазов с изумрудами от запястья до локтя. Два-три камня были действительно настоящие. В ее иссиня-черных волосах виднелась узенькая бриллиантовая диадема. Даже в былые дни, собираясь па бал в Стаффорд-хауз, она не могла бы выглядеть великолепнее. Мы были в белых парусиновых костюмах.

---

<sup>1</sup> Княгиня (франц.).

— О, как вы восхитительны, — сказал я. — Но я же говорил вам, что это не званый вечер.

Она окинула Питера быстрым взглядом черных глаз.

— Нет, это именно званый вечер, а как же иначе? Вы мне сказали, что ваш друг — талантливый писатель. Я же — только исполнительница.— Она провела пальцем по сверкающим браслетам. — Это знак почтения к художнику-творцу.

Я удержался от крепкого словечка, которое чуть было не сорвалось с моих губ, но предложил ей коктейль — я знал, какой коктейль она любит. Мне была дарована привилегия называть ее Марией, а она всегда звала меня маэстро. Делала она так, во-первых, понимая, что я при этом чувствую себя полным идиотом, и, во-вторых, хоть в действительности она была моложе меня всего лишь на дватри года, этим она явственно подчеркивала, что принадлежит к другому поколению. Однако иногда она называла меня «нахальный тип». В тот вечер она вполне могла сойти за тридцатипятилетнюю. Черты лица у нее были довольно крупные и как-то не выдавали возраста. На сцене она была прекрасна, и даже в частной жизни, несмотря на большой нос, широкий рот и полные щеки, казалась привлекательной. Она загримировалась под смуглянку, наложила темные румяна, а губы у нее были ярко-алыми. Она выглядела совсем как испанка и, полагаю, что ощущала себя испанкой, потому что в начале обеда у нее был совершенно севильский акцент. Мне хотелось, чтобы она разговорилась и чтобы Питер смог выудить из нее как можно больше, а я знал лишь одну тему в мире, на которую она могла говорить. Собственно, она была женщиной неумной, но научилась бойко болтать, а потому при первой встрече казалась людям выдающейся личностью, но все это было лишь игрой, и вскоре вы обнаруживали, что она не только не знает, о чем говорит, но ни в малейшей степени не интересуется предметом разговора. Не думаю, чтобы она за всю жизнь прочитала хоть одну книгу. Ее знания о том, что происходит в мире, были ограничены сведениями, которые она собрала, просматривая картинки в иллюстрированных журналах. Ее разговоры о любви и музыке были пустой болтовней. Однажды на концерте, где я был вместе с ней, она проспала всю Пятую симфонию, и я пришел в восторг, услышав позднее, как она говорит кому-то, до чего Бетховен ее волнует — она даже колебалась, стоит ли идти его слушать, ибо, если в ее голове будут звучать

эти героические темы, она всю ночь не сомкнет глаз. Так оно и было, она настолько крепко вздремнула во время исполнения симфонии, что ночной сон был ей уж ни к чему.

Но существовала одна тема, которой она никогда не переставала интересоваться. Она развивала ее с неослабевающей энергией. Никакие препятствия не мешали ей возвращаться к этой теме, любое случайно оброненное слово она могла использовать в качестве мостика, чтобы вернуться к ней, и при этом проявляла такие недюжинные умственные способности, которых в ней нельзя было подозревать. В разговорах па эту тему она могла быть остроумной, живой, философичной, печальной и изобретательной. Она призывала на помощь всю свою выдумку, проявлениям которой не было конца, а разнообразию — границ. Этой темой была она сама. Я предоставил ей возможность один раз наскочить на эту тему, а дальше от меня требовалось только вставлять подходящие междометия.

Она была в ударе. Мы обедали на террасе, и полная луна услужливо освещала море, лежавшее перед нашими глазами. Сама природа, будто приноровившись к такому случаю, создала чудесную декорацию. Сцена была окаймлена двумя высокими черными кипарисами, а нашу террасу со всех сторон окружали цветущие апельсиновые деревья, которые источали опьяняющий аромат. Воздух был недвижим, и свечи на столе горели ровно и мягко. Освещение было самым подходящим для Ла Фальтероны. Она сидела между нами, с аппетитом ела, вполне одобрила шампанское и испытывала истинное наслаждение. Она бросила взгляд на луну. На море блестела широкая серебряная дорожка.

— О, как прекрасна природа, — сказала Ла Фальтерона. — Боже мой, и с какими только декорациями не приходится играть! Как же при этом можно петь? Знаете, декорации в Ковент-Гардене просто возмутительные! В последний раз, когда я там пела Джульетту, я им сказала, что больше не выйду на сцену, пока они не сделают что-нибудь с луной.

Питер слушал молча. Он ловил каждое ее слово. Она представляла собой большую ценность, чем я осмеливался мечтать. Ее опьянило не только шампанское, но и собственная говорливость. Послушать ее — так можно было подумать, что она кроткое и незлобивое создание, против

которой весь мир. Вся ее жизнь была бесконечной жестокой борьбой с ужасными несправедливостями. Менеджеры поступали с ней подло, импресарио шутили скверные шутки, певцы объединялись, чтоб ее разорить, критики, подкупленные ее врагами, писали о ней скандальные статьи, любовники, ради которых она приносила в жертву все, платили черной неблагодарностью, и тем не менее она всем им нанесла поражение благодаря своей гениальности и редкой сообразительности. С неподдельной радостью, с сияющими глазами она рассказывала нам, как разоблачила их махинации и какие бедствия постигли негодяев, стоявших у нее на пути. Я только удивлялся, как у нее хватает духу разглашать эти позорные истории. Не отдавая себе ни малейшего отчета в том, что она делает, она рисовала себя мстительной, завистливой, чертовой, невероятно тщеславной, жестокой, эгоистичной, корыстной интриганкой. Время от времени я украдкой бросал взгляды на Питера и с удовольствием думал о том смущении, которое он должен был испытывать, сравнивая идеальный образ примадонны с безжалостной действительностью. У Ла Фальтероны не было сердца. Когда она наконец ушла, я повернулся к Питеру с улыбкой.

— Ну, — сказал я, — теперь, во всяком случае, у вас есть подходящий материал.

— О да, и все это настолько к месту, — заявил он с энтузиазмом.

— Разве? — воскликнул я, ошеломленный.

— Ла Фальтерона — точь-в-точь моя героиня. Она никогда не поверит, что я набросал основные черты ее характера, прежде чем встретился с ней.

Я в изумлении воззрился на него.

— Страстная любовь к искусству. Бескорыстие. В ней есть душевное благородство, которое стояло перед моим мысленным взором. Мелочное, пошлое, пустое воздвигало перед ней преграды, но она сметала все со своего пути лишь благодаря величию и чистоте цели. — Он издал счастливый смешок. — Ну разве не удивительно, как природа копирует искусство? Клянусь вам, я попал в самую точку.

Я открыл было рот, но придержал язык и только мысленно пожал плечами. Питер увидел в ней то, что хотел увидеть. В его иллюзиях было нечто сродни красоте. Он был в своем роде поэт. Мы пошли спать, а через два-три дня, найдя подходящее для себя пристанище, он от меня уехал.

Вскоре вышла его книга, и, как это обычно бывает со вторыми романами молодых писателей, успех ее был весьма скромнен. Критики перехвалили его первое достижение, а теперь были чрезмерно строги. Без сомнения, написать роман о себе и о людях, которых ты знал с детских лет, — совсем не то, что создать книгу о героях вымышленных. Роман Питера был слишком длинным. Дар словесной живописи изменил ему; юмор все еще был грубоват, но Питер мастерски воссоздал эпоху, и в этой романтической истории ощущался тот же трепет истинной страсти, который так поразил меня в его первой книге.

После памятного обеда в моем доме я не видел Ла Фальтероны больше года. Она отправилась в длительное турне по Южной Америке и вернулась на Ривьеру лишь в конце лета. Однажды вечером она пригласила меня отобедать у нее. Мы были одни, если не считать ее компаньонки-секретарши, англичанки по имени мисс Глейзер, с которой Ла Фальтерона обращалась ужасно — запугивала ее, била и ругала, но без которой и шагу ступить не могла. Мисс Глейзер была осунувшаяся особа лет пятидесяти с седыми волосами и желтоватым морщинистым лицом. О Ла Фальтероне ей было известно все. Она одновременно обожала и ненавидела ее. Она могла позлословить на ее счет, иногда потихоньку от великой певицы и ее обожателей копировала ее — я в жизни не видывал ничего смешнее. Но она следила за пей, словно мать. Это она, действуя то с помощью лесты, то в открытую, вынуждала Ла Фальтерону поступать достойным образом. Это она написала изобилующие ошибками мемуары певицы.

Ла Фальтерона была в бледно-голубой атласной пижаме (ей нравился атлас), в зеленом шелковом парике, по-видимому, для предохранения волос; драгоценностей она не надела, если не считать нескольких колец, жемчужного ожерелья, пары браслетов и алмазной броши на корсаже. У нее было что порассказать мне о своих триумфах в Южной Америке. Она тараторила без умолку. Никогда она не пела лучше, и овации, сорванные ею, ни с чем не могли быть сравнимы. Каждое выступление давало полные сборы, и Ла Фальтерона отхватила солидный куш.

— Так или не так, Глейзер? — кричала Мария. В голосе ее слышался сильный южноамериканский акцент.

— В основном так, — ответила мисс Глейзер.

У Ла Фальтероны была малоприятная привычка называть свою компаньонку по фамилии. Но бедную женщину

это уже давным-давно перестало раздражать, так что не давало Ла Фальтероне особых преимуществ.

— Как звали того, которого мы встретили в Буэнос-Айресе?

— Кого еще?

— Дура ты набитая, Глейзер. Ведь ты отлично помнишь. Да того, за которого я еще выходила замуж.

— Пене Запата, — ответила мисс Глейзер без тени улыбки.

— Он разорился. И у него хватило нахальства просить меня, чтобы я вернула ему брильянтовое ожерелье, которое он мне подарил. Сказал, что оно принадлежит его матери.

— Вас бы не убыло, если бы вы и отдали, — сказала мисс Глейзер. — Вы же его никогда не носите.

— Отдать ему? — воскликнула Ла Фальтерона, и ее изумление было так велико, что она заговорила на чистейшем английском. — Отдать ему?! Да ты спятила!

Она посмотрела на мисс Глейзер так, словно заподозрила, что у нее сию минуту начнется приступ, и встала из-за стола, потому что обед уже кончился.

— Давайте выйдем на свежий воздух, — предложила она. — Если бы не мое ангельское терпение, я бы выгнала эту женщину бог знает сколько лет назад.

Мы с Ла Фальтероной вышли, но мисс Глейзер к нам не присоединилась. Сели на веранде. В саду рос великолепный кедр, его темные ветви четко вырисовывались на фоне звездного неба. Море, почти подступившее к нашим ногам, было удивительно спокойным. Внезапно Ла Фальтерона начала:

— Да, чуть не забыла. Глейзер, дура ты этакая, что ж ты мне не напомнишь? — крикнула она. Потом она обратилась ко мне: — Вы меня просто взбесили.

— Очень рад, что вы об этом вспомнили только после обеда, — ответил я.

— Да это все из-за того вашего друга с его книгой.

Я не сразу сообразил, о ком она говорит.

— Какой друг? Какая книга?

— Не прикидывайтесь дурачком. Такой безобразный коротышка, плохо сложенный, с лоснящейся физиономией. Он написал обо мне книгу.

— А! Питер Мелроуз! Но эта книга — не о вас.

— То есть как раз обо мне! Вы что, меня дурочкой считаете? Он обнаглел до того, что прислал ее мне.



— Надеюсь, у вас хватило вежливости поблагодарить его?

— Вы полагаете, у меня есть время, чтобы благодарить всех авторов, которые присылают мне свои грошовые книжонки? Я думаю, Глейзер написала ему. Вы тогда не имели права приглашать меня на обед и знакомить с ним. Я пришла, чтобы сделать вам одолжение, так как считала, что вы любите меня ради меня самой, я и не знала, что меня хотят лишь использовать в корыстных целях. Ужасно, когда нельзя ручаться, что твои старшие друзья будут вести себя как джентльмены. Больше я никогда до конца дней не буду у вас обедать! Никогда, никогда, никогда!

Она распалась все больше и больше, и я прервал ее, пока не поздно.

— Перестаньте, моя дорогая, — сказал я. — Во-первых, в этой книге изображена певица такого типа, к которому вы, по-моему, не...

— Что ж я, по-вашему, судомойка или прачка?

— Ну так вот: характер певицы был уже намечен, прежде чем он увидел вас, а кроме того, он ни в малейшей степени не похож на ваш.

— Как, вы хотите сказать, что он не похож на мой? Да ведь это признали мои друзья! Я считаю, что это в точности мой портрет.

— Мэри, — с упреком произнес я.

— Меня зовут Мария, и вы это знаете лучше всех, а если вы не можете называть меня Марией, зовите мадам Фальтеронной или княгиней.

Я не обратил на это ни малейшего внимания.

— Да полно, читали ли вы эту книгу?

— Конечно, читала. Еще бы, когда все вокруг говорят, что это обо мне.

— Но его героине, примадонне, двадцать пять лет.

— Женщины моего типа не имеют возраста.

— Она музыкальна до кончиков пальцев, кротка как голубица, альтруистична до неправдоподобия, искренна, преданна и бескорыстна. И вы считаете, что вы — такая?

— А какая же я, по-вашему?

— Крепкий орешек, прирожденная интриганка, страшно жестокая и чертовски эгоцентричная.

Тогда она обозвала меня таким словом, какое леди обычно не употребляют по отношению к джентльмену, усомниться в порядочности которого, несмотря на его недостатки, у них нет оснований. Но хотя глаза ее сверкали,

я видел, что она нисколько не сердится. Она восприняла данную мною характеристику как комплимент.

— А как же насчет кольца с изумрудом? Или вы будете отрицать, что я ему об этом рассказывала?

История кольца с изумрудом была такова: у Ла Фальтероны был бурный роман с кронпринцем одного могущественного государства, и тот подарил ей изумруд необыкновенной ценности. Однажды вечером у них разгорелся спор, разговор велся в повышенных тонах, упомянуто было и о кольце, и тогда она сорвала его с пальца и бросила в огонь. Кронпринц, будучи человеком бережливым, с криком ужаса бросился на колени и начал разгребать угли, пока не нашел кольца. Ла Фальтерона презрительно глядела, как он ползает по полу. Сама она особой щедростью не отличалась, но не выносила скупости в других. Она закончила рассказ великолепными словами:

— После этого я уже не могла его любить.

Эпизод был колоритным и захватил воображение Питера. Он вставил его в роман почти без изменений.

— Я рассказала об этом вам обоим под большим секретом, а до вас не говорила ни единой живой душе. Вставить этот эпизод в книгу — значит самым непорядочным образом злоупотребить доверием. Ни для вас, ни для него нет оправданий.

— Но я сотни раз своими ушами слышал, как вы рассказывали об этом. И то же самое мне рассказывала Флоренс Монтгомери о себе и кронпринце Рудольфе. У нее эта история тоже была одной из самых любимых. Лола Монтес рассказывала ее о себе и баварском короле. И я уверен, Нелл Гвин говорила то же самое о себе и Карле Втором. Это одна из самых старых историй на земле.

Ла Фальтерона была захвачена врасплох, но через мгновение опомнилась.

— Не вижу ничего странного в том, что такое случилось не раз. Всем известно, что женщины страстны, а мужчины ужасные скупердяи. Я могу вам показать этот изумруд, если хотите. Конечно, мне нужно его вставить в новую оправу.

— В рассказе Лолы Монтес фигурировал жемчуг, — иронически заметил я. — Полагаю, что он был изрядно поврежден.

— Жемчуг? — Ла Фальтерона одарила меня сверкающей улыбкой. — Я вам рассказывала о Бенджи Ризенбауме и жемчуге? Вы можете сделать из этого новеллу.

Бенджи Ризенбаум был человеком необычайно состоятельным, и все на свете знали, что он долгое время был любовником Ла Фальтероны. Именно он купил ей роскошную маленькую виллу, в которой мы и расположились.

— В Нью-Йорке он мне подарил очень красивую нитку жемчуга. Я пела в Метрополитен-опера, а по окончании сезона мы вместе отправились в Европу. Вы с ним не были знакомы?

— Нет.

— Ну так вот, он был в своем роде неплохой малый, но ревнив до безумия. На пароходе мы повздорили, потому что молодой итальянский офицер уделял мне много внимания. Видит бог, на свете нет другой женщины, с которой можно было бы так легко поладить, но я никому не дам себя в обиду. К тому же у меня есть чувство собственного достоинства. Я его послала куда следует, надеюсь, вы меня понимаете? — а он ударил меня по лицу. Представьте себе, прямо на палубе. Не буду вам говорить, насколько я была взбешена. Я сорвала с шеи нитку жемчуга и швырнула ее в море. «Она же стоит пятьдесят тысяч долларов», — произнес Бенджи задыхаясь. «Я ценила ее только потому, что любила вас», — сказала я, круто повернулась и ушла.

— Вы поступили глупо, — заметил я.

— Я с ним не разговаривала целые сутки. В конце концов он стал совсем ручным. Когда мы приехали в Париж, то первое, что он сделал, — пошел к Картье и купил другую нитку, такую же красивую. — Она хихикнула. — Вы сказали, что я поступила глупо? Да настоящую-то нитку я оставила в Нью-Йоркском банке, так как знала, что в следующем сезоне туда вернусь! А в море я бросила поддельную!

Она начала смеяться; смех ее был веселым и мягким, как у ребенка. Такого сорта шуточки ей ужасно нравились. Она хохотала от души.

— Какое же дурачье мужчины, — сквозь смех выдавила она. — А вы-то, вы-то подумали, что я бросила в море настоящий жемчуг!

Она долго смеялась и никак не могла остановиться. Она была возбуждена.

— Мне хочется петь. Глейзер, поаккомпанируй мне. Из гостиной послышался голос:

— Вы не можете петь после того, как столько умяли.

— Заткнись, старая корова. Сыграй, тебе говорят.

Ответа не последовало, но через мгновение мисс Глейзер взяла первые аккорды одной из песен Шумана. Она была нетрудна для исполнения, и я решил, что мисс Глейзер знала что делала, когда выбрала эту песню. Ла Фальтерона начала петь вполголоса, но, заслышав, что с ее губ слетают чистые и ясные звуки, дала себе волю. Песня кончилась. Наступила тишина. Мисс Глейзер поняла, что Ла Фальтерона сегодня в великолепной форме и хочет петь еще. Примадонна стояла у окна, спиной к освещенной комнате, и смотрела на загадочно поблескивающее море. На его фоне вырисовывались очертания кедра. Ночь была мягкой и напоенной ароматом. Мисс Глейзер сыграла несколько тактов. Холодная дрожь прошла по моей спине. Ла Фальтерона чуть вздрогнула, и я почувствовал, что ее прорвало.

«Mild und leise wie er lachelt,  
Wie das Auge er off net»<sup>1</sup>.

Это была предсмертная песня Изольды. Ла Фальтерона, боясь сорвать голос, никогда не пела в операх Вагнера, но эту вещь, по-видимому, часто исполняла в концертах. И пусть вместо оркестрового аккомпанеента слышалось лишь фортепьяно — сейчас это было уже неважно. Звуки божественной мелодии словно прорезали неподвижный воздух и летели над водой. В этой романтической обстановке, в этой звездной ночи они буквально потрясали. Голос Ла Фальтероны даже и теперь был великолепным, сочным и кристально чистым, и пела она с редкостным чувством, так нежно, так красиво, с такой безысходной болью, что сердце мое расплавилось. Когда она кончила, в горле у меня словно застрял комок, я увидел, что по лицу ее текут слезы. Мне не хотелось говорить. Она тоже стояла молча и смотрела на вечное море.

Что за странная женщина! Я подумал, что лучше изобразить ее такой, как она есть, — с ее чудовищными несовершенствами, — чем, подобно Питеру Мелроузу, видеть в ней средоточие всех добродетелей. Но тогда меня осудили бы за то, что люди несовершенные нравятся мне больше, чем рассудительные. Конечно, она была отвратительным созданием, но в то же время и неотразимым.

---

<sup>1</sup> «Тихо, кротко он смеется,  
И глаза он открывает» (нем.).

# Шон О'Кейси

## *Работа*

Она смотрела на его голову, склоненную над письменным столом. Время от времени он поднимал глаза и одобрительно на нее поглядывал. Она знала, что в этом изящном, сшитом на заказ костюме у нее привлекательный вид. Ее стройные ноги притягивали его взгляд. Откинувшись в кресле, она заложила ногу за ногу. Он потянулся за какой-то бумагой, лежавшей на самом краю стола, но ей было ясно: это просто повод, чтобы получше разглядеть все то, что его в ней волнует. Внезапно она выпрямилась и спустила ногу с колена — вспомнила, что комбинация у нее уже не первой свежести. Из-за вынужденного безделья негде взять денег на прачечную, вот и приходится носить один гарнитур за другим, и сейчас на ней последняя приличная комбинация, остальные выстираны и ждут глажки, но что-то лень за них браться. Надо было их выгладить еще на прошлой неделе, но она все откладывала со дня на день, потому что каждый раз к вечеру очень уставала, а то и просто из лени.

Да ведь подумать только, как много времени уходит на эти хождения — с просмотра к агенту, от агента на просмотр, — и, когда попадаешь домой, уже нет сил за что-нибудь взяться. Ах, как нужна работа. Надо скорей получить работу, не то плохо дело. Сколько задолжала за квартиру! И бакалейщик скоро перестанет отпускать в долг, он и так уж грозится. От всего этого голова пухнет. Куда ни пойдешь, все тревоги с тобой.

А их надо скрывать. Когда беседуешь с директорами, поешь и танцуешь на просмотрах, надо выглядеть беззаботной и жизнерадостной. Сегодня все получилось совсем

недурно. Если бы только можно было забыть о бакалейщике и квартирной плате! Она пела и танцевала сразу перед тремя: один высокий, худощавый, застенчивый, другие двое — пузатые хапуги с набрякшими веками. Она вошла в число пятидесяти девушек, отобранных из сотни. Потом опять пела, опять танцевала и попала в двадцатку, отобранную из пятидесяти. Это уже кое-что, есть некоторая надежда.

У бакалейщика красная книжка; да, красная, а на обложке — фамилия золотыми буквами. Шесть фунтов четырнадцать шиллингов восемь пенсов — вот и весь долг; в сущности, не так уж много. Ой, нет, больше: не посчитала то, что взято на этой неделе: три шиллинга, пять шиллингов и шесть пенсов... Десяти шиллингов с лихвой хватит, чтобы за все заплатить. Там четырнадцать шиллингов, да эти десять — в общем семь фунтов четыре шиллинга восемь пенсов; нет, долг не такой уж большой. Когда появится работа, его можно будет в два счета покрыть весь, целиком: и бакалейщику и за квартиру — за все. У молочника книжка светло-синяя или темно-синяя, точно она не помнит. Забавно, что они выбирают такие цвета: один — синий, другой — красный. Вот зеленую книжку как будто видеть не доводилось. Ах пет: там, где она жила перед этим, у торговца рыбой были зеленые долговые книжки.

Из двадцати отобранных девушек приняты будут шестнадцать; только шестнадцать. Жаль, что им не нужны все двадцать — тогда дело было бы верное. Вообще-то и двадцать не так уж много, из-за каких-то там нескольких лишних фунтов они бы не разорились. Ну и сквалыги они, эти театральные продюсеры, за свои деньги требуют чертовски много: смазливое личико, стройные ноги, складную фигуру, осмысленный танец, приятный голос (а если хороший — тем лучше), живость, выносливость, терпеливость и индивидуальность. О да, индивидуальность очень важна. Они не требуют, чтоб ее было слишком много — чуть побольше, чем нужно, когда идешь в церковь. Если повезет, можно твердо рассчитывать, что спектакль будет идти педель пять, не меньше. Пять недель по четыре фунта — выходит двадцать фунтов. Не бог весть сколько, но, чтобы выбраться из долгов, хватит. А может, спектакль продержится десять недель; может, он будет иметь большой успех и продержится год, целый год. Это значит — двести фунтов. Можно было бы приобрести кое-

что из вещей, совершенно необходимых, чтобы сохранить вид, а иметь вид так важно, когда ищешь работу. Тогда уж не будет проблемой свежая нижняя юбка или изящная комбинация для каких-нибудь особых случаев — скажем, когда идешь с Джимом на танцы.

Жаль, что Джим не директор и не продюсер. Ну почему он не сидит тут за столом вместо вот этого, который пялится па ее ноги? Да, но в таком случае директор был бы Джимом, и в общем вышло бы так на так. И что только в голову лезет... Завихрение какое-то в мозгах. Надо сосредоточиться на том, что сейчас предстоит. Вскоре придется лавировать, а там моргнуть глазом не успеешь — даже и отбиваться. Так что надо иметь ясную голову. Джим зайдет в восемь, опи перехватят что-нибудь у нее дома и пойдут на танцы. А перед тем еще уйма хлопот: надо кое-что переделать в вечернем платье, выгладить и подправить белье.

Какая досада, что этот тип до сих пор ее держит, делает вид, будто просматривает бумаги, а сам внимательно ее разглядывает, пялится на ноги. За последние годы перевидал, наверное, не одну сотню ног, и, должно быть, они ему порядком надоели. Значит, дело в чем-то другом — в каком-нибудь особенном, необычном, забавном жесте или изгибе ее тела, выражении лица или глаз, а то и просто в манере двигать руками. Как его пальцы стискивают бумаги, шуршат ими!.. Скоро ему захочется и ее так вот стиснуть, она это чувствует. Ну нет, сэр, пока подождите, сперва нужно все хорошенько обдумать. Впрочем, если он даже сейчас попытается, особого шума поднимать не стоит. Надо будет его осадить, а потом поманежить, пока не станет ясно или почти совсем ясно, что дело того стоит. Когда он о чем-то шептался со своими двумя компаньонами, она чувствовала: шепчутся о ней. Она отчетливо представила себе все, что он мог им сказать: «Стоящая. А ваше мнение? Изящна... Ого, и с огоньком!..» Так пусть он включит ее в ту двадцатку... И он включил ее в ту двадцатку, и вот она сидит перед ним, и он пялится па ее ноги, стискивает пальцами бумаги, шуршит ими. Сказал бы уж то, что хочет, и отпустил бы ее наконец. Чтобы успеть собраться к приходу Джима, времени остается в обрез. Этому старому хрычу хоть бы что, да он ничего и не знает. Она не была па танцах вот уже с месяц, а то и больше, и если старикашка не сделает своего хода немедленно, придется ускорить события.

Если они пойдут сегодня с Джимом на танцы, надо быть настороже, чтобы он не зашел чересчур далеко. О господи, надо быть настороже со всеми! Быть настороже с Джимом, потому что он слишком беден; быть настороже с этим старым хрычом, потому что он слишком богат; опять-таки быть настороже с Джимом, потому что ей хочется принадлежать ему, и быть настороже с другими, потому что не хочется им принадлежать. Странно устроен мир... Джима легче держать на расстоянии, чем этого старикашку. Джим молод и беден, он может подождать; этот же нетерпелив и богат, а ей нужна работа. Такой вот раззолоченный старый боров не может по-настоящему оценить женское общество и получить от него удовольствие, это ясно. Он водит женщин обедать и ужинать лишь для того, чтобы как-то заполнить время, прежде чем он попросит их снять платье. Джим это тоже может, но платье — платьем, а ужин для Джима — это ужин, и танцы — волнующее и радостное событие. Любовь его живая и свежая, без всякой утайки; в ней есть застенчивость и страх, но нет ничего стыдного; а тут застенчивости никакой, зато есть страх, да и стыда не оберешься. Впрочем, рано или поздно этого все равно не избежать, так что надо смириться и только быть настороже...

До нее донесся его голос:

— Что ж, дорогая, неплохо... Вы подаете надежды, безусловно... Танцуете хорошо, даже очень, и поете совсем недурно... Предстоит сделать выбор между вами и мисс Брирли, ей покровительствует Хэнли, ну да ничего, это можно уладить... Мы и уладим, не беспокойтесь... Этот спектакль — дело верное... Старайтесь — и как знать... Для начала дублерша, а там, быть может, и примадонна... Можете считать, что дело в шляпе, моя дорогая. Первая репетиция — в пятницу, ровно в десять...

До чего ж он напоминал трясущийся студень, когда поднялся со стула... И вовсе незачем ему было хвалить брошку у нее на груди... Очень ей интересно, нравится ему брошка или нет... Что маленькие рубины на ней — настоящие, ему и так видно; вовсе ни к чему трогать их пальцами... Очень ему интересно, настоящие они или нет. Тычет ей пальцами в грудь и рассуждает о форме брошки, как будто она не знает, что у него на уме. Да еще гляди на его портрет — взгляните, дорогая, взгляните. Писал, должно быть, художник, которому работа нужна позарез. Сытая, сальная, самодовольная рожа — ни дать ни взять



самая первая, неудачная проба творца. С этакой физией еще можно сфотографироваться, но, прежде чем заказать портрет, подумаешь дважды. Восседает у заваленного бумагами стола, рука — на раскрытой книге... На столе сбоку — бюстик Шекспира; блестящая идея... Толкует ей про это, показывает, что на картине вышло удачней всего, а сам прижимается коленом к ее бедру... И этот вид разгневанного божества, когда она слегка отстранилась. «Спасибо и до свидания...». Как он держит ее за руку... Не поужинает ли она с ним сегодня?.. Еще чего! Сразу берет быка за рога... «Соглашайтесь, прошу вас, не томите меня...». Ох и наглый народ эти мужчины... Раскроют тебе объятия и ждут, что ты тотчас кинешься им на шею... Он заедет за ней на своей машине... Нет, спасибо... Посмотрим сперва, что выйдет с работой... «Во вторник...» К сожалению, она занята... «Ну, тогда в среду, вечером...» — «Ладно, в среду... Всего хорошего...».

Как приятно после мрачного, душного кабинета, этой камеры пыток, выйти на воздух, пусть даже на Пиккадилли! Много же он захотел за четыре фунта в неделю... И без того маловато за такую изматывающую работу — каждый вечер по столько часов, а тут еще это мучение в придачу. Надо быть половчее в этой игре. Тут многое можно было бы выгадать, если бы не проклятая робость. Почему-то она не умеет извлекать пользу из таких вот вещей, не то что другие девушки, практичности ни на грош. На этот раз все-таки надо попробовать, все на чем-нибудь учатся, а там, после некоторой практики, дело пойдет на лад. Только с чего начать — вот в чем загвоздка. Намекнуть ему разве, что она должна за квартиру? Нет, слишком грубо, надо найти более тонкий подход... Как этот тип посмотрел на нее, когда она проходила мимо... Принял ее, должно быть, за дамочку определенного сорта... Странное дело, сколько мужчин только тем и заняты, что бегают, бегают и бегают за женщинами... Будет работа или нет, все равно надо его поманежить. Если женщина достается мужчине слишком легко, она теряет цену в его глазах. Теперь она и сама жалела, что согласилась поужинать с ним в среду. Надо было, пожалуй, еще потянуть. В среду? Ах нет, к сожалению, невозможно... Вся неделя уже занята. Каждый вечер что-нибудь. Каждый вечер? Да, каждый вечер, сударь мой, ничего не попишешь. Так, может, на следующей неделе? Позвоните мне как-нибудь вечерком. Там видно будет. Но вместо того,

чтобы так ему ответить, она колебалась, мямлила что-то... и согласилась на среду.

И почему она не умеет делать такие дела по-людски, как другие девушки? Просто заскок какой-то... Тихий, спокойный ресторанчик, куда он иногда заходит. Спокойное местечко, где можно спокойно провести время. Нет, вы только подумайте! Ну так вот: она пойдет в спокойное место и проведет время спокойно или вообще никуда не пойдет. Чтобы он получил от нее все удовольствия, на какие рассчитывает, — и это за ту работу, которой она еще не имеет, — нет, дудки. Если он вправду хочет чего-то добиться, это будет стоить ему дороже четырех фунтов в неделю. До среды надо твердо решить, как вести себя дальше.

Но до среды еще далеко, а сегодня весь вечер веселимся, танцуем с Джимом.

А интересно, ведь в Лондоне вряд ли найдешь уголок, где не виднелось бы дерево. Приятно видеть то тут, то там зеленое оперение деревьев. Вообще-то Лейстер-сквер не выглядит таким тенистым и пышным, как другие лондонские скверы. Скорее, он напоминает сад на крыше, только спущенный вниз и старательно пересаженный на улицы. Любопытно, какие там деревья растут. Отсюда не поймешь, даже если и знать какие. Остролист где угодно узнаешь и дуб тоже — это потому, что у него листья такие забавные, а еще потому, что девочкой она часто читала про какого-то Гарри, не то Эдуарда, не то Чарли, который прятался в Боскобеле в ветвях дуба<sup>1</sup>. Вот у красного дерева, наверное, вид симпатичный, но здесь оно не растет. Впрочем, есть о чем подумать и кроме деревьев.

Как только заведется немного денег, первым делом надо купить бюстгальтер. Старый уже доживает последние дни, весь сморщился, стал неудобный, плохо сидит — потерял эластичность, как выражаются автомобилисты. Жаль, что нельзя попросить Джима купить ей бюстгальтер вместо нескольких носовых платков. Или этого директора — о господи, только представить себе, как она просит его купить ей бюстгальтер! Он-то мигом притащит и захочет, чтобы она тут же при нем примерила — посмотреть, впору ли. И Джим тоже захочет. Стоит мужчине

---

<sup>1</sup> Английский король Карл II после того, как войска его были разбиты Кромвелем, спасся бегством и, по преданию, прятался в ветвях дуба.

подарить тебе какую-нибудь мелочь, и он уже готов вообразить невесть что. Быть или не быть бюстгальтеру — вот в чем вопрос. Жу-жу-жуткий вопрос. А чудно было бы, если б над Пиккадилли-серкус, жужжа, кружил жук. Жадный жук, жужжа, кружит — за бюстгальтером спешит. А желательней бы не жужжащего жука, а жаркий жужжащий автобус, чтоб духом домчал до дому. Вот как раз нужный номер отходит. Совсем в ее стиле — лезть на крышу автобуса в час «пик»... Надо ждать, толкаться, пробиваться, не то застрянешь на полчаса... Ага, еще один подошел. Ну, теперь жми, толкайся, про-ди-рай-ся! Вот она и на крыше, здесь такой славный свежий ветерок. Ну и лицо было у этой толстухи, когда она на нее налетела... Не толкайтесь, пожалуйста, так можно и с пог сбить... Еще слава богу, что люди, с которыми сталкиваешься, все больше чужие.

Вечером в объятиях Джима она позабудет на время все страхи, заботы и беды, каждой клеточкой тела, каждой мыслью отзываясь на четкий, воспаляющей кровь ритм барабана, скрипки и саксофона. Она и сейчас уже словно видит веселые, разноцветные огоньки. Чувствует, как руки Джима обнимают ее. А девушки и молодые люди мягко покачиваются в танце, делают плавные повороты, извиваются, прижимаясь друг к другу, скользят, скользят, скользят... Как эти автобусы тихо ползут, ползут... Бррум, тум-тум-тум-тум, бррум-тум, бррум-тум-тум, тирим-тарам-пам-пам-пам, ти-рим-пам-пам, ти-рим-пам-пам... Здорово, Джим, да? Тим-ти-рим, тра-та-та-та... Обними меня крепче, обними меня крепче, обними меня крепче... Тим-ти-рим, тра-та-та-та...

Наконец-то она у своей двери. Ох этот ключ, опять он завалился на самое дно сумки!.. Святому впору взбеситься... Осталось не так уж много времени, чтобы собраться. Скорее утюг, скорее утюг... Какую надеть комбинашку — сиреневую, зеленую или кремовую? Зеленая будет очень мила под черной тюлевой юбкой... В мерном покачивании танца эти цвета будут красиво сливаться. Вид получится просто чудесный... Трам-там-там, ти-рим-пам... Сегодня танцуем весь вечер — передышка лишь для того, чтобы съесть сэндвич и выпить стаканчик вина... Она только-только успеет собраться к тому времени, когда придет Джим, сияя от счастья, и поспешит с ней к трудам и радостям танца... Она увидит, какое напряженное станет у Джима лицо, когда он, танцуя с нею, ошутит ее близость.

Трум-тум-тум, ти-рим-там... Посыльный с почты... Телеграмма... Ответа не будет, бой...

Войдя в комнату, она снова перечитала телеграмму — медленно, с усилием. «Приехали отец матерью тчк пробудут городе несколько дней тчк сегодня все отменяется тчк заказал билеты потанцуем среду тчк привет Джим»... Яростно размахнувшись, она швырнула утюг в дальний угол, вцепилась в зеленую комбинацию и принялась мять ее. Так сидела она молча, и губы ее дрожали.

# Джон Бойнтон Пристли

## *Король демонов*

Труппу, набранную для Большой ежегодной пантомимы Тома Барта в старом браддерсфордском театре «Ройял», раздирала склока. Труппа эта совсем не была «компанией веселых друзей», каковую составлявшие ее актеры усердно изображали при любезной помощи местного рецензента на страницах «Браддерсфорд геральд» и «Уикли геральд баджит». Актриса, игравшая Первого мальчика, сказала своему мужу и еще пятидесяти пяти разным лицам, что она может работать с кем угодно и прославилась благодаря способности работать с кем угодно, но что на этот раз дирекция отыскала и пригласила на роль Первой девочки единственную в своем роде актрису, по милости которой никто уже не может работать ни с кем. Первая девочка сказала своей приятельнице, Второму мальчику, что Первый мальчик и Вторая девочка все портят и могут очень даже просто погубить спектакль. Королева фей то и дело подчеркивала, что по причине всем известной мягкости своего характера она не хочет поднимать шума, по что рано или поздно Вторая девочка узнает кое-что не слишком приятное. Слышали, как Джонни Уипгфилд заявлял, что публика ждет от пантомимы в первую очередь хорошей, крепкой игры главного комика, которому на сцене должна быть предоставлена полная свобода, но кое-кто этого еще не уразумел. Диппи и Доппи намекали, что будь здесь даже две сцены, Джонни Уингфилду все равно бы их не хватило.

Но все были согласны в одном, а именно в том, что в провинциальной пантомиме пет лучшего демона, чем Кирк Айртон, приглашенный Томом Бартом специально

для этого спектакля. Пантомима называлась «Джек и Джил»<sup>1</sup>, и те, кому любопытно, какое отношение имеют демоны к Джеку и Джилу, двум простодушным мальчуганам с бадьей воды, — те должны пойти на ближайшую же пантомиму, после которой их представление о сказках чрезвычайно расширится. Кирк Айртон был не просто демон, но Король демонов: когда занавес поднимался, вы видели его стоящим на полутемной сцене перед небольшим хором демонов-слуг — местных баритонов, получавших по десять шиллингов за вечер. Айртон подходил для этой роли — он был высокого роста, лицо имел прямо-таки сатанинское и к тому же был известен своим умением гримироваться; кроме того, что еще важнее, он соответствовал ей и в вокальном отношении — у него был потрясающий бас самого демонического тембра. Он много раз пел Мефистофеля в «Фаусте» в хорошей гастрольной труппе. Поистине, у этого человека в прошлом было прекрасное будущее. Если бы не одна слабость, он никогда не попал бы в пантомиму. Беда состояла в том, что он уже давно завел привычку больше чем надо «закладывать за галстук». Так все это называли. Никто не говорил, что он слишком много пьет, но все соглашались, что он «закладывает за галстук». И теперь трудно было поручиться, что все сойдет благополучно.

Вначале Айртон репетировал с увлечением, посылая свой могучий голос в пустую заброшенную галерею, но на следующих репетициях появились тревожные признаки «закладывания за галстук».

— Все в порядке, мистер Айртон? — взволнованно спросил помощник режиссера.

Айртон поднял свои грозные сатанинские брови.

— Конечно, — ответил он хрипловато. — Что вас беспокоит, старина?

Тот поспешно объяснил, что он и не думает беспокоиться, и продолжал:

— Все будет отлично. Ваши два номера — это как раз то, что надо здешней публике. В этих краях вообще народец очень музыкальный. Да вы же знаете Брэддерсфорд, ну конечно! Вы тут уже выступали.

— Выступал, — мрачно подтвердил Айртон. — И ненавижу это проклятое место. Сдохнуть можно со скуки. Совершенно нечем заняться.

---

<sup>1</sup> Популярное английское детское стихотворение.

Нельзя сказать, чтобы это заявление обнадеживало. Помощнику режиссера было слишком хорошо известно, что Айртон уже нашел себе занятие в городе, и его восторженное описание местных состязаний по гольфу не имело успеха. Айртон, кажется, ненавидел и гольф. Положение становилось тревожным.

Открывались на следующий день после рождества. К полудню стало известно, что Кирк Айртон был замечен в курительной комнате трактира «Веселый бочар», неподалеку от театра, где он весьма основательно «закладывал за галстук». Его видел там один из рабочих сцены. («И, честное слово, он опрокидывал одну за другой без перерыва», — сказал этот джентльмен, на которого вполне можно было положиться при оценке чьей-либо поглощающей способности.) Оттуда, как выяснилось, Айртон скрылся в обществе нескольких шумных субъектов, из которых двое, по мнению очевидцев, были жителями Лидса — а в Браддерсфорде знали, что такие жители Лидса.

Занавес должны были дать ровно в семь пятнадцать. Почти вся труппа собралась в театре очень рано. Кирка Айртона не было. Не было его и в шесть тридцать, хотя ему еще предстояло сделать сложный грим с блестящими веками из фольги и всем прочим и в момент поднятия занавеса он должен был находиться на сцене. Отправили посыльного к нему на квартиру, по соседству с театром. Но еще до того, как посыльный вернулся и сообщил, что мистера Айртона нет дома с самого утра, помощник режиссера, в отчаянии, стал натаскивать одного из местных баритонов, лучшего среди этих неповоротливых тупиц, на роль Короля демонов. Шесть сорок пять — Айртона нет; семь — Айртона нет. Надеяться было не на что.

— Ну ладно, пусть потом пеняет на себя, — сказал великий мистер Барт, который приехал, чтобы благословить свою Большую ежегодную. — Больше не видать ему у меня ангажемента до самой смерти. А этот здешний молодец — что он такое?

Помощник режиссера тяжело вздохнул и вытер потный лоб:

— Это кривоногий баритон из методистской церкви.

— Придется ему как-то выкручиваться. Надо будет подсократить партию.

— Какое там сократить, мистер Барт! Я и так ее всю искромсал, а он разделается с тем, что еще осталось.

Мистер Том Барт, как и подобает благоразумному им-

пресарио, был приверженцем традиционной пантомимы, начинающейся по старинке таинственной до жути сценой с участием сверхъестественных персонажей. На сей раз вниманию зрителей предлагалась пещера в холме, на вершине которого находился волшебный колодец; в этих мрачных уединенных местах должны были появиться Король демонов и его слуги, размахивая своими темно-красными плащами и сообщая публике о своих адских планах громкими, хорошо поставленными голосами. Затем Королю демонов надлежало исполнить свой номер, не имевший никакого отношения ни к Джеку с Джиллом, ни к демонологии, затем следовал выход Королевы фей в белом луче прожектора, маленький диалог между ними и короткий дуэт.

Декорации пещеры были установлены, пятеро демонослуг заняли свои места, шестой, ставший теперь Королем, получал последние указания от помощника режиссера, а оркестр за занавесом доигрывал увертюру, как вдруг неизвестно откуда на слабо освещенной сцене появилась высокая и невероятно внушительная фигура.

— Боже милостивый! Это Айртон! — вскрикнул помощник режиссера и стал пробиваться к нему, бросив временного Короля демонов, а ныне жалкое его подобие. Вновь прибывший невозмутимо занял свое место в центре. Он выглядел великолепно. Костюм из темно-красной кожи со зловещим зеленоватым отливом был куда лучше заготовленного. Грим был вообще выше всяких похвал. Лицо светилось зеленым фосфорическим светом, глаза вспыхивали из-под сверкающих век. При виде этого лица помощник режиссера вдруг, как последний идиот, затрясся от страха; но, будучи прежде всего помощником режиссера, а потом уже человеком (как и положено помощникам режиссера), он трясся недолго, потому что страх вскоре уступил место бурной радости. В голове его мелькнула мысль, что Айртону пришлось гонять в Лидс или еще куда-то в поисках этого изумительного костюма и грима. Славный старина Айртон! Конечно, он заставил их поволноваться, но дело стоило того!

— Ну что, Айртон, все в порядке? — быстро спросил помощник режиссера.

— Все в порядке, — отвечал Король демонов, сопровождая свои слова небрежным, но величественным жестом.

— Тогда возвращайтесь назад в хор, — сказал помощник режиссера баритону из методистской церкви.



— Слава тебе господи, — отозвался этот джентльмен со вздохом облегчения. Он не был честолюбив.

— Все готовы?

Скрипки заиграли тремоло, и занавес поднялся. Шестеро демонов-слуг во главе с баритоном из методистской церкви, у которого теперь на радостях голос звучал вполне сносно, сообщили публике, кто они такие, и надлежащим образом приветствовали своего монарха. Король демонов, величественно возвышаясь над ними и подчиняя себе все пространство сцены, отвечал им голосом поразительной силы и звучности. Затем он спел свой помер. Номер этот не имел никакого отношения к Джеку и Джилу и почти никакого к демонам — это была довольно избитая песня о моряках, кораблекрушениях и бурях, сопровождаемая бутафорскими громом и молнией. Несомненно, это была та самая песня, которая репетировалась: слова были те же, музыка та же. И тем не менее все было иное. На этот раз песня просто пугала. Слушая ее, вы видели огромные волны, перекатывающиеся через гибнущие корабли, отчаянные бледные лица, исчезающие в морской пучине. Что касается бури, то она превзошла все ожидания. Раздался такой оглушительный удар грома и сверкнула такая молния, что все демоны-слуги, дирижер и те, кто были за кулисами, вздрогнули от неожиданности.

— Черт побери, как вы это устроили? — спросил помощник режиссера, перебежав за сценой в другую кулису.

— Я как раз сейчас это самое спрашивал у Горация, — ответил человек, в ведении которого находились два листа олова и пушечное ядро.

— Ведь никто еще ни к чему и не притронулся, верно? — спросил Гораций.

— По-моему, это кто-то рванул большую китайскую хлопушку для фейерверка, — продолжал его товарищ. — Дурака кто-то валяет, вот и все дело.

Теперь на сцену упал белый чистый луч прожектора, и в нем засияла мисс Далси Феррар, Королева фей, взмахивающая своим серебряным жезлом. Мисс Феррар непонятно отчего нервничала, и ей стоило большого труда держать себя в руках. Конечно, премьера есть премьера, но мисс Феррар переиграла всех Королев фей в течение последних десяти лет (и всех Первых девочек в течение предпоследних десяти лет) и в этой роли, казалось бы, могла ни о чем не беспокоиться. Она быстро заключила, что нервную дрожь у нее вызвало внезапное возвращение мистера Айр-

тона после того, как она успела привыкнуть к мысли, что он больше не придет, и ей стало ужасно обидно. К тому же, как опытная Королева фей, у которой уже и прежде бывали неприятности с демонами, она не сомневалась, что теперь он без конца будет отвлекать от нее внимание публики. И все только потому, что он придумал такой грим! Грим действительно был отличный, тут спорить не приходилось. Это зеленоватое лицо, эти сверкающие глаза — в самом деле, можно струсить! Пожалуй, он хватил через край, решила она. В конце концов, пантомима есть пантомима.

Мисс Феррар, все еще размахивая жезлом, сделала несколько шагов и воскликнула:

«Твои я козни знаю, о злодей,  
Но не боюсь тебя я, демонов Король!»

— Кто ты? — проревел он, презрительно уставив в нее длинный указательный палец.

Мисс Феррар полагалось ответить: «Я Королева Страны фей», но она не могла выговорить ни слова. Когда этот чудовищно длинный палец уперся в нее, она внезапно почувствовала острую боль и застыла, парализованная. Она стояла, неловко держа свой жезл, широко раскрыв рот, недвижимая, онемевшая. Но мозг ее сохранял прежнюю активность. «Неужели это удар? — спрашивал он лихорадочно. — Как тогда у дяди Эдгара в Гринвиче? О-о, наверняка! О-о, что мне делать? О-о! О-о! О-о-о-о-о!».

— Хо-хо-хо-хо-хо! — Король демонов развеселился и огласил театр ужасными лающими звуками.

— Ха-ха-ха-ха-ха! — это смеялся баритон из методистской церкви со своими товарищами; смех был жалкий, неуверенный, чуть ли не виноватый и свидетельствовал о том, что баритон-методист и его товарищи, эти добропорядочные браддерсфордские демоны, вконец растерялись.

Их король сделал быстрый, почти незаметный жест рукой, и мисс Феррар вновь обрела способность двигаться и говорить. В следующую секунду она уже сама не верила, что сейчас только была не в состоянии говорить и двигаться. Та страшная минута унеслась как дурной сон. Она снова бросила ему вызов, и на сей раз не произошло ничего, кроме обычного обмена несколькими корявыми строчками плохих стихов. Их, впрочем, было немного, так как за

диалогом следовал дуэт и всю предшествующую ему сцену надлежало прогнать возможно скорее. Этот дуэт, в котором два сверхъестественных существа в очередной раз бросали вызов друг другу, был заимствован из раннего Верди и обработан местным композитором и дирижером.

Они спели по несколько тактов каждый, потом у них была пауза, а дирижер тем временем продемонстрировал возможности своего оркестра из четырнадцати человек в весьма внушительном пассаже. Воспользовавшись передышкой, мисс Феррар, стоявшая совсем рядом со своим партнером, шепнула:

— Вы сегодня удивительно в голосе, мистер Айртон. Завидую вам. А я страшно нервничаю — даже не знаю почему. Дорого бы я дала, чтобы петь так, как вы!

Ответом ей была вспышка этих сверкающих глаз (грим в самом деле был изумительный!) и странное едва заметное движение длинного указательного пальца. На большее не оставалось времени, так как снова началась вокальная партия.

Тому, что произошло дальше, ни один человек в театре не удивился сильнее, чем сама Королева фей. Она никак не могла поверить, что прекрасное и звучное сопрано, звеневшее и рвавшееся ввысь, принадлежало ей. Оно было потрясающим. Ковент-Гарден устроил бы ему овацию. Никогда прежде, за все двадцать лет усиленной работы голосовыми связками, мисс Феррар так не пела, хотя она всегда чувствовала, что где-то в ней дремлет такой голос, который только дожидается условного знака, чтобы прорваться и поразить мир. И теперь каким-то невероятным образом этот знак был ему дан.

Но Королева фей не затмила своего сверхъестественного партнера. Ничто не могло бы затмить Айртонна с его глубоким басом и великолепной мимикой. Они превратили этот украденный и изуродованный дуэт в произведение искусства, полное большого смысла. Вы слышали в нем битву Неба и Ада. Занавес опустился при довольно громких, но редких аплодисментах. В Брэддерсфорде очень любят музыку, но, к сожалению, те, кто особенно ее любят, не бывают на премьерах пантомимы, иначе восторгу публики не было бы конца.

— Грандиозно, — сказал мистер Том Барт, все это видевший и слышавший. — Ничего, Джим. Пускай они поклонятся. Вы двое, идите кланяться! — И когда оба они поклонились — мисс Феррар в возбуждении, вся дрожа,

а Король демонов, которого все происходящее явно забавляло, спокойно, почти презрительно, — мистер Барт продолжал: — Я вам говорю, в другом городе из-за этого пришлось бы просто остановить спектакль. Но здесь с ними беда: не хотят хлопать, и все тут. Тяжелы на подъем.

— Сущая правда, мистер Барт, — заметила мисс Феррар. — Их здесь трудно расшевелить. А хорошо бы! Правда, мистер Айртон?

— Напротив, расшевелить их очень легко, — произнесла высокая фигура в темно-красном костюме.

— Если это вообще возможно, то сейчас они должны были бы проснуться, — ответила мисс Феррар.

— Вот именно, — согласился мистер Барт снисходительно. — Вы были грандиозны, Айртон. Но этих ничем нельзя расшевелить.

— Можно, можно, — Король демонов, который, как видно, очень вошел в образ, потому что еще не возвратился к обычным интонациям, шелкнул своими длинными пальцами приблизительно в направлении зрительного зала, издал короткий смешок, повернулся и вдруг бесследно исчез, что, впрочем, и нетрудно было сделать, так как за кулисами всегда уйма народу.

Полчаса спустя мистер Барт, его директор и помощник режиссера пришли к единодушному выводу, что в Бродерсфорде что-то неладно. Должно быть, вино в этом городе лилось как вода — другого объяснения не было.

— Или они все пьяны, или я! — кричал помощник режиссера.

— Двадцать пять лет показываю им пантомимы, — сказал мистер Барт, — но никогда ничего похожего не было и в помине.

— Зато по крайней мере никто не может сказать, что они недовольны.

— Недовольны! Они слишком довольны! Они там все с ума посходили. Честно говоря, мне это даже не нравится. Уж слишком это хорошо.

Помощник режиссера взглянул на часы.

— Во всяком случае, спектакль здорово затягивается. Интересно, когда мы кончим с такими темпами? Если так пойдет каждый вечер...

— Вы только послушайте, что там творится, — сказал мистер Барт. — И это ведь самая старая хохма во всем

спектакле. Вы только послушайте! Нет, черт возьми, они все выпивши!

Что же произошло? А вот что: просто-напросто публика вдруг решила вести себя так, как в Браддерсфорде не было принято. За браддерсфордцами давно установилась печальная слава людей, которым трудно угодить — и не по причине особой изысканности их вкуса, но главным образом потому, что если уж им приходится выкладывать деньги, то они требуют взамен чего-нибудь такого, что оправдало бы затраты, и обычно приходят в места увеселения в мрачном и подозрительном расположении духа. Наиболее выносливые импресарио любят устраивать свои премьеры именно в Браддерсфорде, зная, что, если спектакль прошел там, он пройдет где угодно. Однако последние полчаса принесли столько смеха и аплодисментов, сколько театр «Ройял» не слышал и за полгода. Каждый выход вызывал бурю рукоплесканий. Самые мелкие и заезженные шутки и трюки заставляли весь театр визжать, реветь и ходить ходуном. После каждой песни раздавались настойчивые требования биса. Даже арестанты, специально выпущенные из тюрьмы ради этого спектакля, вряд ли оказались бы более благодарной аудиторией.

— Знаете, — сказал Джонни Уингфилд, вернувшись со сцены, где он изображал старуху, преследуемую коровой, — мне что-то страшновато. Что с ними такое? Что это — новый способ освистывать?

— Меня не спрашивайте, — сказала Первая травести-мальчик. — Я здесь всегда была любимицей публики, это вам может подтвердить мистер Барт, поэтому я нисколько не удивилась, что они так принимают меня, но что они делают теперь! Устраивать столько шума буквально из ничего — это же курам на смех! И спектакль затягивается.

Еще через четверть часа этого дикого восторга, этого бреда мистер Барт недовольно говорил, обращаясь к Первой девочке и стоя к ней более чем вплотную, против чего Первые девочки, как правило, не возражают:

— Слушайте меня, Элис. Если это сейчас не прекратится, я скажу речь со сцены и призову их к порядку. Вот уж никогда бы не поверил, что они могут так себя вести. Кстати, забавная вещь: только что я кому-то сказал — стойте, кому же это? — в общем, я сказал, что мне хотелось бы, чтобы эта публика немножко расшевелилась. Ну так теперь я беру свои слова обратно. Вот что.

Раздался чей-то довольный смех — негромкий, но сочный и отчетливый.

— Эй! — закричал мистер Барт. — Кто там? Что еще за шуточки?

Поблизости от них явно никого не было.

— По голосу похоже на Кирка Айртона, — сказала Первая девочка.

Но Айртона нигде не было видно. Два человека, искав в его уборной и около нее, вернулись ни с чем. Но до следующего выхода Айртона оставалось еще около часа, и ни у кого не нашлось времени проверить, не напивается ли он снова. Странно, однако, что неистовство публики прекратилось так же внезапно, как и началось, и еще задолго до антракта она снова стала знакомой невозмутимой браддерсфордской толпой, упрямо дожидавшейся того, что оправдало бы затраченные деньги. Пантомима шла своим чередом, в точности как на репетиции, до тех пор, пока не настало время очередного выхода демонов.

Джек, найдя волшебную воду и скатившись с холма, должен был забрести в таинственную пещеру и немного в ней отдохнуть. По крайней мере он объявил, что собирается отдохнуть. Но, изображаемый крупной и пышнотелой женщиной, по-видимому, наделенной неугомонным женским темпераментом, он вместо этого с большим удовольствием спел популярную песенку. В конце песни, когда Джек снова объявил, что сейчас он отдохнет, из люка должен был появиться Король демонов. Тут снизу сообщили, что Король демонов не пришел и выстреливать на сцену некого.

— Куда, ну куда, к черту, девался Айртон? — стонал помощник режиссера, посылая людей на поиски во все концы театра.

Момент настал. Джек проговорил свою реплику, и помощник режиссера из кулисы делал актрисе отчаянные знаки. Джек взвизгнул, и это стало самым реалистическим эпизодом во всей пантомиме. Дело в том, что в режиссерском экземпляре была ремарка «пугается», и Джек всякого сомнения испугался (вернее, испугалась) по-настоящему, ибо еще не отзвучала реплика, как все увидели страшную зеленую вспышку, затем ослепительное темно-красное сияние, и перед Джеком возник появившийся буквально ниоткуда Король демонов. Теперь Джек был в плену, где ему предстояло дожидаться своих спасителей — Джила и Королевы фей. Тут, очевидно, у Первого мальчи-

ка внезапно прорезались актерские способности, которые прежде никто не мог бы заподозрить, или она действительно была насмерть перепугана, потому что стала похожа на огромного кролика, затянутого в трико. Это импровизированное появление Короля демонов вывело ее из равновесия, и она то и дело бросала в кулисы беспокойные взгляды.

После долгих дискуссий, во время которых было немало выпито, решили ввести в эту пантомиму новую танцевальную сцену в виде адского балета. Король демонов, желая поразить своего пленника и продемонстрировать ему свое могущество, прикажет своим подданным танцевать — разумеется, не раньше, чем сам он позволит себе удовольствие спеть кое-что в сопровождении своей верной шестерки. Об этой сцене в Брэддерсфорде говорят по сей день. Только в тот вечер, один-единственный раз, ее видели во всем блеске, но этого оказалось достаточно, ибо она вошла в местные хроники, и в брэддерсфордских барах часто держат пари по этому поводу и призывают хозяина заведения рассудить спорщиков. Сначала Король демонов спел свой второй номер в сопровождении баритона из методистской церкви и его товарищей. Сделал он это просто великолепно, и шестерка во главе с баритоном-методистом, начавшая довольно вяло, под его свирепым взглядом тоже стала выше всяких похвал. После чего Король демонов должен был призвать своих танцующих подданных, взятых из труппы под названием «Веселые йоркширские девочки Тома Барта» и наряженных в изящные, но с некоторой чертовщинкой красные и зеленые одежды. Предполагалось, что во время танцев «Веселых йоркширских девочек» на авансцене шестеро демонов-слуг будут делать на заднем плане какие-то ритмические движения, намекая, что они тоже могли бы танцевать, если бы захотели; этот намек, как знал и помощник режиссера и сам режиссер, был чистейшим обманом. В действительности шестеро брэддерсфордских баритонов не умели танцевать и не стали бы даже пробовать по причине своей неуклюжести, а также дикого упрямства.

Но теперь, когда «Веселые йоркширские девочки» вволю порезвились, Король демонов выпрямился во весь свой исполнинский рост, махнул рукой в сторону баритона-методиста и его товарищей и строго приказал им танцевать. И они затанцевали, они заплясали как одержимые! Король сам отбивал им такт, то и дело сверкая глазом на дирижера, чтобы этот джентльмен быстрее махал своей па-

лочкой, а шестеро его верных слуг с самыми нелепыми и недоумевающими физиономиями выделявали удивительнейшие антраша, высоко подпрыгивали, перекатывались друг через друга, раскидывая в экстазе руки и ноги — и все точно под музыку. Их лица блестели от пота, глаза растерянно вращались, но они не останавливались, а продолжали скакать еще безумнее, как настоящие разыгравшиеся демоны.

— Танцуйте все! — проревел Король демонов, щелкнув своими длинными пальцами, как кнутом, и четырнадцать циников, сидевших в оркестровой яме, вдруг, должно быть, почувствовали прилив вдохновения, потому что они заиграли как сумасшедшие, но на редкость чисто и музыкально, и на сцену снова вышли «Веселые йоркширские девочки» и тоже включились в эту дикую забаву, притом не так, как если бы делали что-то сто раз отрепетированное, а так, словно их тоже охватило вдохновение. Они присоединились к разбушевавшейся шестерке, и вот уже восемнадцать «Веселых йоркширских девочек» превратились в десятки, сотни... Сама сцена, кажется, стала расти, чтобы дать место всем этим вертящимся фигурам, этому буйному разгулу. Они кружились, и прыгали, и скакали как помешанные, и публика, вытряхнутая наконец из оболочки своей невозмутимости, громко их приветствовала, и все слилось в одном вихре сплошного безумия.

Однако когда это кончилось, когда Король закричал: «Остановитесь!» — и все затихло, стало казаться, что ничего этого не было, что каждому все это привиделось, и никто не решился бы поклясться, что это произошло на самом деле. Баритон-методист и его пятеро товарищей чувствовали некоторую слабость, но каждый из них был убежден, что вся эта дикая пляска вообразилась ему, пока он делал спокойные ритмические движения на заднем плане. Никто уже ничего не мог сказать определенно. Пантомима шла своим чередом; Джил и Королева фей (которая теперь жаловалась на невралгию) освободили Джека, а Король демонов незаметно скрылся. Его начали искать, когда представление подходило к концу и оставался только большой заключительный проход всех персонажей. Он должен был идти с Королевой фей, деля с нею аплодисменты, адресованные сверхъестественным персонажам. Мисс Феррар, терзаемая невралгией, отложила из-за него свой выход, но, поскольку Король не нашелся, она одна поднялась сзади по маленькой лесенке, чтобы величественно спу-



ститься вниз, к публике. Но, уже стоя на верхней ступеньке и собираясь сделать первый шаг, она, к удивлению своему, обнаружила, что ее сверхъестественный партнер тоже здесь и что скрывался он, должно быть, затем, чтобы подновить свой грим. Сейчас у него был еще более дьявольский вид, чем раньше.

Когда они шли между рядами «Веселых йоркширских девочек», теперь до зубов вооруженных копьями и щитами в блестящих, мисс Феррар прошептала:

— Надо было заказать букет. Здесь никогда ничего не дожدهшься.

— Вам хочется цветов? — спросила фантастическая фигура рядом с ней.

— А как вы думаете! Всякий бы захотел...

— Нет ничего проще, — заметил он, неторопливо кланяясь огням рампы. Он взял ее за руку и повел в сторону, и лишь только их руки соприкоснулись (мисс Феррар расскажет вам об этом уже через каких-нибудь полчаса после вашего знакомства), — как ее невралгия бесследно исчезла. Теперь наступило время цветов. Мисс Феррар знала: Первой травести-девочке поднесут букет, купленный дирекцией, а Первой травести-мальчику — букет, купленный ею самой.

— Ой, смотрите! — воскликнула Вторая травести-мальчик. — Что творится! Брэддерсфорд сошел с ума!

Пространство между оркестровой ямой и первым рядом партера превратилось в оранжерею. Дирижера не было видно из-за огромных букетов, которые он едва успевал передавать. Букетов были десятки, и один был красивее другого. Это не укладывалось в голове. Как видно, кто-то потратил на цветы целое состояние. Их все подавали и подавали под несмолкающие аплодисменты и приветственные возгласы, и у каждой актрисы уже было по меньшей мере два или три букета. Мисс Феррар, порозовевшая, с широко раскрытыми глазами и огромной охапкой орхидей, повернулась к своему сверхъестественному коллеге, но обнаружила, что тот снова успел незаметно скрыться. Занавес опустился в последний раз, но все оставались на сцене, нагруженные дорогами цветами, и возбужденно болтали. Вдруг кто-то вскрикнул «ай!» и выронил свои цветы, и другие тоже вскрикнули «ай!» и выронили свои цветы, пока наконец все, у кого были в руках букеты, не выронили их с криком «ай!».

— Жжет! — вопила Первая девочка, дую на пальцы. —

Жжет как огонь. Поглядите, как меня обожгло! Ну и шуточка!

— Оп, смотрите! — снова воскликнула Вторая травести-мальчик. — Смотрите на цветы — они все вянут!

И правда, они все увядали, бледнели, роняли лепестки, свертывались, съеживались, умирали...

— Вам тут час назад записочку принесли, сэр, — сказал швейцар директору, — да только я никак не мог до вас добраться. Это из лидской больницы. Сказали, что мистера Айртона днем сбила машина на Кабаньей улице, но завтра он будет на ногах. Они сначала не знали, кто он такой есть, и никому не могли дать знать.

Директор выпучил глаза на швейцара, издал какие-то странные звуки и пустился бежать, мысленно подписывая обеты трезвости и воздержания.

— И еще одно дело, — сказал рабочий сцены помощнику режиссера. — Вот тут я его видал в последний раз. Постоял он минуту, а в следующую минуту его уже не было. Гляньте-ка теперь на это место: вон, все обуглилось.

— Это точно, — сказал его товарищ, — да вы принюхайтесь, просто потяните носом, и больше ничего не требуется. Не знаете, кто это начал палить серу в театре? Уж во всяком случае, не мы с вами, а? Но я, кажется, догадываюсь кто.

# Джон Бойнтон Пристли

## *Мой дебют в опере*

Я принадлежу к числу очень немногих писателей, выступавших в Бичемской оперной труппе. Правда, от меня не ждали пения, хотя я и пел. Правда и то, что я играл в этой труппе всего один вечер. Меня не просили выступить снова, но, с другой стороны, я и не напрашивался на такие просьбы. Одного раза было вполне достаточно, ибо мое честолюбие не распространяется на оперу; и теперь никто не скажет, что я не выступал в опере, точно так же как нельзя сказать, что я не бывал в Африке — при мне остается мой вечер с Бичемской труппой и мои полдня в Алжире.

Время действия — десять лет назад, весна 1919 года. Место действия — провинциальный город. Я только что вернулся с великой войны, как теперь называют это мрачное, бесконечное, отвратительное чередование героизма и скуки. Я пишу статьи и обзоры для местной газеты по гинее за столбец. На одной из главных улиц города я неожиданно встречаю старого знакомого, и мы с ним тут же обмываем встречу, причем количество выпитого каждым из нас пива он потом весьма приблизительно определит как «четверть пинты». Он сообщает мне, что на этой неделе помогает Бичемской оперной труппе. Я вспоминаю, что он постоянно стоит на выходах в местных театрах. Я сам видел его в ролях восточного слуги, полисмена, присяжного, лесничего и епископа в «Ричарде Третьем». Поистине жалкой бывала неделя в нашем театре «Ройял», если он не появлялся на выходе в том или ином качестве, но всегда без слов. Тут выясняется, что как раз сегодня он с пятью приятелями занят на выходах в «Ромео и

Джувьетте» Гуно. Это одна из немногих опер, на которые я не заказывал места. У меня нет желания смотреть «Ромео и Джульетту», но я с удовольствием выступил бы в этой опере. Я даже выражаю готовность — так нетерпеливы, так опрометчивы мы, любители, — нужно лишь отдать плату за вечер (целых два шиллинга и шесть пенсов) человеку, чье место я займу. Это можно устроить. Я должен подойти к театру в семь тридцать и ждать моего знакомого у служебного подъезда.

И вот я там, и оп там, и мы оба, бросив последний взгляд на толпы ожидающих зрителей, входим в служебный подъезд. Мы поднимаемся по лестнице, потом спускаемся по лестнице, потом идем по стольким коридорам, что я окончательно теряюсь. Наконец мы добираемся до костюмерной, где жарко, как в печке, что вполне естественно, ибо она расположена, по-видимому, где-то возле центра земли. В комнате этой висит одно большое зеркало, стоят несколько больших театральных корзин, неистребимый запах грима и один унылый маленький человечек без пиджака. На стене предупреждение: курить строго воспрещается. Мы все тут же закуриваем — все, кроме маленького человечка, который уже курил, когда мы вошли, и, кажется, курит без перерыва по меньшей мере лет сорок. Он открывает одну из корзин и начинает бросать нам костюмы.

Я оказываюсь одетым в какой-то черно-желтый камзол п трико — одна штанина черная, другая в черную и желтую полоску; теперь я похож на толстую осу. Человечек принимается за наши лица и в каждое по очереди втирает красную и коричневую краску. Потом мы надеваем коричневые или черные парики, густые и коротко подстриженные, и венчаем их маленькими круглыми шляпами наподобие тех, которые носят стражники в Тауэре. В парике очень жарко, и шляпы сквозь него не чувствуешь. В довершение всех наших неудобств всем статистам вручают пики по восемь футов длиной. Мы, оказывается, городская стража Вероны, и я не сомневаюсь, что мы выглядим как надо, а может быть, даже лучше, чем надо. Мы все служили в армии, и, держу пари, мы в два счета разогнали бы настоящую городскую стражу Вероны, а заодно Винченцы и Падуи. Только не с этими пиками, конечно. Когда такая большая оперная труппа, как Бичемская, играет в провинциальном театре, за сценой трость негде поставить, не то что шесть восьмифутовых пик. Когда мы тащим свои пики

по лестницам и коридорам, Монтекки и Капулетти дружно осыпают нас проклятиями. «Чума на оба ваши дома!» — бормочем мы, тщетно стараясь расцепиться.

Мы добираемся до кулис. Опера началась, но мы еще некоторое время свободны. Нам кажется, что нужна невероятная смелость, чтобы выйти в это ярко освещенное пространство, однако мы видим молодых людей, пробегающих туда и обратно без всякого волнения. Меркуцио или какой-то другой бородатый кавалер размахивает шпагой, берет высокую ноту, затем возвращается в кулису и закуривает. Теперь нас собирают. Помощник режиссера замечает наше существование. Я никогда не встречал человека более беспокойного вида. Все, что он делает, — это одна последняя отчаянная попытка. Каждый вечер он умирает сотней смертей. Теперь он хватается пикой и показывает нам, как ее надо носить.

Наши обязанности, объясняет он, просты. Мы появляемся на сцене дважды. В первый раз мы выходим, стоим, уходим обратно. Ничего не может быть проще, хотя он явно не верит, что для нас это окажется просто. Он только хочет сказать, что будь этот мир таким, каким он его представлял себе, идя в помощники режиссера, это было бы просто. Теперь же он нисколько не удивится, если мы гордо обойдем сцену, протыкая декорации своими пиками. Он единственный нормальный человек в этом сумасшедшем мире. Но вот приближается главная сцена. Все больше и больше людей с шумом теснятся к выходу. Наконец, кроме нас, в кулисах никого не остается. Пора? Да. События в Вероне достигают кульминации. Что же делать? Только одно: позвать городскую стражу. Но придет ли городская стража? Она придет. В это время стражники, боязливо неся свои шесть пик, пробираются по узенькому проходу между задником и стеной, чтобы появиться в центральной арке. Мы появились. Нас не встретили аплодисментами; никто не обратил на нас внимания — ни на сцене, ни в зале, — но мы мужественно проделали все, что нам надлежало проделать. Мы вышли, постояли и ушли обратно. Половина оперы была спасена. Вернувшись за кулисы, я услышал гром аплодисментов и полюбопытствовал, адресована ли часть их нам и говорят ли зрители друг другу: «Солисты и хор — так себе, но городская стража превосходна, особенно третий, с черной штаниной». А что случилось бы, если бы я пожелал выйти на поклон с Ромео и Джульеттой? Вот я стою между ними с пикой в

руке и грациозно раскланиваюсь... Однако я возвращаюсь в нашу подземную костюмерную вместе с остальными. Маленький человечек, погруженный в еще более глубокое уныние, по-прежнему здесь. Наверное, он был здесь всегда. Может быть, театр был построен вокруг него.

Скоро наш второй и последний выход. Мы опять в кулисах, и помощник режиссера, теперь совершенно безнадежно, как человек, смирившийся со своей судьбой в этом идиотском мире, дает нам указания. В наши движения будет внесено восхитительное разнообразие. На этот раз нам предстоит выйти, развернуться, остановиться и уйти обратно. Раньше зрители видели нас как плотную массу, теперь же мы предстанем им разбросанными группами. Потом, несомненно, будет много разговоров: некоторым хотелось бы здесь большей монолитности, других приводит в восторг именно эта разбросанность, при которой индивидуальные черты, например черная штанина, изящно обтягивающая ногу, становятся более выпуклыми.

Вот наконец и эта вторая большая сцена. Собралась вся Верона. Мы сдвигаем шапки набок, хватаем пики и идем, величественно развернувшись. Мне достается почетный пост. Я стою на страже у самой церковной двери, как раз между этой дверью и рампой, до которой меньше двух футов. Я стою изящно и непринужденно. Я размышляю о том, что будет, если я уроню мою пикку, в которой теперь, кажется, уже не восемь футов, а все двадцать. Вышибет ли она мозги музыканту, играющему на английском рожке внизу, в траншее? Им там тоже хватает дела. Я всех их хорошо вижу. Я вижу ряды лиц в партере и в ярусе. Все хористы поют, и я присоединяюсь к ним, обнаружив, что Гуно мне вполне по силам. Может быть, глупо, что стражник, стоящий на посту с пикой, запел, но это ничуть не глупее, чем когда поет любой другой. Драма развивается. Я чувствую сильное желание уронить свою пикку или принять более заметное участие в действии. Почему скромный городской стражник — например, тот, с черной штаниной, — не может вдруг сделаться героем «Ромео и Джульетты»? Или почему мы, копыеносцы, не можем взять на себя руководство всей драмой и для начала очистить сцену? Какое было бы развлечение! А что случилось бы, если бы мы послали в дирекцию записку с требованием выдать нам по пять фунтов на каждого и с угрозой в случае отказа очистить сцену вот этими самыми пиками? В конце концов, мы вынесли оперу на своих руках. Сверх того, мы

несли наши пики, и что касается меня, то мне моя надоела. Ну вот, кончилось. По крайней мере настоящая опера кончилась — та часть, в которой участвуют копьеносцы, хотя там кое-что осталось доделать Ромео, Джульетте и другим незначительным персонажам. Мы возвращаемся в недра земли, волооча пики по полу, бросаем черные и желтые трико и стриженные парики унылому маленькому человечку, моемся, одеваемся, получаем свои деньги и отправляемся пить пиво.

Таков был мой дебют в опере — именно таков, и состоялся он как раз десять лет назад. Я ничего не выдумал; я ничего не преувеличил и не приукрасил; и все же я не жду, что мне поверят.

# Роберт Л. Стивенсон

## *Провидение и гитара*

### Глава I

Леон Бертелини заботился о своей внешности и держался так, как велел костюм, облакавший его в ту пору суток. То он подчеркивал все, что было в нем испанского, то все, что было в нем бандитского, то походил на Рембрандта в домашней среде. Он был весьма невысок и склонен к полноте; лицо его сияло добродушием, а темные, живые глаза говорили о нежном сердце, веселом нраве и неутомимейшем духе. Если б он одевался, как все, его приняли бы за неизвестную еще науке помесь цирюльника, кабатчика и аптекаря, изготавливающего лишь сладкие микстуры. Но стоило вам увидеть вызывающую бархатную куртку, широкополую шляпу, панталоны, обтягивающие, как трико; белый шейный платок, олимпийский локон на лбу и башмаки, тонкие как у мольеровских модников, которые он носил в любую погоду,— и вы понимали, что перед вами великий человек. Надевать пальто в рукава он считал ниже своего достоинства, и оно держалось на одной пуговице; он откидывал его назад, словно плащ, и носил с осанкой Альмавивы. Я думаю, что мсье Бертелини приближался к сорока. Но сердце у него было детское, чувствительное и смелое, и по жизни он шел как мальчишка, вечно кого-нибудь играя. Быть может, он не был Альмавивой, но старался как мог. Он не был Альмавивой, но иногда наслаждался жизнью не меньше, чем этот граф.

Я видел его, когда он думал, что никто его не видит, кроме бога. Он играл так пылко, так самозабвенно, сиял таким весельем и рыцарством, что, покоряясь иллюзии, я верил его игре и его величию.



Но, как ни жаль, одним альмавивством не проживешь — и вот, провалившись в нескольких театрах, наш великий был вынужден спускаться с высот, петь комические песенки, брэнчать на гитаре, веселить сельских жителей и углубляться, к довершению бед, в таинства лотереи.

Мадам Бертелини, делившая с ним столь недостойные труды, стояла, быть может, выше его на лестнице бытия и не утратила достоинства. Но сердце ее не было добрей его сердца — это невозможно; лицо же обрело печальное выражение, приятное на свой лад, но намного уступавшее воинственному, бодрому, юному задору ее повелителя.

Леон Бертелини витал над земной суетой, словно бу-мажный змей в ветреную погоду. Всюду, где он пролетал, нередко гремели грозы; но там не знали ни скучных туманов, ни слезливых дождей. Удар кулаком по столу, благородная поза (в духе Меленга и Леметра<sup>1</sup>) — и дурное настроение исчезало, словно он отомстил обидчику. Пусть рушится небо — была бы хорошая роль! Духом своим, если не примером, Бертелини подбодрял жену, они любили друг друга и шли рука об руку, хотя порой казалось, что идут они в разные стороны.

Однажды чета Бертелини с двумя чемоданами и гитарой в запасном футляре высадилась на станции Кастельле-Гаши и отправилась на омнибусе в гостиницу «Черная голова». Невзрачное это здание стояло в узкой улочке; когда ворота были заперты, оно выдержало бы осаду, внутри же стоял запах сена, какао и старого женского платья. Бертелини помедлил на пороге — ему стало не по себе. Он вспомнил, что в какой-то гостинице, где пахло точно так же, его плохо приняли.

Хозяин, зловещее создание, встал из-за конторки, над которой висели ключи, и двинулся к ним, снимая обеими руками большую фетровую шляпу.

— Приветствую вас, мсье, — сказал Бертелини. — Не скажете ли, сколько вы берете с актеров?

— С актеров? — переспросил хозяин, и улыбка его исчезла. — А, с актеров! — грубо повторил он. — Четыре франка. — И повернулся спиной к столь ничтожным постояльцам.

Коммивояжера тоже встречают не бог весть как, но все же встречают, все же закалывают жирного тельца. Но ак-

---

<sup>1</sup> Известные французские актеры.

тера, будь он сам Альмавива и одевайся, как Соломон в своей славе, принимают как собаку или робкую одинокую даму.

Бертелини привык к терниям своего ремесла, но тут и его покорило.

— Эльвира, — сказал он, — запомни мои слова: в Капель-ле-Гаши нас ждут роковые безумства.

— Подожди, посмотрим, сколько мы тут соберем, — ответила Эльвира.

— Увидишь, — возразил Леон, — мы соберем одни обиды. Я чувствую, Эльвира, я — чуток: место это дурное. Хозяин груб, грубыми будут и власти, зрители примут нас плохо, а ты застудишь горло. Напрасно мы приехали! Это — новый Седан.

Чета ненавидела Седан не только из патриотизма (они были французы и в обычной жизни носили простую фамилию Дюваль), но и потому, что сами потерпели там поражение. Их держали в гостинице, где они не уплатили по счету, и, если б не чудо, они остались бы в залог навеки. Слово «Седан» действовало на них, словно красное на быка. И теперь при этих звуках Альмавива выразительно и горько нахлобучил шляпу, и даже Эльвире показалось, что это не к добру.

— Давай закажем завтрак, — с женским тактом предложила она.

Полицейский комиссар Капель-ле-Гаши был тучен, багров, прыщеват и вечно в испарине. Я сразу назвал его должность, потому что он был прежде всего комиссаром, а не человеком, его распырало чувство собственного достоинства. Он нес свои полномочия, как символ государственной власти. Обижая неповинного жителя, он думал, что как-то косвенно угождает начальству. Не отличаясь благородством, он был груб от чрезмерного рвения. Проходя мимо его норы, прохожие слышали, как он не столько творит суд, сколько бранится властью.

Шесть раз ходил к нему в тот день Бертелини за разрешением на концерт; шесть раз его не заставлял. К Леону начали привыкать и звали его «этот, который к комиссару». Он стал местной достопримечательностью. Ребячишки от него не отставали, труся от гостиницы к комиссару и от комиссара к гостинице. Роль Альмавивы не совсем удавалась, хотя он старался как мог — скручивал сигарету, садился верхом на стул и надевал шляпу набекрень то так, то эдак.

Когда он в седьмой раз пересекал базарную площадь, ему показали комиссара, который, заложив руки за спину, в расстегнутом жилете, наблюдал за продажей масла. Пробравшись среди лотков и прилавков, Леон поклонился комиссару лучшим из своих поклонов.

— Имею ли я честь, — спросил он, — видеть самого комиссара?

Комиссар не остался равнодушен к столь пышному обращению и поклонился еще ниже, хотя и не так изящно.

— К вашим услугам, — выговорил он.

— Мсье, — продолжал наш певец, — мсье, я артист, и я позволил себе прервать ваши важные занятия. Сегодня я хотел бы дать небольшой концерт в кафе «Славный плуг», разрешите вручить вам программу и просить вашего разрешения.

При слове «артист» комиссар надел шляпу. Всем своим видом он показывал, что сдался слишком рано и долг зовет его.

— Идите, идите, — кинул он, — я занят, масло проверяю.

«О господи!» — подумал Леон, а сказал:

— Разрешите, мсье. Я седьмой раз...

— Положите там ваши бумаги, — прервал его комиссар. — Через час-другой я посмотрю их. А сейчас идите, я занят.

«Масло проверяет! — думал Бертелини. — О Франция! И для этого мы совершали революцию!»

Он быстро все сделал. Бумаги были готовы, программы лежали во всех гостиницах, а в кафе соорудили помост. Но когда он вернулся к комиссару, того еще не было.

— Истая мадам Бенуатон<sup>1</sup>, — рассердился Бертелини, — *Fichu commissaire!*..<sup>2</sup> — И тут же столкнулся с ним лицом к лицу.

— Вот бумаги, мсье, — сказал он, — не будете ли вы так любезны их подписать?

Но комиссар шел обедать.

— Нет, — отвечал он, — нет, я занят. Я разрешаю, давайте свой концерт.

И поспешил домой.

«*Fichu commissaire!*..» — снова подумал Леон.

<sup>1</sup> Персонал; из одноименной пьесы Э. Сарду. Символ неуловимого человека.

<sup>2</sup> Наглый (дрянной) комиссар (*франц.*).

Зрителей было много, и хозяин кафе сбыл им немало пива; но чета Бертелини трудилась втуне.

Леон в бархатной куртке был великолепен; он так курил после каждой песенки, что на это одно стоило посмотреть; и гитару он держал на удивление красиво. Да и само исполнение стоило романтической пьесы — Леон играл смело, изящно, цветисто.

Эльвира не уступала ему. Она вложила особый пыл в свои любовные и патриотические песни, и, глядя на низкий вырез ее темного платья, обнаженные руки, красный цветок у корсажа, Леон повторял в сотый раз, что лучше ее нет никого на свете.

Увы! Когда она обходила зал с тамбурином, сливки местного общества отворачивались от нее, кое-кто бросал монетку-другую, и набиралось с полфранка — даже мэр, по семикратном взывании, дал только два су. Певцам нашим стало не по себе; им казалось, что перед ними какие-то слепые слизняки; сам Аполлон растерялся бы тут. Чета не сдавалась, пела снова и снова, все громче, гитара говорила, как живая, и наконец Леон, расправив плечи, с неподражаемой искренностью запел свою коронную песню «И у а des honnetes gens partout!»<sup>1</sup>.

Никогда еще не выказывал он так полно своего дара; твердо веря, что, вопреки его песне, Кастель-ле-Гаши населен только плутами и мерзавцами, он бросал вызов, приглашал символ веры. Лицо его сияло так ярко — вот-вот обратятся в святых даже скамьи...

Он брал высокую ноту, откинув голову, когда дверь внезапно отворилась и двое людей шумно ввалились в зал. То были комиссар и garde champetre<sup>2</sup>.

Неустрасимый Леон возвестил снова, что «И у а des honnetes gens partout», и зрители явно заволновались. Он удивился — ведь он не знал историю о garde champetre и почтовых марках; зрители же знали и радовались совпадению.

Комиссар опустил на пустой стул, словно Кромвель, явившийся в парламент, и стал перешептываться с garde champetre, стоявшим за его спиной. Оба смотрели на Бертелини, упорствовавшего в своем мнении.

<sup>1</sup> Везде есть честные люди (франц.).

<sup>2</sup> Полицейский (франц.).

«Il y a des honnetes gens partout!» — пел он в двадцатый раз, когда комиссар поднялся и яростно замахал палкой.

— Это вы мне? — спросил Леон, прерывая песню.

— Вам, вам, — отвечал представитель власти.

«Fichu commissaire!..» — подумал Леон и спустился к нему.

— Как же это, разрешите узнать, — сказал комиссар, раздуваясь от злости, — как же это вы паясничаете без разрешения?

— Без разрешения? — вознегодовал Леон. — Позвольте напомнить...

— Ладно, ладно, — прервал комиссар. — Не желаю объяснений.

— Что мне ваши желания? — отвечал певец. — Я объяснюсь, и рта вы мне не заткнете. Я — служитель искусства, мсье, а этого вам не понять. Вы дали мне разрешение, и я на том стою. Пусть выгонит меня кто может!

— У вас нет моей подписи! — заорал комиссар. — Где подпись? Где моя подпись?

И точно — подписи не было. Леон понимал, что дело плохо, но дух его креп по ходу спора, и вот, откинув кудри, он изобразил праведный гнев. Комиссар подыгрывал ему, он был истинным тираном; комиссар наступал — Леон отражал удар. Зрителей захватило представление, и они сидели тихо и важно, как всегда сидят французы в присутствии полиции. Присела и Эльвира, привыкшая к этим сценам; печаль, а не тревога леденила ей душу.

— Еще одно слово, — кричал комиссар, — и я вас арестую!

— Меня? — негодовал Леон. — Посмейте только!

— Я полицейский комиссар! — напомнил комиссар. Леон овладел собой и ехидно ответил:

— Вроде бы так.

Намек, однако, был слишком тонок для Кастель-ле-Гаши; никто не усмехнулся; а комиссар без обиняков приказал певцу следовать за собой и гордо направился к выходу. Пришлось повиноваться. Леон сыграл равнодушные, на самом же деле был оскорблен, но ничего не смог поделать.

Мэр тоже вышел и ждал их у дверей. Во Франции мэры — опора оскорбленных. Они отделяют собой народ от буйной страсти закона. Порой мэр понимает, что ему говорят, и чувство собственного достоинства не всегда за-

темняет ему взор. Путникам это нужно знать. Когда вы в тупике и готовы решиться на несправедливость, у вас, как у героя преданий, есть еще рог у пояса — вы можете воззвать к мэру, и он, толстый «Deus ex machina»<sup>1</sup>, спустится к вам, чтобы спасти вас от тюремщиков. Мэр нашего местечка, глухой к песням Бертелини, твердо знал, однако, кто прав, кто виноват. Он мигом кинулся на комиссара, а тот, не в силах стерпеть унижения, принял смертный бой. Побеждал то один, то другой, но наконец победа стала так явно склоняться к комиссару, что мэру пришлось напомнить, кто он таков. Его переспорили, но все же он — мэр! Он резко отвернулся от противника и быстро (однако мягко) разрешил Леону вернуться в кафе.

— Час поздний, — прибавил он.

Леон не ждал повторений. Он вернулся в кафе, но — увы! — зрители уже исчезли. Эльвира безутешно сидела на футляре; она видела, как все уходит по два, по три человека, и зрелище это сломило ее дух. Каждый, думала она, уносит в кармане то, что по праву принадлежит ей: сегодняшний ночлег, завтрашний поезд, послезавтрашний обед.

— Ну что? — протяжно спросила она.

Леон не ответил. Он оглядывал поле поражения. Осталось человек двадцать, самых никудышных. Стрелка поодвигалась к одиннадцати.

— Проиграли, — сказал он, высыпая монеты из кармачка, — три франка семьдесят пять су! А гостиница стоит четыре франка, а билеты — шесть, и на лотерею времени нет. Эльвира, это — Ватерлоо! — И, опустившись па стул, оп вцепился обеими руками в кудри. — О, fichu commissaire!.. — взывал он. — Fichu commissaire!..

— Соберем-ка вещи и уйдем, — сказала Эльвира. — Можно бы спеть, да у них и шести су не наберется!

— Шести су? — возопил Леон. — Шестьсот тысяч дьяволов! В городе нет людей, одни свиньи, собаки, комиссары. Дай бог целыми до постели добраться.

— Не выдумывай ужасов! — испугалась Эльвира.

И они стали складывать вещи. Связали в узелок табакерку, портсигар, три набора запонок, призы несостоявшейся лотереи, засунули гитару в футляр. Эльвира накинула тонкую шаль, и наши певцы вышли на дорогу, что вела к «Черной голове».

<sup>1</sup> «Бог из машины» — неожиданная помощь (латин.).

Когда они пересекали базарную площадь, на колокольне пробило одиннадцать. Ночь была темная, теплая, улицы пусты.

— Все это очень мило, — сказал Леон, — но что-то меня тревожит. Ночь еще впереди.

### Глава III

Из «Черной головы» не пробивалось ни луча света, и ворота были заперты.

— Неслыханно! — заметил Леон. — Закрывать гостиницу в пять минут двенадцатого! А в кафе еще сидят приезжие торговцы... Эльвира, я чую недоброе. Давай позвоним.

Колокол, висевший под аркой ворот, был звонок; дом задрожал от мощных, ясных звуков и стал еще больше похож па монастырь. Эльвира подумала о постах и молитвах, а Леон, по всей видимости, изучал место действия, готовясь к зловещему пятому акту.

— Сам виноват, — сказала Эльвира. — Меньше бы выдумывал!

Леон снова дернул за веревку, и снова мощные звуки огласили своды. Как только они угасли, за воротами что-то засветилось и зычный голос, дрожащий от гнева, произнес:

— Что такое?

Мрачный хозяин зывал сквозь створки ворот:

— Скоро полночь, а вы звоните, как пруссаки, в приличный отель! А! Вот это кто! Великие певцы! Арестанты! И они еще смеют являться в полночь, как важные господа! А ну проваливайте!

— Разрешите вам напомнить, — нетвердо сказал Леон, — что я ваш постоялец, я записался в книге и оставил у вас багажа на четыреста франков.

— Ночью не пушу, — ответил хозяин, — это вам не притон для повес, бродяг и шарманщиков.

— Негодяй!.. — вскричала Эльвира, уязвленная последним словом.

— Отдайте вещи, — с достоинством сказал Леон.

— Не знаю никаких вещей, — отвечивал хозяин.

— Как вы смеете? Нет, как вы смеете? — закричал Леон.

— А кто вы такие? — парировал хозяин. — В темноте не разглядишь.

— Что ж, значит, задержали вещи!.. — закричал Леон.— Это вам даром не пройдет. Я вас заставлю, по судам загоняю!.. Если есть еще у нас правосудие, оно разрешит наш спор. Вы станете притчей во языцех... Я сложу о вас песню... злую песню, наглуую песню, дерзкую песню... и всякий мальчишка будет ее петь — на улице и тут, у вашей двери!

Голос его повышался с каждой фразой, хозяин же тихо отступал во мрак. Когда исчез последний луч света и последний шаг замер в недрах двора, Леон повернулся к Эльвире и твердо, сурово сказал:

— Теперь у меня есть дело. Я уничтожу его, как уничтожил консьержку Эжен Сю. Идем к жандармерии, начнем нашу месть.

Он взял гитару (она стояла у стены), и, пылая гневом, они двинулись по тихим, слабо освещенным улицам.

Жандармерия притаилась за почтой, в глубине двора, разбитого на маленькие садики. Здесь, взаперти, в безопасности, вкушали сладкий сон пастыри порядка. Пришлось немало постучать, пока один из них вышел, да и то пробурчал, что это «не по его части». Леон спорил, угрожал, требовал:

— Взгляните! — взывал он. — Вот женщина в легком платье... слабая... в положении... (последнее, подозреваю, — для пущего эффекта), но страж закона твердил: «Не по моей части».

— Так, — сказал Леон. — Что ж, пойдём к комиссару, — И они пошли. В окнах не было света, дверь оказалась запертой, по Леон трезвонил как одержимый. Наконец выглянула жена комиссара, худая как щепка, и сообщила, что самого еще нет.

— Он что, у мэра? — спросил Леон.

Она признала это возможным.

— А где живет этот самый мэр? — спросил Леон.

Она объяснила — не слишком связно.

— Стой тут, Эльвира, — сказал Леон, — а вдруг я его упущу! Если я тебя здесь не застаю, иди в трактир.

И он пошел к мэру. Минут десять он блуждал по темным улицам, так что к дому подошел в первом часу. Увидел он не много: длинную белую стену, ветви каштанов над ней, калитку, почтовый ящик, железный звонок. Вцепившись в звонок обеими руками, Леон заплясал па тропинке. Колокольчик по ту сторону степы не обманул его надежд, и тревожный перезвон огласил тьму.



Открылось окно по ту сторону улицы, и голос спросил, кто там беснуется в неурочное время.

— Я хочу видеть мэра! — сказал Леон.

— В такой час он спит, — ответил голос.

— Пускай встанет, — не сдавался Леон и снова коснулся звонка.

— Он не услышит, — сказал голос. — Сад большой, дом в том конце, а мэр и его экономка — оба глухие.

— А! — воскликнул Леон, помолчав немного. — Мэр глухой? Вот оно что! — Он вспомнил о концерте, и ему стало легче. — Значит, он — глухой, сад — большой, а дом — в том конце?

— Звоните хоть всю ночь, — сообщил голос, — толку не будет. Разве что мне спать не дадите.

— Спасибо, — сказал певец. — Спите, мешать не буду.

И он поспешил к комиссару. Эльвира бродила у дверей.

— Нету? — спросил Леон.

— Нет, — отвечала она.

— Так, — сказал Леон. — Конечно, он дома. Где гитара? Я поведу осаду, Эльвира! Я зол, взбешен, я вне себя, но, слава создателю, юмор мой при мне.

Произнося эти слова, он открыл футляр, ударил по струнам и встал в истинно испанскую позу.

— Ну, — произнес он, — пой как можно громче. Ты готова? Начали!

Гитара зазвенела, и два голоса очень громко запели старую песню Беранже:

«Commissaire! Commissaire!  
Colin bat sa menagere!»<sup>1</sup>

Камни Кастель-ле-Гаши содрогнулись от дерзкого новшества. До сей поры ночь была священной обителью отдохновения, царством ночных колпаков; а теперь открывались окна, загорались спички, зажигались свечи, оплывшие сонные лица озарялись слабым светом звезд. Перед домом комиссара стояли двое, откинув голову, глядя в небо. Гитара звенела, стонала, говорила, как добрая половина оркестра, а голоса — свободно, твердо, пылко — бросали вызов комиссару. Эхо во всех концах повторяло «commisaire». Все это было похоже на интермедию Мольера, а не на обычную жизнь Кастель-ле-Гаши.

<sup>1</sup> «Комиссар! Комиссар!  
Колен бьет свою хозяйку» (франц.).

Комиссар не первым, по и не последним поддался чарам музыки и яростно открыл окно. Он задышался от гнева. Перекинувшись через подоконник, он рьяно замахал руками, кисточка на колпаке плясала, как живая; он развел рот широко до невероятия, но оттуда вырывался не рев, а слабый, жалкий писк. Продолжись песня, его бы хватил удар.

Я не решусь передать, что он говорил; тема слишком серьезна для скромного рассказчика. Он славился силой речи и не стеснялся в выражениях, но тут превзошел себя, и одной старой деве, проснувшейся от звуков серенады, пришлось затворить окно на второй его фразе. Но и тогда совесть ее не успокоилась, и на другой день она сказала, что больше не смеет назвать себя девицей.

— Вот я спущусь! — орал комиссар.

— Что ж, — отвечал Леон, — спускайтесь.

— И не подумаю! — ярился комиссар.

— Не посмеете! — отвечал Леон.

Тут комиссар закрыл окно.

— Все, — сказал певец. — Серенаду мою не поняли. Нет у них, у деревенщины, юмора.

— Уйдем-ка поскорей, — сказала Эльвира, вздрогнув. — Они все смотрят... такой стыд. — И она покраснела снова, и вдруг, не в силах сдержать гнева, крикнула: — Негодяи!

— Негодяи, негодяи, негодяи! — громко кричала она в лица, освещенные пламенем свечей.

— «*Sauve qui rent!*»<sup>1</sup> — сказал Леон. — Ты их довела!

Схватив футляр в одну руку, а гитару в другую, он покинул сцену, где разыгралось это глупое событие, так поспешно, что слово «поспешность» здесь не совсем к месту.

#### Глава IV

На запад от Кастель-ле-Гаши уходили ряды старых лип, образуя аллею, чуть освещенную слабым звездным светом, по сторонам от которой лежала кромешная тьма. Там и сям, между деревьями, стояли каменные скамьи. Ветра не было, тяжкий запах заполнил аллею, и каждый листок висел неподвижно, как приклеенный. Сюда пришли наши певцы, тщетно постучавшись еще в один или два постоянных двора. После небольшого нежного спора Леон угово-

<sup>1</sup> Спасайся кто может! (франц.).

рил жену взять его плащ, и вот, они молча сидели на первой скамье. Леон достал сигарету и долго курил ее, глядя сквозь кроны лип на созвездия и тщетно припоминая их названия. Тишину нарушил церковный колокол, нежно и мерно пробивший четыре четверти; потом прогудел долгий удар, замер вдали, и тишина снова воцарилась в аллее.

— Час, — сказал Леон, — до рассвета часа четыре. Ночь теплая, звездная. У меня есть табак и спички. Не раздувай наших горестей, Эльвира, — все это просто замечательно! Что-то словно светится во мне, я возрождаюсь... Да, вот она, поэзия жизни! Вспомни Купера, милая.

— Леон, — гневно отвечала она, — как ты только можешь пороть такую чушь? Ночевать на улице... Кошмар! Мы тут погибнем.

— Здесь совсем неплохо, — мягко возразил Леон. — Если б ты не ворчала... Знаешь, давай порепетируем Альцеста и Селимену? Нет? Ну, из «Двух сироток»? Развлечешься, отвлечешься. Я буду подыгрывать тебе, как гений. Меня прямо распирает талант!

— Молчи! — вскричала она. — А то я с ума сойду! Неужели ты не можешь стать серьезным даже в этом жутком положении?

— Жутком? — удивился Леон. — Нет, ты неправа. А где ж ты хотела б оказаться? «Dites, la jeune belle, au voulez-vous aller?»<sup>1</sup> — весело запел он. — Вот! — воскликнул оп, открывая футляр. — Вот тебе занятие — пой! Спой «Dites, la jeune belle...». Сразу успокоишься, поверь мне.

И, не дожидаясь ответа, он стал наигрывать мелодию. Первые же звуки разбудили незнакомца, уснувшего на соседней скамье.

— Эй! — крикнул он. — Кто вы такие?

— Кто повелитель твой, Висониан? — спросил в свою очередь Леон. — Умри иль говори! (Может быть, он сказал что-то другое, но в этом же духе, из французской трагедии.)

Незнакомец приблизился. В слабом свете звезд они увидели высокого и крепкого джентльмена с немного пухлым лицом, в сером костюме и серой охотничьей шляпе; на плече его висел ранец.

— Вы тоже тут ночуете? — спросил он с сильным английским акцентом. — Рад приятному обществу!

<sup>1</sup> «Скажите, красотка, куда вы хотите пойти?» (франц.).

Леон рассказал ему о своих злоключениях, а молодой человек поведал в ответ, что он студент из Кембриджа, путешествует пешком, деньги кончились, и печем платить за ночлег. Приходится спать тут две ночи кряду, и как бы не проспать еще две.

— Хорошо, хоть не холодно, — сказал он в заключение.

— Слышишь, Эльвира? — воскликнул Леон. — Мадам Бертелини, — продолжал он, — до смешного огорчена этим пустячным приключением. Я же нахожу его романтическим и весьма приятным. Во всяком случае, — он облокотился о скамью, — далеко не таким неприятным, как можно было ожидать. Присаживайтесь, прошу вас.

— Да, — отвечал студент, опускаясь на скамью. — Тут даже приятно, когда привыкнешь. Только умыться нигде. Я очень люблю свежий воздух, и звезды, и все такое прочее.

— А-а, — сказал Леон, — вы служитель муз!

— Я? — удивился студент. — Да вроде нет...

— Прошу прощения! — возразил Леон. — То, что вы сказали сейчас о светилах и...

— Ну что вы! — воскликнул англичанин. — Всякий может любить звезды.

— Нет, у вас художественная натура, мсье... простите, не будет ли дерзостью, если я спрошу ваше имя?

— Моя фамилия Стаббс, — ответил студент.

— Благодарю, — сказал Леон. — А моя — Бертелини. Я — Леон Бертелини, бывший артист Монружа, Бельвиля и Монмартра. Сейчас я в унижении, но в былые дни я не раз вызывал одобрение публики. Все газеты хвалили моего Горного демона в одноименной драме. Дама, которую я вам представляю, — тоже артистка и, замечу, много лучшая, чем я. К тому же она отдала дань оригинальному творчеству, создав не меньше двадцати песен в одном из крупнейших парижских кафе. Однако, мсье Стаббс, я утверждаю, что вы — художник, а вы уж разрешите мне судить о таких делах. Не зарывайте таланта в землю, служите музам.

— Спасибо, — засмеялся Стаббс. — Я собираюсь быть банкиром.

— Нет, — возразил Леон, — нет, не надо! Только не это. Человек с такой душой не должен изменять себе. Что значат ничтожные падения, когда цель высока?

«Он — сумасшедший, — подумал Стаббс. — Но она — ничего, да и он, в конце концов, забавный». Сказал же он: —

Так вы — актер?

— Да, — кивнул Леон. — Я — актер, вернее, я был актером!

— И вы хотите, чтоб я им стал? — продолжал студент. — Ну что вы! Я бы ничего не заучил — память у меня дырявая, да и таланту не больше, чем у кота.

— Есть и другие искусства, — сказал Леон. — Скульптура, балет, поэзия, проза. Следуйте зову сердца и сотворите хоть что-нибудь в жизни.

— Это все искусства? — спросил студент.

— А то что же? — вскричал Леон. — Конечно!

— Не знал, — сказал Стаббс. — Я думал, искусство — это когда картины пишут.

Певец удивленно воззрился на него.

— Это вы так, — сказал он наконец, — просто языки разные. Опять эта Вавилонская башня! Если б я говорил по-английски, вам было бы понятней.

— Если б вы и говорили — вряд ли, — признался англичанин. — Вы, видно, много думали об этих всяких штуках. А я люблю звезды, они так занятно светят, но черт меня дерь, если тут при чем-то искусство! Никак с экзаменами не управлюсь. Нет, не думайте, я не так уж туп, — поспешил заверить он, видя даже в слабом звездном свете, что его собеседник расстроен. — Я люблю и театр, и музыку, и гитары.

Леону казалось все же, что понимание неполное, и он переменял тему.

— Значит, вы путешествуете пешком? — спросил он. — Очень романтично! И смело! Ну, нравится вам моя страна? Нравятся вам наши пейзажи, наши пустынные холмы?

— Понимаете... — начал Стаббс. Он хотел сказать, что ему пейзаж ни к чему (не столько из честности, сколько из напускной студенческой грубости), но понял, что Бертелини ждет другого, и сказал:

— Да, здесь ничего, красиво. Мне говорили, что у вас хорошо, и в путеводителе написано, но я не понимал, как и что. А сейчас вижу — ничего, вполне красиво.

Тут, совершенно неожиданно, Эльвира заплакала.

— Леон! — рыдала она. — Я потеряю голос! Идем отсюда!

— Идем! — вскричал Леон. — Я найду тебе кров, даже если разобью все двери и подожгу город!

Он положил гитару в футляр, погладил Эльвиру по плечу и взял ее под руку.

— Мсье Стаббс, — сказал он, снимая шляпу, — вряд ли я могу предложить вам что-нибудь путное, но, прошу вас, не лишайте нас вашего общества. Вы немного растеряны, но разрешите мне решать. Нельзя расставаться сразу тем, кто так странно встретился!

— Да что вы, что вы, — отвечал Стаббс. — Разве можно такого, как вы... — И он остановился, почувствовав, что говорит не то.

— Не хотел бы угрожать, — продолжил Леон с улыбкой, — но вашего отказа я не приму.

«Прямо не знаю, что и делать!» — подумал студент, помолчал и произнес довольно грубо:

— Ладно. Я... это... очень обязан. — И пошел за ними, думая: «А все же нехорошо так... навязываться».

## Глава V

Леон шел вперед, словно знал путь; рыдания Эльвиры почти затихли; все молчали. В каком-то дворе, почуяв прохожих, залаяла собака. На колокольне пробило два, и бесчисленные часы принялись вторить тонкими голосами. Тут Бертелини увидел свет, и все направились к домику на окраине городка.

— Попытка не пытка, — сказал Леон.

Домик был отделен от улицы участком, засаженным и цветами и репой. Точнее, по обеим сторонам участка, под прямым углом к улице, стояли какие-то пристройки. В одной из них, по-видимому, недавно прорубили огромное окно, выходявшее на север и занимавшее не только часть стены, но и часть крыши. Леон понадеялся, что это — ателье художника.

— Если только тут живет художник, — усмехнулся он, — честью клянусь, нас примут хорошо.

— Художники небогаты, — заметил Стаббс.

— Не знаете вы жизни! — воскликнул Леон. — Чем бедней — тем лучше.

И наше трио вступило на тропинку, разделявшую грядки репы. Окна светились на первом этаже, одно — ярко, два других — тусклее; вероятно, лампа стояла в углу большого помещения, и огонь в ней мерцал и вздрагивал. Подойдя поближе, путники услышали голос и остановились. Голос, резкий и гневный, не был лишен, однако, какой-то мужественной твердости. Слов различить было нельзя,

они неслись потоком, который то вздымался, то падал; только иногда вырывалась фраза, словно говорящий особенно ее подчеркивал.

Вдруг к первому голосу присоединился второй, женский. Первый мы назвали гневным, этот назовем злым. Всем страстотерпцам мужьям знакомо это полное, зловещее спокойствие, эта бесцветная, ровная речь, которая в любой миг может смениться истерикой или убийством; именно так даже лучшие из женщин говорят страшные, как смерть, вещи тем, кто им дорог, как жизнь. Если бы скелет с косою обрел дар слова, он говорил бы не иначе. Леон отличался смелостью и, боюсь, известной долей скепсиса (как-никак он вырос в католической стране), но детские страхи проснулись в нем, и он истово перекрестился. Все же на своем пути он встречал немало женщин. Чутье не обмануло его: мужской голос вырвался снова, звеня гневом.

Студент, не уловивший значения женской партии, прислушивался с интересом к раскатам мужского голоса.

— Будет дело, — заметил он.

Женский голос вступил снова — все еще спокойный, но выше тоном.

— Истерика? — спросил Леон жену. — А может, репетируют?

— Мне откуда знать? — не без сухости ответила Эльвира.

— О женщины, женщины! — воскликнул Леон, открывая футляр. — Тягчайшее бремя моей жизни! Мсье, они все друг за друга. Ни одна не признается, что вот это — не жизнь, а только точная игра. Даже моя жена, актриса!

— Какой ты злой, Леон! — сказала Эльвира. — Ей плохо.

— А ему, мой ангел? — спросил Леон. — А ему, m'amour? <sup>1</sup>

— Он — мужчина, — ответила она.

— Слышите? — воззвал Леон к англичанину. — Заметьте, как она это сказала. Ну а теперь, — обратился он к Эльвире, — что мы выберем для них?

— Вы хотите петь? — удивился Стаббс.

— Я — трубадур, — ответил Леон. — Я прошу о гостеприимстве для моей музы, и она поможет мне. Будь я банкиром, что бы я делал?

---

<sup>1</sup> Любовь моя (франц.).

— У вас был бы дом, — сказал студент.

— И то правда! — воскликнул Леон. — Эльвира, он прав.

— Еще бы, — сказала она, — а ты не знал?

— Милая моя, — выразительно выговорил он, — я знаю только приятное. Даже моя житейская мудрость — произведение искусства. Да, так что ж мы выберем? Что тут подойдет?

В мозгу студента пронеслись обрывки песни «Студенты, пойте тише!», но он припомнил, что это английская песня, да и мелодии он не знает.

— Спой про нашу бездомность, — предложила Эльвира.

— Вот! — воскликнул Леон и запел песню Пьера Дюпона:

«Savez-vous ou gite  
Mai, ce joli mois?»<sup>1</sup>

Эльвира подтянула, подтянул и Стаббс, вполне музыкально и чисто, хотя мелодии не знал. Леон и его гитара не ударили лицом в грязь. Низкие ноты удавались певцу на диво; пел он самозабвенно, задорно откинув голову, отбросив черные кудри, глядя в небо, и чувствовал, что сами звезды рукоплещут ему, а молчание вселенной ему вторит. В небесных светилах хорошо то, что они — достояние каждого; а таким, как Бертелини — вечным Эндимионам, — достаточно самих себя, они — центр мира.

Он пел хуже Эльвиры, хуже Стаббса, но он весь отдавался пению, относился к серенаде, как истый служитель муз. Эльвира тревожилась, примут ли их; Стаббс смотрел на приключение как на шутку.

— Знаете ли вы, где обитает прелестный месяц май? — вопрошали три голоса среди грядок репы.

В домике всполошились. Свет замелькал в окнах — то в одном, то в другом; потом открылась дверь и появился человек в блузе, с лампой в руке. Он был высок, силен и молод, борода его и волосы были всклокочены, ворот растегнут, блуза, заляпанная красками, пестра, как наряд арлекина, брюки его, подпоясанные ремнем, по-сельски свободны.

За ним, у его плеча, белело женское лицо, молодое, немного измученное, почти на грани увядания. Глаза гля-

---

<sup>1</sup> «Знаете ли вы, где обитает  
Прелестный месяц май?» (франц.).



дели кротко и грустно, и при взгляде па них становилось как-то кисло, словно пьешь неприятную микстуру. И все же лицо было милое, хотя уже и нехорошенькое; казалось, юную прелесть скоро сменит другая, тихая красота, а робость и резкость — достоинства молодости — переплавятся в твердый и добрый нрав.

— Что там такое? — крикнул мужчина.

## Глава VI

Леон в мгновение ока сдернул шляпу и грациозно, как всегда, выступил вперед (на сцене он снискал бы оvation). Эльвира и Стаббс шли за ним, словно адметовы овцы за Аполлоном.

— Простите, мсье, — сказал Леон. — Час поздний, и наша серенада может показаться дерзостью. Но поверьте, мы просто воззвали к вашим чувствам. Я вижу, что вы служитель муз. И мы служители муз, нас трое, мы без крова, и наша спутница, слабая женщина, одетая совсем не по сезону, в интересном положении. Все это, несомненно, тронет женское сердце, ибо за вашим плечом, мсье, я различаю лицо вашей супруги, обличающее здравый ум. Ах, мсье, мадам! Мановение руки — и трое счастливы. Я прошу немногого: пустите нас на часок-другой к вашему очагу — во имя искусства, мсье, во имя священных прав женщины, мадам!

Хозяева, словно сговорившись, отступили вглубь.

— Входите, — сказал хозяин.

— Прошу вас, мадам, — сказала его жена.

Дверь вела в кухню, которая, судя по всему, была и столовой и гостиной. Скучная мебель поражала простотой, но на стене висели два пейзажа в изящных рамах, наводивших на мысль, что картины не были приняты на выставку. Леон подошел к ним и постоял перед каждым, профессионально и уверенно изображая знатока. Покоренный хозяин шел за ним, светя лампой. Эльвиру подвели к очагу, и она принялась отогреваться, в то время как Стаббс, стоя посреди комнаты, с незлобивым удивлением следил за маневрами Леона.

— Вам бы посмотреть их днем, — говорил хозяин.

— Предвкушаю наслаждение! — отвечал Леон. — Осмелюсь заметить, мсье, вы превосходно владеете искусством композиции.

— Вы слишком добры, — возразил художник. — Не погреться ли и вам у огня?

— С удовольствием, — согласился Леон.

Вскоре все уселись за стол и принялись за собранный на скорую руку ужин, отнюдь не изысканный, но сдобренный слабым и дешевым винцом. Еда была плохая, по никто не жаловался; все ели, весело звеня ножами. Леон выразительно трудился над холодной сосиской, словно угощался ростбифом; расправившись с ней, глубоко вздохнул, как человек, немного переевший.

Эльвира, естественно, сидела рядом с ним, а Стаббс столь же естественно, хотя, мне сдается, бессознательно, выбрал место рядом с ней, хозяин с хозяйкой были предоставлены самим себе. Однако замечу, что они не обменялись ни словом и избегали смотреть друг на друга. Прерванная перепалка оставила горький след; если бы гости ушли, она бы немедля возродилась. Беседа шла о том о сем (все решили, что спать уже поздно), но хозяева не общались меж собой и глядели друг на друга враждебно, словно повздорившие дочери старого Лира.

К счастью, Эльвира так устала от мелких злоключений, что, позабыв обычную свою манеру (она всегда вела себя на людях сдержанно и просто), по-домашнему опустила голову на мужнино плечо. Тепло разморило ее, нежность ее оттаяла, и вот она вложила пальцы правой руки в левую руку мужа; затем, прикрыв глаза, унеслась в золотой край, отделяющий сон от яви. Однако она понимала все и видела, что хозяйка глядит на нее то ли с презрением, то ли с завистью.

Леону показалось, что для здоровья ему необходимо закурить, и он высвободил пальцы, чтобы скрутить сигарету.

Сделал он это очень бережно, стараясь не беспокоить жену ради своей прихоти. Но хозяйка заметила это, вздрогнула, посмотрела прямо перед собой и вдруг проворно и воровато схватила под столом руку мужа. Она могла бы действовать смелее: нежданная ласка так поразила беднягу, что он застыл на полуслове с открытым ртом, а по лицу его было видно, что мысли его стали не в пример нежнее.

Все это было бы нелепо и смешно, если б не вышло так мило. Хозяйка тут же отдернула руку, однако ей понадобилось некоторое усилие. Молодой же хозяин покраснел и на минуту стал красивым.

Леон и Эльвира все это видели, и ток пробежал между ними: дело в том, что оба они были отчаянные сваты, особенно же любили мирить повздоривших супругов.

— Прошу прощения, — начал Леон, — не будем притворяться! Прежде чем войти в ваш дом, мы слышали шум, свидетельствующий, если разрешите так выразиться, о неполном согласии...

— Мсье... — начал муж, но жена перебила его.

— Вы правы, — сказала она. — К чему нам стесняться. Если муж мой сходит с ума, я обязана приложить все силы, чтобы не вышло беды. Вообразите только, — продолжала она, глядя на чету Бертелини и не замечая Стаббса, — вообразите, этот низкий человек, этот жалкий мазилка, самоучка, неспособный намалевать и вывеску, получил сегодня великолепное предложение. Дядя, мой дядя, любимый брат моей матери, приглашает его к себе в контору, обещает чуть ли не сто пятьдесят фунтов в год, а он — нет, вы подумайте! — он отказался! Из-за чего же? «Из-за искусства». Взгляните на это его искусство! На что тут глядеть? Что тут можно продать? И вот из-за этого, дорогие мои, он обрекает меня на нищету. Я живу без удобств, без удовольствий, в пригороде, в провинции. Нет! — вскричала она. — Non, je ne me taisrais pas, c'est plus fort que moi!..<sup>1</sup> Посудите сами — милосердно ли это, честно ли, достойно ли мужчины? Разве я не заслужила большего — я, его жена (тут она замялась), всегда угождавшая ему?

Не знаю, сидело ли хоть за одним столом такое растерянное общество. Гости чувствовали себя на редкость глупо, а хозяин — глупее всех.

— Картины вашего мужа, — нарушила молчание Эльвира, — отличны... Они отличаются от прочих...

— Именно, — сказала хозяйка, — их никто не покупает.

— Мне кажется, место в конторе... — начал Стаббс.

— Искусство — это Искусство! — прервал его Леон. — Это — красота, это рай, душа мира, цвет жизни! Однако... — И он остановился.

— Место в конторе... — повторил Стаббс.

— Я вам все объясню, — сказал хозяин. — Я художник, а искусство, как вы правильно заметили, — это и то и се, и пятое-десятое... Но если она будет меня грызть целые дни, я лучше сразу утоплюсь.

---

<sup>1</sup> Нет, я не буду молчать, я не могу... (франц.).

— Топись! — сказала жена. — Вот бы на это посмотреть!

— Мне кажется, — закончил свою мысль Стаббс, — можно и в конторе служить и рисовать сколько хочешь. У меня один знакомый служит в банке и рисует шикарные акварели. Одну даже продал за шесть фунтов шесть шиллингов.

Женщинам эти слова показались спасительной доской; обе с надеждой взглянули на своих повелителей — обе, даже Эльвира, служительница муз (видно, в женщине всегда есть хоть доля практичности). Мужчины обменялись взглядом, полным отчаяния; так взглянули бы друг на друга философы, узнавшие на склоне лет, что ни один ученик их не понял.

Леон встал.

— Искусство — это Искусство, — печально повторил он. — Служитель муз не марает акварелек и не бренчит на фортепьянах. Он живет своей, особой жизнью.

— А другие мрут с голоду! — вставила хозяйка. — Я так жить не хочу.

— Я вот что скажу, — продолжал Леон, — вы, мадам, пройдите пока в другую комнату и потолкуйте с моей женой. А я поговорю здесь с вашим мужем. Не знаю, добьемся ли мы успеха, но попробуем!

— С большим удовольствием, — ответила хозяйка и зажгла свечу.

— Сюда, пожалуйста, — сказала она, поднимаясь с Эльвирой в спальню. — Дело в том, — и она опустила в кресло, — что муж мой не умеет рисовать.

— А мой — играть, — заметила Эльвира.

— Я думала, он-то умеет, — сказала жена художника. — Он такой умный с виду.

— Он и есть умный, — подхватила жена актера, — а играть не умеет.

— Ну, он хоть поет, а мой ничего не может.

— Вы не понимаете Леона! — пылко возразила Эльвира. — Он совсем не считает себя певцом, у него ведь хороший вкус. Он поет для денег. Поверьте, наши мужья — не бездарности. У них есть призвание, но они не могут его осуществить.

— Кем бы они ни были, — ответила ей хозяйка, — вы чуть не остались ночевать в поле, а я все время боюсь голода. Мне казалось, что мужчина обязан хоть немного думать о жене. А теперь выходит, что нет. Он ничего не

обязан делать, разве что валять дурака. О господи! — воскликнула она. — Как страшно думать так о муже! Если б только он умел рисовать — но он не умеет, он рисует не лучше меня!

— А дети у вас есть? — спросила Эльвира.

— Нет, но ведь могут быть...

— Дети многое меняют, — сказала Эльвира вздыхая.

И тут из кухни, снизу, послышался голос гитары. Аккорды сменяли друг друга, и голос Леона стал вторить им; песня была такая, что женщины умолкли. Жена художника сидела как завороженная; Эльвира видела, как добрые мысли и нежные воспоминания овладевают ее душой с каждой новой нотой. Счастливая пора вспоминалась ей: зеленая французская долина, запах цветущих яблонь, сверкание реки, слова любви и сама любовь.

«Леон угадал, что нужно делать, — подумала Эльвира. — Как это он угадал?..».

Объяснение было простое. Леон спросил художника, не помнит ли тот песенки, связанной с порой его ухаживаний; подождал немного и запел:

«O mon amant,  
O ton desir,  
Sachons cueillir  
L'heure charmante!»<sup>1</sup>

— Простите меня, — сказала жена художника, — ваш муж поет превосходно.

— Что ж, он с чувством поет, — уклончиво ответила Эльвира, хотя и сама растрогалась, ибо песня касалась и ее. — И все же он не музыкант.

— Жизнь печальна, — вздохнула ее собеседница, — так и уходит сквозь пальцы.

— Не скажите, — заметила Эльвира. — Мне кажется, хорошее остается и его больше с каждым днем.

— Что ж вы мне посоветуете?

— Я бы на вашем месте не мешала мужу. Видно, он очень любит живопись, а какой из него клерк — мы не знаем. И потом... у вас ведь могут быть дети, так что лучше его не слишком мучить.

---

<sup>1</sup> «О мой возлюбленный,  
О мой желанный,  
Выберем  
Сладостный час!» (франц.).

— Он прекрасный человек! — сказала хозяйка.

Так провели они ночь, помогая под музыку друг другу, а на рассвете, когда небо еще не затуманилось, простились у дверей, пожелав друг другу всего самого лучшего. Дым городских труб потянулся в ясное небо; церковный колокол пробил шесть.

— Моя гитара — добрый дух, — сказал Леон Эльвире, направляясь к гостинице самым коротким путем. — Она воскресила комиссара, помогла мне обратиться в новую веру англичанина-бродягу и помирила супругов.

Стаббс тоже шел под утренним небом и думал: «Все они сумасшедшие. А все же — хорошие люди!..»

# Вирджиния Трейси

## *Громовержец*

Мэйфорт отложил рукопись в сторону. Глаза его были полны слез: чистых слез умиления и несказанной благодарности. Он прочел пьесу молодого драматурга по фамилии Шепард, которого он, как ему казалось, мог бы с удовольствием явить миру; ведущая роль пьесы была как раз той, которая помогла бы ему, Мэйфорту, самоутвердиться и вознести свою и без того блестящую карьеру на недостижимую высоту. Но эти соображения фигурировали пока где-то на втором плане. Ближайшие минуты были целиком посвящены благодарности пьесе за ее совершенство само по себе.

И он погрузился в нее снова, смакуя свое наслаждение и восторгаясь тем, что без колебаний назвал бы уже сейчас значительностью пьесы, ее монументальностью. Он не смог долго оставаться на высоте беспристрастности и очень скоро стал видеть себя в различных выгодных сценических ситуациях, слышать свои привычные, эффектные, звенящие страстью реплики. Потом его обуяла великая любовь ко всему человеческому роду; ему захотелось совершить что-нибудь прекрасное, что-нибудь эдакое грандиозное, может быть, даже что-то пожертвовать: что и кому — неясно, но пожертвовать...

И он был рад услышать знакомый стук в дверь, известивший о приходе сестры. Элен оказалась очень кстати. Но когда он узнал от нее, что внизу ждет Гранич, его продюсер, то почувствовал легкую досаду. Гранич обычно вершил все дела в своей конторе, и его появление здесь, как догадывался Мэйфорт, означало, что продюсер преисполнен благожелательства и ему не терпится поделиться

с ним, Мэйфортом, торжеством по поводу своей находки. Что ж, это естественно, даже приятно. Но ему хотелось хотя бы на время забыть о Граниче.

Сестра, которая всегда понимала его, сказала:

— Не спеши. Агнес там с ним одна пока справится.

— Элен, — сказал он ей, — подойди сюда на минутку. Вот возьми... — Он подвел ее к окну, где в позднем свете дня еще можно было различить буквы, и вручил ей рукопись. — Это то, о чем я всегда мечтал, и то, о чем ты всегда мечтала для меня.

Элен перевела безмолвный взгляд с него на рукопись, открытую на той сцене, которой он хотел привлечь ее внимание; потом, когда он оставил ее, чтобы спуститься вниз, к своему продюсеру, она примостилась с рукописью на коленях у окна, поближе к свету, и начала читать.

Гранич, вопреки ожиданию, сидел у них недолго и был отменно мил. Больше всего — это явно чувствовалось — он гордился собственной смелостью и проникательностью, тем, что он — единственный продюсер Америки — взялся за эту пьесу, в то время как все другие фактически от нее отказались.

— Одни говорили весьма лестные слова, — признался мне Шепард. — Другие — их было большинство — подолгу держали пьесу у себя. И все боялись: публика еще до такой вещи не доросла, постановка стоит очень дорого, она не окупится и тому подобное. А дело, по-моему, все в том, что пьеса ждала своего постановщика, вот что я вам скажу!

Гранич позволил себе также снизойти до похвалы чаю, который ему подали миссис Мэйфорт, хотя принес с собой бутылку великолепного бургундского, чтобы выпить за будущий успех пьесы. А когда увидел спускающуюся со второго этажа мисс Мэйфорт с рукописью в руках, то не отказал себе в желании мило пошутить: наконец-то их сосуществование — его и Элен — достигнет желанной гармонии в вопросе о том, что ее брату следует играть на сцене. Еще он спросил, что если бы он, Гранич, не взялся за эту пьесу, то Говард, наверно, не снизошел бы до этой роли? И она ответила: да, не снизошел бы. Когда она это говорила, то задержала на Мэйфорте взгляд — такой проникновенно материнский, словно хотела оградить его от чего-то плохого. Все трое заулыбались при этом. Их забавляло, что сестра, по их мнению, никак не может отрешиться от привычки видеть все в черном свете, когда дело ка-



сается брата; она же, на самом деле, опасалась, что он соглашается на эту роль из-за денег...

Уже собираясь уходить, Гранич спросил:

— Кстати, Мэйфорт, вы знаете такого человека... по фамилии Герон?

— Герон?.. Да, что-то слышал. Он, кажется, из тех, что подают большие надежды в провинции и в вестернах, но никогда не попадают на Бродвей. Так что же он?

— Да так, ничего особенного. Он уже играет эту роль где-то там, у себя, только и всего. Шепард безответственно, в минуту увлечения, дал ему понять, что хотел бы увидеть его в этой роли в Нью-Йорке. Будто вы не знаете наших драматургов! Лично я убежден, что этому Герону просто не везет, и даже подумывал дать ему вторую роль в пьесе, ведь для нее тоже потребуются сильный актер. Но, судя по тому, что я о нем узнал, он не потянет и на эту роль. Пьет! Вы как считаете?

— Да, мне тоже так кажется... О да!

Гранич водрузил на себя просторное демисезонное пальто — вечерами было еще холодно — и окинул прощальным взглядом мягко освещенную электричеством, всю в пастельных тонах гостиную с ее атмосферой учтивой сердечности, сдобренной топкими, возбуждающими ароматами чая и вина.

— Нет, нет! У меня такие номера не проходят, уж будьте покойны! — заявил он. — Мэйфорт, вы сможете прийти ко мне в контору попозже? Скажем, в два часа?

— Конечно.

Мэйфорт посмотрел на Гранича, который хлопывал пальцами по пуговицам своего монументального двубортного агрегата, и внезапно почувствовал, как у него сжалось сердце.

— А Герон не доставит нам хлопот? Способен он на это? — вырвалось у него.

— Кто? Ха. Хлопот! Что вы имеете в виду?

— Ну... я не знаю...

— Да как вам сказать... Этот Герон... — Гранич устался на него. — Ерунда. Что он может сделать! Он не вложил в эту пьесу ни цента!

Пьеса была романтическим экскурсом во флорентийскую эпоху, и весь сюжет ее разворачивался вокруг главного героя — Макиавелли.

Примерно через неделю после знакомства с пьесой Мэйфорт приступил к работе над ролью. Ему нужен был месяц для ее изучения, перед тем как он уедет на лето в Италию и будет «вживаться в роль» в той обстановке, где происходило когда-то действие пьесы. Под предлогом изучения роли он отказывался от всех ангажементов, и его не смущало даже то, что это может вызвать оживленные пересуды в театральных кругах. Он стал равнодушен к обычным в таких случаях сплетням о том, что, дескать, Мэйфорт настолько увлечен, что совсем удалился от общества и все свое время проводит в уединении ради этой злополучной роли.

Его рабочий кабинет-студия со звуконепроницаемым полом — он был очень чувствителен к тому, чтобы не выглядеть хотя бы предположительно в чем-нибудь смешным, — занимал весь верхний этаж дома. Кабинет был красиво, хотя и просто, обставлен и декорирован, и, несмотря на обилие солнца в те мартовские дни, здесь все время горел камин. На стене висели рапиры и боксерские перчатки, а в углу, отведенном для ванной, стояли весы, ингалятор и гимнастический снаряд. В другом углу, ближе к окну на юг, располагался великолепный письменный стол, освещенный высокими канделябрами и развешанными вокруг дарственными ликами таких же, как и хозяин, баловней судьбы. От стола тянулись полки с небольшой, но представительной библиотечкой пьес, пригластительными билетами, рекламными фотографиями и медалями и щедро выставленной напоказ коллекцией театральных рецензий. Здесь нужно сделать небольшую паузу в обзоре кабинета и сказать о буфете-баре — привилегии немногих близких друзей, имевших обыкновение заглядывать в студию около пяти вечера, с тем чтобы — в который раз! — сообщить хозяину, как им его недостает. Ближе к свету стояло трехстворчатое, во всю длину степы, зеркало, перед которым прилежный ученик, вживавшийся в роль, совершенствовал каждую свою позу сразу в трех ракурсах; против зеркала было фортепьяно, с тем чтобы Мэйфорт мог, когда потребуется, извлекать из него нужные аккорды для голосовых упражнений, а на крышке фортепьяно стояло еще одно зеркало, поменьше, для отображения работы мышц артикуляционных органов во время голосовых упражнений. Нужно сказать, что Мэйфорт весьма уважительно относился к собственной персоне, а особенно удавалось ему демонстрировать это в

артистическом клубе, куда он, обремененный новой ответственной ролью, иногда все же захаживал на минутку, с тем чтобы произнести с усталым вздохом:

— Как жаль, но я должен вас покинуть, друзья мои!

На что кто-нибудь неизменно реагировал соответствующим вопросом:

— Ну и повезло же вам на этот раз — не приведи господь! А, Мэйфорт?!

Ответом служила мимолетная и опять усталая — но не без куража — улыбка согласия. И в один из таких упоительных моментов кто-то спросил его, правда ли, что Шепард сильно идеализировал своего Макиавелли. Мэйфорт ответил, что да, такое говорят о главном герое, но он считает, что роль не только идеализирована — она возвышенна, и что пьеса, несмотря ни на что, настоящая героическая драма.

И тогда какой-то кретин из разряда театральных «звезд», из тех, что читали пьесу и отказались играть в ней, вздумал заметить ему:

— А вам не знаком человек, которого я, как мне помнится, уже где-то видел в вашей роли? Его зовут Дан Герон.

На этот раз у Мэйфорта не только сжалось сердце — ему стало дурно. У него было огромное желание поставить глупца на место, сказать, что он, Мэйфорт, знает Герона и что тот никогда не сыграет эту роль здесь... но не смог ничего сказать.

Другой, к которому Мэйфорт сразу почувствовал острую неприязнь, стал не к месту рассуждать о том, что в этом Героне всегда угадывалось что-то исключительное, даже инфернальное; дело не в его росте, разумеется, а, как подсказывает говорящему зрительная память, в особой сумрачности худощавого героновского лица с его постоянной бледностью и неистовостью во взгляде, в котором есть что-то от Макиавелли, от его прославленной цепкости и хищной повадки. Да и, кроме того, у него поразительная улыбка, у этого Герона, и поразительные темные глаза — не глаза, а зажигательные стекла: они сжигают все, что оказывается незащищенным в радиусе их лучей, а если ничего не будет вокруг, то сожгут, очевидно, когда-нибудь самого Герона. Да-да, все может быть! Он знает, что говорит, и потому предпочел бы не встречаться с этим мрачным типом где-нибудь в темном переулке; он живо представляет себе фигуру Герона, склонив-

шегоса темным вечером над лестничными перилами с ножом в руках и ждущего свою жертву...

— Уверяю вас, дайте ему возможность, и он без колебаний воткнет вам нож в спину — только ради удовольствия услышать ваш предсмертный вскрик и злорадно ухмыльнуться!

— Собственно говоря, — Мэйфорт с трудом шевелил высохшими губами, — кое в чем вы правы: Герои действительно питает большую надежду сыграть эту роль на Бродвее. Он играл ее почти целый сезон в провинциальном гастрольном театре.

Наступила тяжелая пауза. Это был как-никак артистический клуб, и все сидящие здесь люди, ныне преуспевающие актеры, сами в недалеком прошлом пребывали в таком или почти в таком положении, как и упомянутый выше Герон. И потому произошло короткое замешательство, полное жестоких воспоминаний, продолжавшееся до тех пор, пока какая-то добрая и воспитанная душа не нашлась, как разрядить обстановку:

— Да что вы! Никому не известный автор должен быть безмерно счастлив, что именно вы, Мэйфорт, взяли за эту роль. Больше никого и представить нельзя в ней, кроме вас, здесь, на Бродвее!

Но в душу Мэйфорта закралось опасение, какой-то необъяснимый страх. Он себя не узнавал. Нет, нужно быть совсем ненормальным, чтобы вообразить себе, как рука этого Герона — фу, надо же представить такое! — тянется «из-за угла», как говорил коллега, к нему, к Мэйфорту.

Он должен признать, что просто поддался своему настроению при упоминании о невезучей судьбе Герона. Однако этот разговор в клубе вскоре почти материализовался в какую-то неясную, преследующую Мэйфорта тень — весенним полднем, на всем пути во время прогулки домой, — и в этой тени виделось ему энергичное и изнуренное лицо Герона с каким-то неопределенным, но пристальным взглядом; и в этом взгляде он, к своему ужасу, распознал вдруг самую настоящую мольбу страждущего, сквозь которую проглядывала знакомая ему по воспоминанию «героновская» молчаливая издевка. Мэйфорт был благородным человеком и не мог себе представить собрата, не желающего в трудную минуту помочь ближнему. Ему только хотелось оказать такую помощь менее удачливому актеру как можно деликатнее; с этой целью он решил немедленно разузнать у Шепарда координаты Герона и, коль

скоро это будет сделано, уговорить Гранича дать ему вторую роль в пьесе.

Наступил день отплытия Мэйфорта в Италию, а о Героне ничего не было слышно. Благотворный порыв Мэйфорта стал увядать. Ко времени, когда они с Граничем стояли среди шума прощальных возгласов на пристани, он чуть уже не забыл, что, негодуя на обнаружившееся в Шепарде равнодушие к поручению и нерасторопность, он велел другому доверенному лицу навести справки о Героне и переслать ему письмо, содержащее — в осторожной и сдержанной форме — предложение играть в пьесе. И вот уже в последний момент среди почты, которую принес ему секретарь, он неожиданно для себя обнаружил письмо от Герона. Вернее, не письмо, а открытку без адреса и даты, в которой мелким и неразборчивым почерком четко была написана всего одна фраза: «Пошел бы ты к дьяволу!.. Д.-К. Г.».

Мэйфорт протянул записку Элен, ища у нее сочувствия... Он был целиком захвачен идеей путешествия с Граничем, видевшемся ему как турне двух союзнических монархов. Это путешествие оказалось весьма кстати и для Агнессы, ибо избавляло ее от целого цикла светских визитов с мужем. Однако в поездки, подобные этой, он не взял с собой сестру. Только потому, уверял он себя, что Гранич может не одобрить такой «семейной компании». Никогда, ни на один миг, даже самому себе, не позволял он признаться, что жило где-то в самых глубинах его души, несмотря на блеск славы и многолетнюю снисходительность фортуны, в том, что продюсер — естественный хозяин актера, что — как бы достойно это ни выглядело — он принадлежит Граничу, что он горд этим так же, как получающая первые призы породистая собака горда своим увешанным медалями ошейником, и что именно из-за Гранича он не берет с собой Элен...

Первые две недели во Флоренции они провели с Граничем одни. Потом Гранич вызвал из Америки самого известного художника-декоратора, а вслед за ним — режиссера будущего спектакля, которым он захотел показать несколько сценических эффектов в постановках пьес Д'Аннунцио. Прославленный художник, академик, друг Мэйфорта, согласился за баснословную цену сделать эскизы костюмов для постановки; а когда Гранич узнал, что исполнительница главной женской роли находится в Лондоне, то отправил ее в Париж, в самую лучшую фирму —

заказать костюмы по этим эскизам. Целыми днями они нещадно эксплуатировали трансатлантический кабель — вели переговоры о том, кто будет играть Медичи, а кто — папу, и только после этого смогли отослать режиссера обратно в Америку, окончательно утвердив состав исполнителей, сумма гонораров которым, вернее — сам вес денежных знаков перетягивал его собственный вес. И вот наконец, оставшись одни, они могли посвятить себя осмотру антикварных магазинов и средневековых дворцов, чтобы подержать в руках старинное оружие, доспехи и драгоценности да пощупать старинные шелковистые одежды, плотные и переливающиеся на свету.

В те дни Мэйфорт стал все более и более замечать почтительное, почти застенчивое отношение к нему Гранича. Искренне уважая Мэйфорта за все, что тот знал и умел, и главным образом тревожась за судьбу вложенных в постановку денег, продюсер здраво рассудил, что, давая Мэйфорту такое преимущество — постоянно ощущать свое превосходство, — он приобретает в конечном итоге для себя больше, чем утратит сейчас в чувстве собственного достоинства. И если Мэйфорт был давно горд их союзом, то теперь для него становился утешительно-очевидным тот факт, что Гранич тоже горд им. Для такого щепетильного человека, как Мэйфорт, это было очень важно, и он стал говорить театральным журналистам и корреспондентам модных журналов и больших еженедельников, которые требовали от него по возможности полной информации обо всем, что связано с этой рискованной постановкой, что успех спектакля — если это случится — целиком нужно будет отнести за счет беспримерной, непоколебимой веры в этот успех мистера Гранича и всесторонней поддержки с его стороны. Мэйфорт провозглашал это, не жалея сил, направо и налево, чуть ли не со слезами восторга на глазах... до тех пор, пока его вдруг не осенило, что это ведь и на самом деле так. И тогда весь его пыл, казалось, куда-то улетучился. А когда Гранич, вынужденный из-за жары покинуть Флоренцию, улетел в Париж, Мэйфорт подумал, что так должно было случиться, его собственное служение, жертвенное служение искусству — благороднее и выше.

Он арендовал на время старую виллу, еще сохранившую средневековые укрепления, недалеко от Флоренции, на склоне Апеннин, откуда можно было в любое время ездить в город, и проводил в ней долгие, одинокие дни и

тихие, очаровательные ночи. У него не было никакого другого наперсника, кроме его роли, его Великой Роли, в этой древней уединенной резиденции, построенной некогда для тайного прибежища или же для тайного заточения и окруженной сквозными аллеями. Старый замок с его мрачными, каменными строениями, лестницами, предназначенными для ступней убийц, со зловещими зевами ворот, массивными каминами и канделябрами ревниво хранил свои, одному богу известные загадки и секреты. Единственным напарником Мэйфорта в те дни было незримое присутствие Макиавелли — и днем, под палящими лучами солнца, и восхитительными до безрассудства ночами. Он чувствовал себя каким-то увеличенным, обновляющимся, как бы беременным Ролью, которая вот-вот начнет терзать его родовыми схватками... В какой-то момент ему, переполненному и перепуганному всеми этими ощущениями, пришла в голову благодатная мысль вызвать к себе молодого Шепарда, чтобы тот составил ему компанию.

Шепард приехал, но большую часть времени проводил не с ним, а с фотоаппаратом. Мэйфорт послал несколько фотографий в Лондон, где был в то время Гранич, а оттуда они вернулись в качестве шикарных первополосных иллюстраций в ведущих газетах, показывающих примечательные уголки Флоренции, по которым блуждают, следуя по стопам Макиавелли, Мэйфорт и его юный друг, автор новой пьесы.

Мэйфорт был в восторге от собственной идеи, хотя этот восторг несколько омрачался не совсем уместной эксцентричностью и какой-то непоследовательностью в поведении молодого драматурга. Тот часами сидел перед макетом театральной сцены, стоявшим на столике мэйфортовской кельеподобной студии, и втыкал попеременно там и сям в макете картинные фигурки на булавах, с тем только, чтобы вытащить потом их все спова; он упорно создавал свои сценические варианты пьесы, отличные от тех, что были намечены Мэйфортом и режиссером, и неизменно разрушал их с одним и тем же досадливым жестом чем-то обескураженного человека.

Нельзя сказать, что Шепард не проявлял должного интереса, нет, просто временами с ним было что-то не так... Он делал иногда очень энергичные и правильные замечания Мэйфорту, но все равно не казался целиком и полностью поглощенным работой над своей собственной пьесой, словно бы он и не испытывал того высокого удовлетворе-

ния и горделивости, какое владело все это время Мэйфортом; в нем не чувствовалось стремления к полной, благойной самоотдаче, которая у Мэйфорта, как ему представлялось, грозила даже его здоровью. И действительно, как ни странно, но факт оставался фактом — о начинающем драматурге нельзя было сказать, что он прилагает все силы к тому, чтобы его пьеса увидела свет и имела успех. Мэйфорт, естественно, не допускал и мысли, что сам ждет изъявления благодарности с его стороны за свою великую миссию, но все же молодому человеку следовало бы проявить больше такта и понимания. Если даже сделать скидку на его скрытность, на тщетные усилия казаться привередливым, чем объяснить его странное поведение?

Но все эти досадливые мысли улетучились в просторы спокойного, позднеавгустовского океана, когда Мэйфорт отплыл из Флоренции обратно в Америку: их вытеснило чувство перемены, пересотворения самого себя за тот период, что он не был дома; сознание этого вызывало в нем необъяснимое душевное волнение, почти страдание... Когда он вновь и вновь думал о том, что пережил и перечувствовал ради этой роли, о том, чем она стала в его жизни, им вновь овладевало знакомое возвышенное состояние того самого первого часа общения с рукописью, почти религиозного экстаза и самопожертвования...

На нью-йоркских улицах его нервы привычно напряглись в ожидании предстоящей битвы.

— Этот ваш Кассий...<sup>1</sup> — неожиданно сказала Мэйфорту мисс Хойшоп, показывая ему одну из фотографий Шепарда, которые были у нее в руках, — уж больно какой-то худой и голодный!..

Репетиции длились уже три недели, и сегодня, после очередной из них, Мэйфорт принимал у себя в студии миссис Хойшоп (чай!) с дочерью (коктейль!). Это была большая честь для него — принимать у себя Хойшопов, хоть они и действовали ему на нервы, особенно сейчас, когда ему, больше чем когда-либо, нужно было беречь свои нервы. Но они относились к числу тех немногих, кому просто-напросто невозможно было отказать в общении; Хой-

---

<sup>1</sup> Кассий, Лонгиний — римский генерал, главарь заговора против Юлия Цезаря (I в. до н. э.).



шопы до мозга костей были светскими, но этого им казалось мало — настоящий светский лоск требовал ныне общения с «богемой». И он желал в душе, чтобы они поскорее ушли...

Миссис Хойшоп уже встала, собираясь прощаться, а ее дочь задержалась у полки с фотографиями. Мэйфорт, склонившийся над ее плечом, чтобы удостовериться личность Кассия, вдруг резким, сдавленным голосом воскликнул:

— Это что такое? Откуда это здесь?

Жена воззрилась на него, а Элен спокойно протянула руку за удивившей его фотографией.

— Эта карточка сюда попала по ошибке. Случайное фото мистера Шепарда. — Элен повернулась к госте. — Миссис Хойшоп, посмотрите, какой он молодой!

— А рядом с ним кто? — спросила миссис Хойшоп. — Они тут недурно проводят время. Как блестят глаза у этого типа!

— Этого типа зовут мистер Герон, — ответила Элен. — Актер, который играет шепардовского Макиавелли в провинции. Здесь они пьют за успех пьесы.

— Ну, так и я выпью за это, — сказала девушка, поднимая свой бокал. — Желаю вам всяческого успеха, мистер Мэйфорт, хотя вы уже и достигли невероятного совершенства, словно взялись искушать судьбу! Единственно, что остается пожелать в таком случае, — храни вас бог от всяких неприятностей перед премьерой!

Мэйфорт заметно побледнел. А реакцией дочери на последовавшие увещевания мамы Хойшоп был веселый смех:

— Но, мама, мистер Мэйфорт согласен со мной. У него такой вид, будто он сейчас начнет творить вудуистские<sup>1</sup> заклинания...

Мэйфорт взял себя в руки:

— О, ваше пожелание небезосновательно! Мне уже было сделано предостережение. Один знакомый напроорочил — как вы думаете, что? Будто меня ждет предательское убийство от руки коллеги «в самый канун триумфа»... Руки как раз того человека, чьи глаза вас так поразили.

— Правда? Ей-богу, мистер Мэйфорт, стоит дать ему такой шанс! Да еще в день премьеры! Как впечатляюще

---

<sup>1</sup> Словом «вуду» объединяются обряды и верования, распространенные среди негритянского населения стран бассейна Карибского моря.

это будет выглядеть на фоне живописных руин Роберта Эдмонда Джонса<sup>1</sup>, прямо у выхода на сцену! Шикарно! А почему бы нет? Какой-то ненормальный вдруг убивает соперника, переступившего ему дорогу или из-за чего-то там еще...

Элен не пошла вниз со всеми. Она сидела не шелохнувшись и, заслышав шаги возвращающегося брата, прижала руки к груди. Взгляд ее был смиренным.

Он подошел к окну и встал там, глядя наружу, как будто хотел собраться с силами; потом вдруг бросился в кресло напротив нее и резко спросил:

— Эту фотографию положили умышленно?

— Говард! — воскликнула Элен. Она не ожидала такой бурной реакции.

— Потому что если это случайность, то очень странная случайность. Она выбрала для себя самый подходящий момент! Она наполняет меня мрачными предчувствиями как раз в такое время, когда для меня это опаснее всего. А для Герона с его мстительностью создается похвальная драматическая ситуация для реванша — ведь Шепард талантливый драматург!

— «С его мстительностью!»! — повторила она. — Шепард... Ты бредишь, дорогой!

— Да, да! Только роковой случайностью могу я объяснить тот факт, что Герон этот повсюду мерещится мне! Куда бы я ни пошел, за какой бы угол ни завернул — обязательно что-нибудь напомнит мне о нем. Даже во Флоренции, где я, как мне думалось, забуду о нем, мне попалась на глаза фреска — вылитый Герон с его этим взглядом... А через несколько минут, поднявшись по лестнице, я снова в тени ворот увидел его — вот так, как вижу тебя сейчас, и точно так, как описывал его мне коллега в клубе, «склонившегося... над лестничными перилами с ножом в руках и ждущего свою жертву»... чтобы «услышать ваш предсмертный вскрик и злорадно ухмыльнуться!»... Потом, на следующий день, Шепард вдруг ни с того ни с сего говорит мне — так это, знаешь ли, беспечно и без тени сочувствия в голосе: «Представьте себе, мне почему-то кажется, что Герона уже нет в живых». Меня это шокировало, хотя, естественно, с туберкулезом легких человек долго не протянет, но извините... «Дело в том, — говорит дальше Ше-

---

<sup>1</sup> Джонс, Роберт Эдмонд (1887—1954) — выдающийся американский художник-декоратор.

пард, — что в последний раз, когда я встречался с ним, он выглядел очень скверно, и у меня создалось впечатление, что он не жилец на этом свете». Кроме того, Шепард сказал еще, что если бы Герон был жив, то уже давно дал бы о себе знать какой-нибудь злонамеренной выходкой. Видишь, Шепард сам признает у него затаенную злобу.

— Ну что он может тебе сейчас сделать?

— Ты заметила, какой эффект произвела на девушку его фотография? Это неспроста — она сразу почувствовала что-то неладное, и ей показалось абсолютно возможным, что Герон способен навредить мне каким-то образом и сорвать спектакль.

— Нет-нет, дорогой. Это была только шутка.

— Да? Но мне такие шутки дорого обходятся! Я могу заболеть или быть не в форме в день премьеры...

Он откинул свою великолепную голову на спинку вместительного, уложенного подушечками кресла и с мученическим выражением лица продолжал говорить — больше для самого себя:

— Чего я все время боюсь — это дешевой газетной шумихи, которую он может раздуть вокруг собственной персоны какой-нибудь истерической выходкой в третьеразрядном кабаке или попыткой разыграть из себя самоубийцу. Или может и в самом деле наброситься на меня из-за угла, кто его знает... Ох эти нервы! Но мне есть оправдание — я беспокоюсь прежде и больше всего об успехе постановки, — произнес он со снисходительной улыбкой и рассмеялся. Потом его взгляд обратился к сестре, и, помедлив, он требовательно спросил:

— Ты, кажется, что-то знаешь и скрываешь от меня? Элен, ты что-то знаешь!

Она привскочила на стуле, и краска на лице ее сменилась бледностью, прежде чем она смогла ответить:

— Говард, что я могу знать! И знать-то нечего. Успокойся, пожалуйста!

— Как — нечего, дорогая! Я сразу заподозрил что-то неладное по твоему голосу, когда речь зашла об этой фотографии! Говори, в чем дело! Гранич получил угрожающее письмо! Герон умер, и Шепарду явился его дух? — Мелодичный смех Мэйфорта сорвался с нужной тональности, ослабел и затерялся в искусно подсвеченном полумраке благоухающего цветами кабинета.

— Ну же, Элен! Я не ребенок. Я должен все знать до того, как наступит решающий день!

— Хорошо, Говард, слушай. Я была очень взволнована в тот момент, это верно, но дело не в том... Видит бог, я не хотела, чтобы ты это знал. И до сегодняшнего дня была рада, что они не осмелились сказать тебе это в свое время. Если уж тебя обуревают такие фантазии, то ты должен знать правду. Существует, на мой взгляд, определенное и негласное взаимное соглашение между автором пьесы и Героном. Мистер Шепард, по всей вероятности, дал Герону честное слово, даже торжественное обещание, что пьеса никогда не будет поставлена на Бродвее без него в этой роли...

Мэйфорт сидел не шевелясь, с преувеличенным вниманием разглядывая пол. С него, казалось, сошел весь глянец уверенного в себе баловня судьбы, ибо он был очень совестливым человеком.

Немного погодя он спросил:

— Тебе Шепард это сказал?

— Нет, я сама догадалась. Я видела, что-то тут не так... с этим молодым автором, с его неожиданным успехом. И я решила поговорить начистоту с Граничем.

— О, Шепард ему об этом сообщил?!

— Не совсем. У него с Граничем был разговор, когда тот решил взять его пьесу. Шепард отчаянно боролся за своего приятеля. Ну а Гранич не позаботился даже оставить это до времени в тайне.

Мэйфорт с трудом сохранял внешнее спокойствие.

— Да, факт не из приятных, моя дорогая, но я пока не вижу причин расстраиваться. Я боюсь одного — что ты от меня скрываешь что-то более важное.

— О, право же, нет, Говард! Этого вполне достаточно, чтобы вывести человека из равновесия. Вот представь себе: Герон один оказался в конторе своего продюсера, сидит и ждет его. Вдруг он замечает на столе рукопись шепардовской пьесы. Герон — он ведь не дурак, насколько я понимаю! — берет ее в руки и начинает читать... И он покидает контору — как ты можешь себе прекрасно вообразить! — «с огнем в груди»... Он списывает с рукописи адрес Шепарда и разыскивает молодого автора. Он поселяет в нем надежду и веру. У него много знакомых, говорит он молодому драматургу, и начинает «проталкивать» пьесу.

Но эти «знакомые» не поддаются на уговоры... Наконец он находит подходящую компанию для осуществления своего замысла — пару таких же, как он, актеров.

У них есть немного денег и больше ничего: ни протекции, ни известности, ни ангажемента — ничего. Герои работает на ангажемент — так же как до этого он проталкивал пьесу — со всяческими ухищрениями: всеми средствами добивается того, чтобы артисты шли к нему, морочит голову владельцам театральные костюмерных, сам делает бутафорию, становится режиссером и администратором одновременно: собирает па уличные сценические площадки статистов с окружающих улиц и обучает их актерскому ремеслу во время обеденных перерывов... При всем при том он такой болезненный, как ты помнишь, такой жалкий и обносившийся, такой комок нервов! И вдобавок у него, как сказала твоя гостья час тому назад, так блестят глаза! От счастья, наверно...

— Перестань!

— Почему? Я не шучу. Но случилось так, что оказались правы продюсеры, которые не взяли пьесу. Она не давала сбора, она даже не окупалась. Как это произошло? Изволь. Они играли на публику, которая привыкла к «Королеве скалистых гор» и для которой самой модной столичной новинкой считаются «Десять вечеров в баре». И в результате примерно через два года после того, как пьесу «зарубили» первые рецензенты, Гранич был атакован рекомендательным письмом одного героновского приятеля и состоялась его встреча с молодым драматургом. Так Шепард встретил свою судьбу. Что было Граничу делать? Или ставить пьесу с тобой, или совсем от нее отказаться. Я его не виню!

— Нет, конечно, — произнес Мэйфорт с горечью, — ты его не винишь. Только по какому-то непостижимому женскому капризу ты во всем всегда винишь меня!

— Я ни в чем тебя не виню, Говард. Я никого не виню. Даже Гранича, пожалуй.

— Допустим; чего же, в таком случае, ты ждешь от меня?

— Ничего. Ты уже не в силах что-либо изменить. Просто я страшно несчастна. Как и ты.

— О да! Но я несчастнее вдвойне. И именно по твоей милости!

Она смотрела на него с состраданием, не решаясь напомнить о том, как необходимо для него в эти последние дни побороть в себе все снедающие душу ужасы, нагнетаемые неотступными мыслями об этом злосчастном бродяге и насмешнике Героне.

— Я многое дала бы сейчас ради одной утешительной мысли, что тебе еще не поздно... — ей вдруг изменил голос, — не поздно...

— Ну, ну! — произнес он угрожающе, с оттенком учтивого презрения. — Не поздно что?

— Отказаться от всей этой затеи, — закончила она, почти не дыша.

Мэйфорт вскочил с места.

— Наконец-то!.. Что и следовало ожидать! Только этого не хватало! — воскликнул он с дрожью в голосе и горькой усмешкой на губах. — Удивляюсь, как ты додумалась!

— Конечно, Гранич уже столько денег ухлопал! За неделю до премьеры! Да, ты уже не можешь ничего сделать, ничего!

Он начал ходить из угла в угол, и Элен, будь она в настроении, невольно залюбовалась бы отличными пропорциями его хорошо сохранившейся, холеной фигуры, сдержанной грацией и твердостью — даже в такие минуты сильного душевного замешательства — его походки. Вся его мужская стать производила впечатление недостижимой уравновешенности, выдержки, решительности и благоразумия, того состояния совершенной зрелости где-то на высшей стадии жизненного пути — между молодостью и старостью, — которое дает мужчине основание всегда считать себя правым. Эта стать придавала каждому произнесенному им с глубоким чувством слову, каждому оттенку его благозвучного голоса особую значимость, особый вес, если бы только не тот, другой, постоянно где-то и чем-то угрожающий, имеющий реальную физическую плотность, вес, который способен погубить его неоднократно превознесенную, благопристойно героическую мужскую красоту в самый решающий момент ее выкристаллизовывания и самоутверждения.

— Пойми раз и навсегда, что поздно было все время, с самого начала. И никогда, ни на один час, ни на один миг у меня не возникало сомнения, что ты примешь в трудный момент именно эту вот глупую позу — нелепую, истерическую позу! О боже! — взорвался он. — Не понимаю вас, женщин! То вы годами висните у мужчины на шее, упрашивая его что-то для вас сделать, а когда у него появляется шанс это сделать, вы вдруг начинаете плакаться...

Когда он не понимал сестру, то не находил ничего лучшего, как осыпать ее упреками.

— Ты думаешь, я забыл мечты и надежды, с которыми мы начинали? В последние годы ты почти перестала спорить со мной, как это было раньше. Думаешь, я не догадываюсь, в чем причина?.. Могу сказать — ты отреклась от меня, перестала в меня верить... Ведь это же правда, Элен?

— Да, правда. Я потеряла надежду.

— Вот именно! Я почувствовал это по твоему настроению в последнее время, но...

Она подняла на него обеспокоенный и удивленный взгляд, а он продолжал мрачно увещевать ее:

— ...с тех пор, как я увлекся этой пьесой, ты снова стала исключительно заботлива и бесконечно добра ко мне. Да-да, именно потому, что я еще раз угождаю тебе, потому что я — отличный парень! Но, дорогая моя, тут ты несколько ошибаешься. У меня есть своя цель, о которой ты до сих пор не знала. Пришло время, когда я должен угодить и себе!

Он заметил, что это произвело впечатление.

— Двадцать лет я прожил, приноравливаясь к людям. Боже мой, чем была моя жизнь все эти годы, как не самоотречением! О, это был слишком долгий срок ученичества! У меня появились друзья, я понял и завоевал публику. Люди заговорили о моем успехе. Но я не называю это успехом, я назову это служением! Самодисциплина и самоограничение! Я сдерживал себя! Я подавлял себя! Я был так осторожен! Я никогда не брал такую роль, которая могла кого-то обделить или обидеть. Я никогда не отстаивал своих идеалов! Я знал, что еще не настало мое время, я ждал и ждал...

Он сделал паузу, осознав, что говорит повышенным голосом.

Глаза Элен были полны слез, но он не мог сейчас щадить ее чувств, ибо усиленно нагнетал их и в себе и в ней...

— Думаешь, мне приятно было играть всю эту дребедень, которую ты так презирала? Да еще каждый, каждый сезон! Элен, вообрази — за все годы, что я был премьером у Гранича, я сыграл только четыре приличные роли, а?! Четыре роли — ведь это подумать только! Десять лучших лет моей жизни!

Перебегая взглядом от книжных полок к картинам, он, казалось, апеллировал к окружавшим его стенам и, подождав, пока к нему вернется умеренная сила голоса, добавил:

— И все эти годы, все это время я тренировал и совершенствовал себя, как студент, как обыкновенный школяр. Да-да, без этого я не смог бы достичь и половины того, чего достиг! Наш зритель уважает нас прежде всего за это. Я завоевал себе лучших почитателей в Америке, самых утонченных ценителей и самых влиятельных. Моя публика знает, что она может быть абсолютно уверена в моей безупречной игре, в том, что у меня не будет ни одной неточности в костюме, оружии или в доспехах. А ты знаешь, как ревниво относятся зрители ко всяким внешним промашкам у актера...

Она кивнула.

— Этим и объясняется, почему я имею публику везде, где я хочу. Я знал, что единственный путь к независимости в конце — стать зависимым вначале. Если бы я не прошел через все это, я, быть может, был бы так же бессилен сейчас заполучить роль в этой пьесе, как и бедняга Герон...

Он снова зашагал по кабинету.

— Безусловно, значительную роль в моей судьбе сыграло модное в свое время увлечение исторической драмой. Не будь этого, мне, вероятно, и по сей день пришлось бы довольствоваться амплуа салонного бездельника. Историческая драма позволила мне сыграть дона Сезара, затем сенсацией стал мой Рюи Блаз в прошлом году, который закономерно привел меня к Макиавелли. А Макиавелли должен возвысить меня до Гамлета — да, да! — а затем до Отелло и Лира, до того, чему я предназначен!

Волнение звучало все сильнее в его голосе.

— Гранич понимает, что я уже вырос из детских помочей. «Я надеюсь, что эта пьеса и ваша роль в ней сделают вас первым актером Америки». Вот почему он вложил целое состояние в эту постановку. Он тоже многого ждет от меня. Я был популярной театральной «звездой», а теперь должен стать прославленным артистом. И мне ничего не остается, как оправдать свои и его надежды. О, знала бы ты, чего мне все это стоит!

Элен сделала судорожный глоток, а он с прежним мрачным неистовством продолжал:

— Если бы ты только смогла увидеть, чем эта роль стала для меня, чему меня научила! В полном одиночестве, наедине с ней этим летом я начал постигать такие вещи, о которых и представления не имел раньше, всю свою жизнь. «Мой час настал, Элен, дорогая, и царство



все — мое!»<sup>1</sup>. Вот, попробуй тогда сказать, что ты потеряла надежду!.. Разве я не имею права подумать когда-нибудь и о себе? О самом себе?!

Он смотрел ей прямо в глаза. Она подошла и спрятала лицо у него на груди...

Оба вернулись к действительности в тот момент, когда в кабинет за чайной посудой вошла служанка и включила свет. Мэйфорт все же был достаточно чуток, чтобы почувствовать, как дрожит Элен, и как только они снова остались одни — к этому моменту все трепетные, неустойчивые тени кабинета уже рассеяло рациональное и устойчивое электроосвещение, — он сердечно поцеловал ее.

— Элен, — сказал он, — ты, пожалуйста, не думай, что я сейчас раздражен или рассержен. Наоборот, все это сделало меня лучше, добрее. Между нами, мною и тобой, к сожалению, в последнее время нет былого доверия... Скажу тебе, дорогая, что меня даже мучают угрызения совести из-за бедного Герона, и немалые, хотя он их и не заслуживает.

Мэйфорт протяжно и глубоко вздохнул.

— Добрая моя Элен, дело не в Героне и не во мне. И даже не в том, что я, как наиболее подходящий кандидат, имею право на Макиавелли, а в том, что он, Макиавелли, имеет неоспоримое право на самого лучшего актера.

Она протянула ему руку, и он мягко прижал ее к себе. Потом, заметив штору, которую забыла опустить горничная, подошел к окну. Уже подняв к шторе руку, он приостановился на мгновение и стал внимательно вглядываться в заоконный безбрежный мир, где тени еще не были рассеяны электрическим освещением.

— Элен! — произнес он изменившимся голосом. — Поди-ка сюда! Смотри! Туда, через дорогу! Что это — не Герои ли там стоят?

— Я отсюда не вижу... А-а, там? Полноте, дорогой, ничего похожего.

— Ох, скорее бы уж эта премьера! — отозвался он.

Вечером, в день генеральной репетиции, перед ее началом, статисты сдавали свои жетоны инспектору — жетоны эти свободно продавались за единовременный гонорар любо-

---

<sup>1</sup> Перефразировка библейского выражения, возвещавшего свершение божьей воли на земле.

му непрофессионалу, отважившемуся наняться на один вечер, — и проходили мимо него с выражением повседневной деловой озабоченности на лицах, не стараясь произвести особое впечатление. Среди статистов оказался небольшого роста смуглый человек. Он не спустился вместе с остальными в гримерную, а поспешными, легкими шагами, стараясь не привлекать к себе внимания, прошел через цепу к маленькой двери, за которой его сразу поглотила тьма пустого зрительного зала. Поднявшись по лестнице на балкон, он опустился на сиденье в последнем ряду и совсем слился с темнотой. Ничто не мешало ему оставаться незаметным. Под старым, поношенным пальто, которое он не снял даже в этот мягкий октябрьский вечер, был только глухой свитер неопределенного цвета, еще более старый и поношенный, чем пальто. Ничего белого или светлого, кроме лица и голых рук, одну из которых он сразу же подвес ко лбу, чтобы надвинуть пониже шляпу на свое неподвижное чело. И в таком положении час за часом — пока зрительный зал медленно пробуждался к жизни и свету, становился многолюдным и оживленным, растревоженным музыкальными инструментами, хорошо поставленными голосами, звучными репликами, и начинал сверкать всеми красками — сидел он сгорбившись, молчаливый, без видимой цели, без признака жизни, за исключением искорки, сверкавшей в глубине его пристального, неподвижного взгляда.

В наши дни генеральные репетиции проходят, как правило, в дневное время, однако Мэйфорт углядел в этом факте что-то расхолаживающее артистов и потребовал перенести «генералку» на семь часов вечера. Никому из участников спектакля, конечно, не нужно было напоминать, что репетиция начнется не раньше десяти. В восемь Агнесса Мэйфорт вышла из артистической уборной мужа в зал и объявила небольшой группе наиболее шумливых и заядлых театралов, которые каким-то образом всегда проникают на генеральные репетиции:

— Сейчас начинаем, мистер Мэйфорт уже готов.

Последовал шум благодарных возгласов. Сцена была подготовлена, и занавес поднят. Гранич и режиссер сидели в первых рядах зрительного зала и давали указания помощнику режиссера, который стоял за рампой и передавал эти указания дальше, за кулисы и на колосники; бутафор и его помощники блуждали возле декораций с искусственными цветами в руках и, задерживаясь время от

времени у драпировок, еле заметно прикрепляли к ним цветы; осветительная аппаратура в ожидании усталилась своими зрачками на сцену; плеяда актеров в импозантных, струящихся всеми оттенками красок одеждах тоже напоминала живые цветы, там и сям разбросанные по темноватому, почти пустому зрительному залу. Гранич, режиссер и электрик начали колдовать с осветительными лампами.

Появление Мэйфорта на сцене вызвало взрыв восхищения и оживило пульс надежды у ожидавшего его воинства. Грим и костюм до неузнаваемости преобразили его, будто вновь явили миру. Одет он был великолепно: продуманно, со знанием дела, можно сказать, даже изысканно, и носил на себе все это чужеземное великолепие совсем легко, с естественной грацией своей гармонически развитой фигуры. Все в целом — его движения, грим и костюм — создавало эффект небывалой, почти поэтической пластичности и выразительности.

Его появление подарило ему маленький триумф, и если даже быстрые энергичные реплики, какими он обменивался через рампу с Граничем, не выдавали его истинных чувств, его первой маленькой радости, то это все равно потом становилось заметно по его чуть-чуть чрезмерной и деловитой активности на сцене.

Хотя и Мэйфорт уже вышел на сцену, репетиции все еще не начинали. Compliments и поздравления, обрушившиеся на миссис Мэйфорт в первые моменты его появления, понемногу увяли, а пятисотдолларовая — в неделю — премьерша, вскочив с места с возгласом: «Боже мой, да что ж это они делают!» — выпростала из волочашейся мантии свои потерявшие терпение руки с таким видом, будто все тут сидели и во весь рот неприлично зевали. А Гранич с Мэйфортом, режиссер и электрик продолжали экспериментировать с осветительными лампами: с одной, другой, третьей...

Но вот наконец, когда надежда, казалось бы, совсем иссякла, когда ни у кого не осталось возможности что-нибудь еще приладить или приукрасить на сцене, когда можно было только сидеть и ждать — с гримом, от которого портилась и увядала кожа и который кусками отваливался от лица, с развинчивающимися локонами и развинченными нервами, с волнами холода и жары, прокапывающимися по всему телу, с нервным страхом, нервной сонливостью, нервной лихорадкой, нервным ознобом, му-

рашками, бегущими по спине, — вот тогда Мэйфорт сказал помощнику режиссера:

— Ну вот, теперь можно освободить сцену.

И тот незамедлительно хлопнул в ладоши:

— Очистить сцену! Всем! Быстрее!

И все, кто был на сцене, суетливо и поспешно убралось с нее, а занавес опустился; и Элен Мэйфорт, которая ждала за кулисами этого последнего момента, чтобы ободряюще улыбнуться брату, сошла в партер и села там, устремив испытующий взгляд на сидевшего неподалеку Шепарда; и был дан сигнал, которого все с секунды на секунду молитвенно ждали; и сердца актеров подскочили в груди и стали стремительно падать, все ниже и ниже — как при большой волне на море; и кровь леденела в жилах; и к горлу что-то подступало и пощипывало; и по телу пробегал экзальтированный трепет...

И занавес снова поднялся.

Декораторы и рабочие сцены, костюмер и театральный парикмахер, помощник режиссера и его ассистенты, электрики — все наконец утихомирились. Пьеса и актеры были во власти друг у друга.

Их успех никогда не созревал быстро. И никакие похвалы после первого акта не смогли дать Мэйфорту повода для ликования или самоуспокоения. Готовилась кульминация второго акта, где он должен был впервые в жизни показать, на что он способен, и потом — великий третий, где он сотворит о себе легенду.

Третий акт предстоял очень трудный. У Мэйфорта оставалось еще время после переодевания, чтобы сойти вниз, «в публику», и послушать, что о нем говорят. Приближаясь к жене, он услышал легкий гул поздравлений и увидел ее безмятежно счастливое лицо, на котором сияла улыбка гордости и торжества.

— Все в восторге от тебя, мой дорогой!

И все начали говорить, захлебываясь от восторга, пока не осталось ничего, что бы они не похвалили в его игре; и когда он спросил, насколько правильным, по их мнению, является его сценическое толкование образа, в каких местах и сценах его игра была лучше, где он достиг большей выразительности жеста или интонации,— одни вновь разразились потоком словоизлияний, другие уважительно примолкли на время: все принимали его таким, каков он есть. Ему это было приятно, но он почему-то не совсем верил в искренность похвал. Нет, он всем этим людям ве-

рил — почему бы нет?! И все же не был удовлетворен полностью. Он стал глазами разыскивать Элен.

Заметив его взгляд, она тотчас же поднялась и направилась к нему — с сияющей, обезоруживающей улыбкой. Но он, не обращая на улыбку внимания, настойчиво спросил:

— Ну как я?

— Просто великолепен! Все восхищены. Ты в ударе и можешь превзойти самого себя.

Он посмотрел на нее, ободренный, и все же не смог избавиться от какого-то смутного ощущения, которое не тревожило его при других людях, но всплывало — помимо его воли — из глубин души в ее присутствии... Тут до него донеслись слова какой-то дамы, говорившей его жене о том, как удивительно естественно и скромно держится на сцене мистер Мэйфорт — это при всей его утонченности и изысканности! И он подумал, что, вероятно, так оно и есть, ибо он всегда стремился быть скромным.

К счастью, он вовремя вспомнил, что необходимо в должной мере воздать хвалу и своим коллегам. Сейчас как раз наступила очередь одаривать комплиментами его партнершу-жену, и в стройный хор окружающих удачно вплетались упоминания о ее «звездных» успехах год или два назад. Люди выражали свое восхищение Граничу, костюмеру, рекламному агенту, некоторые, наиболее воспитанные и совестливые, говорили добрые слова даже Шепарду. И в тот момент, когда был объявлен третий акт, Мэйфорт снова громко спросил:

— Так вы мне ничего и не подскажите? Может, я что-нибудь упустил? Или исказил?

— Что вы, что вы, мистер Мэйфорт! Какой может быть разговор!

Он покинул их, успокоенный. Да и что могло быть, в конце-то концов...

Второй акт у Шепарда заканчивался возвращением во Флоренцию партии Медичи и поражением героя пьесы сразу на двух фронтах: потерей власти, высокого положения и утратой своей весьма легковой жены, которая помогла автору пьесы создать незамысловатый любовный треугольник, где соперниками стали принц Джованни Медичи и Макиавелли. В третьем акте Макиавелли на своем пути в изгнание; еще не оправившийся от застенка Джованни, он встречает на улицах Флоренции принца и свою жену и в бешеной агонии стыда и гордости мобилизует на помощь все свое сатанинское красноречие, чтобы

завоевать ее снова; он добивается своего и проделывает это с быстротой и беспардонностью, достойной разве лишь Ричарда Плантагенета в его сцене с Анной, только что потерявшей мужа. И дело здесь не столько в самой этой жене-возлюбленной, сколько в толпе черни, которая настолько воспламеняется красноречием Макиавелли, что, сделав из него кумира, принимает его сторону в борьбе с Джованни и дает ему возможность отобрать женщину у соперника и увести ее в Сан-Кашано.

Было совершенно очевидно, что роль требовала колоссального физического и нервного напряжения, полной отдачи даже на таком привычном для Мэйфорта образцовом уровне исполнительского мастерства. А ему предстояло еще показать себя во всем блеске, «сотворить легенду». И он, и Джованни, и героиня придирчиво осматривали друг друга перед каждым выходом на сцену — как воины проверяют оружие перед сражением.

Удачно введенный в действие в начале третьего акта, голос Мэйфорта по красоте, выразительности и величавой звучности нравился даже ему самому и крепил уверенность в себе. И все-таки... в чем же дело? Или ни в чем?.. Он удалился на время со сцены — для короткого выхода Медичи — с прежним неясным чувством некоторого разлада между собой и своим идеалом. Ожидая вторичного выхода, он ощутил рядом присутствие другого человека — человек оказался рекламным агентом — и неожиданно для самого себя вызывающе-гамлетовским тоном (как при встрече датского принца с Гильденстерном) выпалил:

— Ну-с, дорогуша, как вы меня сегодня находите, а?

— Просто великолепно, мистер Мэйфорт!

— Вы уверены?

— Абсолютно. Все только и говорят о вас, ничего более великолепного никто никогда не видел.

Он и сам не понял, что дернуло его в момент выхода обернуться к агенту и с непонятной для того безотчетной горестью произнести:

— Хотел бы я быть на их месте, чтобы самому в этом убедиться...

И он продолжал. Продолжал действительно великолепно, с необыкновенным подъемом, доводя каждый основательно отрепетированный жест, каждую эффектно задуманную реплику до высшей степени совершенства. И уже ничто не могло отвлечь его или вывести из себя: ни обмен записками и взглядами между костюмером и Граничем

в самый впечатляющий момент сцены, ни шевеление жены, уронившей что-то на пол и поблагодарившей соседа, поднявшего ей это что-то с полу; его утонченный интеллект был восприимчив только к собственной совершенной игре и ко всему, что происходило в каждый данный момент с ним на сцене по ходу действия; и еще он был восприимчив, естественно, к собственному успеху, к комплиментам и овациям, уже, как говорится в таких случаях, «висевшим в воздухе». И все-таки, как и раньше, все-таки... все-таки...

Наступила кульминация пьесы. Мэйфорт уже словно слышал нависшие в зале овации, они готовы были заслуженно разразиться над ним. Наступил великий момент в его жизни, и он уже был почти уверен в правоте Гранича, предрешавшего его небывалый успех. Через какую-то минуту он будет окружен шумными, восхищенными друзьями и коллегами... Однако в преждевременно нахлынувшей волне восторгов и дружеских откровений он уловил что-то досадливо озадачивающее его: словно все похвалы друзей были в какой-то степени показными, словно контакт между ним и теми, кто сидел в зале, был только внешним, поверхностным и что-то осталось им не постигнутое и непостижимое в его роли, в нем самом, в этих зрителях, в жизни... Между тем его голос продолжал красиво и щедро возвышаться «под аккомпанемент» коллег, как вдруг диссонансом к этому голосу, произносящему заключительную реплику и сопровождаемому грациознейшим из любимых жестов Мэйфорта, диссонансом к готовым вот-вот разразиться овациям из темной бездны зала неожиданно прозвучал сатанинский смешок.

На какой-то момент это произвело впечатление одного из сценических эффектов. Казалось невероятным подумать что-либо другое. Зрители не захотели обращать на это внимания: кое-кто привскочил с места, люди зашикали на них, и снова все обратили свои взоры на сцену.

Но успокоились они ненадолго. Гранич подпрыгнул в кресле с проклятием и уставился на сцену, готовый немедленно отдать необходимое распоряжение. Шепард тоже поднялся и, повернувшись к сцене спиной, застыл на месте — глаза его шарили по балкону. А Мэйфорт, который возобновил было свою реплику, сбился, начал ее снова, опять запнулся, потупился, да так и остался стоять в замешательстве.

Наступила мертвая пауза.

Гранич что-то говорил через оркестр помощнику режиссера, показывая пальцем на балкон. И все остальные тотчас устремили взгляды в пугающую темноту, словно бы учуяли притаившегося там нечистого духа. Но когда этот «нечистый дух» материализовался, подавшись слегка вперед, то оказался небольшим, тшедушным человеком, который, опершись коленом о балконный поручень, воззвал к ним ко всем:

— Боже мой, братцы вы мои дорогие, уже не собираетесь ли вы это показывать публике?

Мэйфорт, один из всей импозантной актерской толпы, стоял безучастно и недвижимо, он не смотрел в сторону балкона и не выглядел удивленным. Ему не надо было узнавать этот голос, голос-удар по туго натянутым нервам в точно рассчитанный час и минуту. Ему одному было ведомо, что змеиное жало сарказма уже изготовлено к броску в цель и что Герои в конце концов подстерег его «за углом с ножом в руке».

И в этот момент у нашего рыцаря удачи под многолетним слоем жизненно-сценической бутафории в ослабевших мускулах жизни дала себя знать едва ощущавшаяся до этого прослойка природного мужества. И оно, это мужество, подкрепленное готовностью к неизбежному, которое Мэйфорт месяц за месяцем подсознательно растил в себе, подняло его сдерживающую длань на плечо помощника режиссера и донесло через оркестр до Гранича его негромкие и мягкие, но достаточно отчетливые слова:

— Не надо! Не трогайте! Оставьте его!

— Кто там? — спросил Гранич.

— Это Герон, — ответил ему Мэйфорт. — Не трогайте его!

Потому что самым важным, как понимал Мэйфорт, было сейчас остановить жалящий «выстрел» змеи сарказма на полпути в воздухе, опустить занесенную для удара руку, спрятать в ножны нож — и все это без скандала, благопристойно... Если Герон явился сюда с намерением убить его, но укрылся на таком большом от него расстоянии, то он наверняка принес с собой револьвер. И если Мэйфорт сам пойдет к нему или кто-нибудь другой поднимется на балкон, то он, услышав приближающиеся шаги, может открыть пальбу по сцене, и тогда — как бы быстро его ни схватили — не избежать беды.

Мэйфорту пришли на ум забытые рассказы о диких зверях, загипнотизированных человеческим взглядом, о



раскручивающихся перед миской молока змеях, о маньяках и громилах, обезоруженных благодаря такту, присутствию духа и удачному отвлекающему маневру.

А так как Герон был несомненно пьян, то вернее всего было бы сейчас улестить его, завоевать его доверие, уступить — пусть даже вопреки здравому смыслу, — чтобы выманить его из укрытия, заставить сойти с балкона вниз, а потом схватить и обезоружить.

И Мэйфорт, мысленно призывая все свое оставшееся мужество, поднял лицо, полностью освещенное, навстречу героновской ухмылке, сделал шаг вперед, выделившись на фоне статистов и декораций, и выкрикнул, протягивая змее блюдо с молоком:

— Так это ты, Дан Герон? Какими судьбами? Как живаешь?..

Другой, на балконе, оставался молчаливым с минуту — неужели тигр и вправду загипнотизирован? — а потом эхом донесся до них, вниз, его голос, довольно спокойный:

— Да вот пришел посмотреть на ваше представление. — Герон закашлялся, но быстро совладал с кашлем, чтобы добавить: — Было бы лучше, конечно, подождать до понедельника, но такая роскошь — ждать — не для меня. Особенно если учесть, что я не совсем рядовой зритель на этой премьере. А, Шеп? Я ведь думал, ты заказал всю эту музыку для меня...

Было что-то такое в этих последних словах Герона, что не столько рассердило, сколько встревожило Мэйфорта. Он поспешно рассмеялся и сказал:

— Надеюсь, тебе поправилось то, что ты видел?

А сам все время думал: «Как бы его выцарапать оттуда?»

Голос Герона оживился:

— Ха! Он еще спрашивает!

Герон перегнулся через перила — казалось, вот-вот свалится, и взгляд его засверкал проказливо-ехидным блеском.

— А тебе самому понравилось? У тебя, верно, совесть чиста, и все, по-твоему, в ажуре? Или разрешишь мне сделать пару-другую замечаний?

И Мэйфорт сразу откликнулся, бросая кусок мяса тигру:

— Конечно, конечно! Ведь ты же знаешь пьесу. Помоги нам, чем можешь. Мы ведь здесь для того и собрались.

Герон встал во весь рост, глядя на него с насмешли-

вым любопытством; широко раскрытые глаза его холодно поблескивали от возбуждения. Потом он резко повернулся, не сказав ни слова, и исчез в темноте.

Мэйфорт спохватился.

— Ради всего святого, Гранин, не подымайте шума! Он спускается сюда. Лучшего и желать не надо. Позвоните пока в полицию, а он пусть делает, что ему нравится, как у себя в Ошкоше, до прибытия полиции. Я уступлю ему сцену. Потом, если он уйдет спокойно, мы попросим полицейских заняться им на улице. Я не хочу скандала накануне премьеры, да еще связанного с его именем...

Послышались шаги Герона на лестнице, и Мэйфорт крикнул:

— Я буду в ложе, старина! Очень рад тебя видеть!

Он повернулся к труппе.

— Прошу вас, всех прошу, леди и джентльмены, помягче с ним. Он друг Шепарда. И он пьян — этим все сказано... Он будет играть мою роль... Хочет нам что-то показать, поразить нас... Приготовьтесь, пожалуйста...

При последних его словах на сцене появился Герон.

Не успев с достоинством удалиться в ложу, Мэйфорт отступил, чтобы незаметно затесаться среди статистов. Но Герон повелительно остановил его:

— Мы начнем с твоего последнего выхода, Мэйфорт, — скороговоркой, без всякой рисовки сказал он, — выйди вперед, чтобы лучше видеть, что я собираюсь делать!

И тут впервые им всем стало ясно, что этот неожиданный «чертик из коробочки» не замышляет ничего дурного, а просто собирается играть, что он просто хочет показать прославленному премьеру, как он сам где-то играл его роль.

Актеры начали — не без брюзжания — оживать, после того как улегся небольшой вихрь возбуждения и любопытства. А Мэйфарту пришла в голову мысль о том, что этот человек искренен в своем намерении. Что у него нет ни яда, ни кинжала, ни револьвера, что у него нет никакого злого умысла или корысти, нет ничего иного, кроме необыкновенной увлеченности Ролью, его Ролью, и что только его беспримерная дерзость помогла ему вовлечь их в орбиту своей увлеченности, чего он, вероятно, не мыслил даже в самых несбыточных мечтах.

Эти мысли пришли к Мэйфарту слишком поздно. Но все равно, ощущение опасности оставалось. Единственное, что еще вселяло уверенность, — это возможная своевремен-

пая помощь полиции на тот случай, если самозванец решится на какую-нибудь недостойную выходку, когда будет покидать здание театра. Ибо пьяным-то он должен был быть...

Мэйфорт счел наиболее благоразумным величественно удалиться в зрительный зал. Герон с минуту ждал реплики, но будущий великий трагик еще недостаточно овладел собой, чтобы ответить ему. Тогда, оттолкнув двух или трех статистов па пути, Герон вышел... Говард Мэйфорт появлялся в этой сцене с красивым скорбным жестом, а Макиавелли Герона вынырнул, как ночной вор из-за угла. Постигнуть степень таланта у актера можно по первым его шагам на сцене, по неповторимой, медлительно крадущейся повадке новоявленного Макиавелли, например: неказистая фигурка Герона — в контрасте с Джованни и его блестящим эскортом — обернулась плюгавой крысой. Гранич, наклонившись к Мэйфорту, чтобы презрительно прокомментировать этот феномен роли, остановлен был внезапным зловещим блеском в глазах Макиавелли и ментальным оживлением во всем облике, охватившем его, едва он, еще не видя, учуял присутствие женщины рядом с Джованни. Внимание Гранича привлекло выражение неожиданной заинтересованности на лице Мэйфорта, потом он с удивлением отметил про себя, что у него сглаживается дурное впечатление даже от вялых и невыразительных реплик Джованни Герону, пока совсем не убедился, что и он захвачен и увлечен этой резкой переменой в Макиавелли. Гранич осознал также, что незванный гость, которого они поначалу не приняли всерьез, постепенно овладевает положением — да еще как овладевает!

Ибо если уж сам Мэйфорт повиновался ему, то что оставалось делать остальным актерам на сцене? Сконфуженные, дезориентированные, раздраженные, они не знали, как вести себя в этой неожиданной ситуации; они следили за своим скороспелым премьером и машинально оборачивались на его голос, как если бы дело происходило на великосветском рауте. А он быстрыми командами ломал первоначальный план сцены, жестами перемещал всех Медичи с одного места на другое, взывал: «Не сюда, моя девочка!» — к пятисотдолларовой премьерше; его палец мгновенно собирал нужными группами флорентийских горожан, а глаз так же быстро, подобно мечу, рассеивал эти группы.

Когда все мизансцены были воссоединены в единый

сценический узел, Гранич не мог не признаться самому себе, что весь сценический ансамбль производит впечатление какой-то необычной ладности, «пригнанности» и неделимой собранности, не мог не уловить новой интонации в голосе героини-премьерши, не мог не отметить все возрастающего блеска игры Герона — Макиавелли — зловещего и могущественного блеска отточенного оружия... Он не переставал всему этому удивляться, пока до него не донесся восторженный шепот миссис Мэйфорт, обращенный к мужу: «Боже мой, дорогой, да кто же он!?» — и ответ Говарда: «Ах, оставь меня!»

...Сколько ни пытались, они не могли вспомнить, впоследствии, когда, в какой именно момент все забылись, потеряли себя. Была такая минута, когда у всех у них в этом большом полупустом зале замерли сердца и приостановилось дыхание... И когда они пришли в себя, то были заполнены чародейством — изумительным и неповторимым — средневекового города, атмосфера которого создавалась вокруг них с нарастающим воздействием до тех пор, пока вся сцена не была насыщена эманацией чего-то легендарного и осязаемого, принявшего лик Старого Света и старого человеческого поколения. На актеров эти чары, естественно, подействовали раньше, чем на сидящих в зале; это было колдовство, освободившее их от театральной условности и сделавшее их естественными, как воздух, солнце, вино. Главная роль пьесы, воссозданная Героном и лишь соединенная в одно целое драматургией Шепарда, сюжетно не была изменена трактовкой нового героя. Изменена была сама суть роли, которую Герон — в пределах дозволенного — сделал насыщеннее и ярче, обнажил и углубил по своему усмотрению. Все артисты, многоопытные и первоклассные актеры, в этой сцене были простыми пешками в руках Макиавелли; все новое и неподготовленное, что им приходилось сейчас делать, получалось у них удачно исключительно благодаря актерской заразительности и восприимчивости. Они были во власти «греческого огня», которым Герон воспламенил их. Поддерживая в них этот огонь, увлекая их, сам он все глубже погружался в пучины ярость-музыки и страсть волшебства. Блеск его игры заставил всех забыть о невзрачности фигуры, он все более разгорался, освещая одного за другим все действующие лица, пока — странно было видеть — не ожили даже второстепенные детали сцены, краски и холсты декораций, пока не оживилась и не стала дышать одним с ним дыха-

нием страсти толпа статистов, чернь на флорентийской площади. Великолепие оружия и бархата, вуалей, плюмажей и драгоценностей — все играло сейчас на одну эту худошавую темноволосую фигуру — без грима, без театрального костюма, некрасивую,двигающуюся по сцене в старых ботинках и старом свитере, с перекинутым через руку поношенным Ольстером<sup>\*</sup>, который в его руках одним его жестом превращался чуть ли не в императорскую мантию. И голосом, который они слушали, и огнем, который опжег в их сердцах, он воскрешал ту самую флорентийскую площадь и тех самых людей, произносил зажигательные слова и совершал действия, которые единственные были достоверными и свойственными той самой эпохе — именно ей, именно в то время и в ту эпоху. На сцене и над ней, звеня на тысячи ладов, распространяясь все шире и выше, вновь созданная Роль воспарила на своих сильных крыльях в заоблачную высь, и там, коснувшись зенита, засияла в последний вдохновенный момент своего полета, а затем — без звонка и падения занавеса — раскололась надвое: на колдовские чары артиста и на его внешний облик.

Ни звука, ни дыхания. Ояшдающее, переполненное чувствами, абсолютное молчание было нарушено голосом премьерши, прильнувшей к Макиавелли, к этой поганой маленькой крысе, к этому непревзойденному, блестящему актеру, к триумфатору. Она вцепилась ему в свитер и, задыхаясь от обуявших ее чувств, просипела:

— Не уходите! Не покидайте нас! Я никогда... никогда еще так не играла!..

И после этого молчание сошло на всех снова, угнетенное и гнетущее, оглушающее возбужденных артистов на сцене и успокаивающее парализованных зрителей в зале, молчание огромного, темного, пустого театра и молчание пораженной, онемевшей, покоренной Мэйфортовой «свиты». Что они могли сказать? Говорить было нечего...

Герон высвободился из объятий премьерши и медленно, сквозь гнетущую тишину пошел к выходу со сцены. Им оставалось только молча провожать его взглядом. О полицейских уже никто не вспомнил — до них ли было... Герон слегка дрожал, ибо напряжение было нечеловеческим, а здоровьем он не отличался — только великолепным самообладанием. Он приостановился у рампы

---

<sup>1</sup> Ольстер — свободное мужское пальто из бобрка.

и, сняв позеленевшую от времени шляпу, сделал низкий, до полу, церемонный поклон.

— Благодарю вас, дамы и господа! Представление окончено.

Он стоял, оглядываясь вокруг, очень бледный на фоне всего этого внешнего блеска и мишуры, потрепаннее и невзрачнее последнего рабочего сцены, но живее самой ртутти; его быстрые, сверкающие взгляды — смешливые, иронические, сатанинские, приковывающие внимание — бросали вызов, а на губах играла оскаленная, дразнящая улыбка Пана, исполненная космического презрения. Вот взгляд его скользнул мимо Шепарда и, найдя то, что искал, — лицо Мэйфорта, — задержался на нем. Улыбка стала еще больше.

— Я прожил жизнь в борьбе и погибаю от предательства... Реванш — это сладко и приятно, и, может, я свое взял сегодня. Только ты же видел, какой я был, мой дорогой коллега? Вот что главное... Вкладывайте больше души в игру, и дело пойдет...

С этими словами, не глядя больше на Мэйфорта, он надел шляпу, безучастно повернулся и, спокойно прокладывая себе путь сквозь строй смущенных, оцепеневших статистов, вышел из зала, из театра. Никто не сообразил — да и к чему? — остановить его. Только Шепард пошевелился, положил голову на спинку переднего кресла и шумно, тяжело вздохнул.

Генеральная репетиция продолжалась. Во время четвертого акта Мэйфорт, вернувшись после переодевания, услышал протестующий голос Гранича, поднявшийся над возгласами окружавших его дам:

— ...При чем здесь способности! Пусть он будет величайшим из непризнанных гениев — видит бог, я сам признаю это! — и все равно я не возьму его! Полдюжины таких, как он, сведут на нет все наши усилия. Эти люди только вредят своему же брату, актеру: они делают профессию актера посмешищем в глазах общества. Являемся мы, продюсеры, видим, что они тут навыворяли, и начинаем работать как рабы, чтобы спасти положение и вывести театр на правильный путь, поставить его на здоровую, коммерческую основу. Он может играть, и, сознаюсь, никто больше меня не восхищался его игрой сегодня. Но он принадлежит к той категории людей, к которым я всегда испытывал активную неприязнь и которые являются прямой противоположностью таким достойным людям, как мистер

Мэйфорт и мистер Шепард. Именно они — моя надежда и опора. И двух мнений тут быть не может...

Мэйфорт стоял в тени ложи. И ему вдруг показалось, как с противоположной от Гранича стороны, из-за ramпы, продюсеру отвечает сверкающий непреклонностью геро-новский взгляд: «Да, двух мнений тут быть не может!» Оглядев передние ряды кресел в поисках Шепарда и не найдя его, Мэйфорт снова вспомнил и свой первый сладостный час знакомства с его пьесой, и свою большую надежду, и свое смутное и необъяснимое состояние жертвенности... жертвенности...

После знаменитой премьеры, когда «весь Бродвей» возвел Мэйфорта в самый малочисленный и желанный для него разряд признанных трагиков, многие друзья и знакомые пришли за кулисы поздравить его, и ему ничего не оставалось, как покориться их нетерпеливой настойчивости, хотя предстояло еще после всех этих поздравлений переоблечься во фракную пару и ехать на званый ужин. Он очень устал. Напряжение на всем протяжении спектакля было ужасным, он работал как одержимый, особенно теперь, после явления Герона на генеральной репетиции. Он добился, раз или два, настоящего эффекта в той самой великой сцене, что не осталось незамеченным. Мисхейшоповцы, к примеру, единодушно заявили, что они присутствовали на «эпохальном спектакле». Театральные критики уже строчили свои рецензии, в которых преобладал один эпитет: «великая пьеса», «великая роль», «в игре Мэйфорта были такие моменты, когда он был — они не колеблясь могут это подтвердить — на высоте величия».

Как только он смог оставить Агнессу в тисках поздравлений одну, то сразу ушел к себе в уборную, напоминавшую сейчас цветочный магазин, где ждала его Элен. Это была их первая встреча наедине, которую он позволил себе со дня генеральной репетиции. Он посмотрел на нее взглядом, который она никогда не забудет, и решительным, протестующим жестом сдержал все добрые слова, которые она хотела ему сказать.

— Сама видела, — произнес он, — я сделал все, что мог.

И она не смогла после этих слов убедить его в том, как он хорошо это все сделал и как великолепно держался на сцене.

— Я слишком долго ждал. Тебе не кажется?

Она не отвечала, и он продолжал:

— Я пятнадцать лет сжимал в себе пружину, а сейчас,

когда попытался дать ей волю, она не сработала — заржавела, наверно... Ты предчувствовала, ты знала, что так будет... С самого начала?

— Я боялась за тебя.

— Ты боялась за меня с того часа, как прочитала роль?

— Да.

— И не могла мне сказать!

— Я пыталась тебе сказать... все эти годы!

Снаружи стали стучать, послышался голос Гранича... Лоп стоял, глядя куда-то вдаль, в прошлое, где ему, вероятно, привиделся зеленый юнец, впервые завоевавший успех на подмостках провинциальной сцены в роли юного Ромео — сырая, незрелая роль с массой неуклюжих движений и жестов, — и она, вот эта его сестра, с лицом, мокрым от счастливых слез, вся сияющая от его успеха, минутно кидающаяся ему на шею...

Толпа, вытекающая из театра после премьеры сезона, заполнила Бродвей тарыхтением автомобильных моторов, великолепием меховых накидок, ярким светом электрической рекламы, огненными буквами запечатлевающей имя Мэйфорта над оживленным, сверкающим лабиринтом ночного города. И в этой толпе была темная, неказистая, легкая фигурка человека, не нашедшего в себе сил не прийти на премьеру. Он задержался при спуске с наружной балконной лестницы, устремив свой взгляд вверх, к ослепительным метровым буквам фамилии великого трагика эпохи и к чему-то еще дальше, в безмолвное небо...

Его душа была полна горечи, но, несмотря на эту горечь, заглушая ее, в нем росла и крепла Его Роль и вместе с ней росло и крепло его сердце, как будто она призывала к оружию... Она осталась только с ним, как и раньше, — с тем чтобы и он тоже был только с пей наедине во всей этой толпе, чтобы только оп один мог знать высшую радость истинного вдохновения и видеть ее там, вверху, в темном блестящем небе, где сверкали миллионы настоящих звезд над этим шумным, понемногу утихающим сейчас миром.



# Гилберт Кит Честертон

## *Алиби актрисы*

Мистер Мэкдон Мандевиль, хозяин труппы, быстро шел по коридору за сценой или, вернее, под сценой. Он был элегантен, быть может, даже слишком элегантен: элегантно была бутоньерка в петлице его пиджака, элегантно сверкала его обувь, но наружность у него была совсем не элегантная. Был он крупным мужчиной с бычьей шеей и густыми бровями, насупленными сегодня еще сильнее, чем обычно. Правда, человека в его положении ежедневно осаждают сотни мелких и крупных, старых и новых забот. Ему было неприятно проходить по коридору, где свалили декорации старых пантомим — с этих популярных пьес он начал здесь свою карьеру, но потом ему пришлось перейти на более серьезный, классический репертуар, который съел немалую часть его состояния. Поэтому «Сапфировые ворота дворца Синей Бороды» и куски «Зачарованного, или Золотого грота», покрытые паутиной или изгрызенные мышами, не вызывали в нем того сладостного чувства возвращения к простоте, которое мы испытываем, когда нам дадут заглянуть в сказочный мир детства. У него даже не было времени уронить слезу над своим уроном или помечтать о детском рае: он спешил уладить весьма прозаический конфликт, какие иногда случаются в странном закулисном мире. На сей раз скандал был достаточно велик, чтобы отнестись к нему серьезно. Мисс Марони, талантливая молодая итальянка, игравшая одну из главных ролей в пьесе, которую должны были репетировать в то утро (вечером была премьера), внезапно наотрез отказалась играть. Мистер Мандевиль еще не видел сегодня капризной дамы; и так как она заперлась в своей уборной

и скандалила за дверью, трудно было надеяться, что он увидится с ней. Мистер Мандевиль был настоящий англичанин и поэтому проворчал, что все иностранцы сумасшедшие. Но мысль о выпавшем на его долю исключительном счастье — обитать в единственной нормальной стране — утешала его не больше, чем «Золотой грот». Все это было в достаточной степени неприятно; и все же внимательный наблюдатель заметил бы, что у мистера Мандевиля есть и более серьезные заботы.

Каково бы ни было тайное горе, мучившее его, оно, по-видимому, гнездилось в самом конце длинного темного коридора — там, где помещался его небольшой кабинет: проходя по коридору, он то и дело нервно оглядывался.

Но дело есть дело, и мистер Мандевиль решительно направился в противоположный конец коридора, где зеленая дверь уборной мисс Марони бросала вызов всему свету. Кучка актеров и прочих заинтересованных лиц толпилась у этой двери: можно было подумать, что они обсуждают, не пустить ли в дело таран. Один из них был известен широкой публике, фотографии его красовались на многих каминах, а автографы — во многих альбомах. Правда, Норман Найт служил в немного отсталом и провинциальном театре, где его амплуа еще называлось героем-любовником, но путь его лежал к более славным триумфам. Он был красив; сильный, раздвоенный подбородок и светлая челка придавали ему некоторое сходство с Нероном и не совсем вязались с его резкими, порывистыми движениями. Подле него стоял Ральф Рандол, пожилой характерный актер с насмешливым, острым лицом, синим от частого бритья и бесцветным от частого грима. Тут же был и второй любовник труппы, игравший чаще всего еще не совсем исчезнувшие роли «наперсника героя», — смуглый кудрявый юноша по имени Обри Вернон.

Была тут и горничная, или костюмерша жены Мандевиля, — весьма грозная особа с прилизанными рыжими волосами и твердым деревянным лицом. Была тут, между прочим, и сама жена Мандевиля, державшаяся на заднем плане, — тихая женщина с терпеливым лицом, классическим, строгим, удивительно бледным из-за светлых глаз и почти бесцветных волос, расчесанных на прямой пробор, как у очень древней мадонны. Мало кто знал, что некогда она была серьезной актрисой на роли интеллектуальных ибсеновских героинь. Но ее супруг был невысокого мнения о пьесах «с проблемами»; сейчас, во всяком случае, его

больше интересовала другая проблема — как извлечь упрямую итальянку из ее уборной.

— Она еще не вышла? — спросил он, обращаясь не столько к жене, сколько к ее деловой костюмерше.

— Нет, сэр, — мрачно ответила миссис Сэндс (так ее звали).

— Черт! — сказал Мандевиль со свойственной ему простотой. — Реклама — хорошая вещь, но такого рода реклама нам не нужна. Есть у нее друзья? Неужели она никого не слушается?

— Джервис говорит, с ней может справиться только ее священник, — сказал Рандол. — Если она там вешается на крючке для шляп, ему бы в самом деле лучше прийти. В общем, Джервис за ним пошел. Да вот и он сам.

Еще двое появились в конце коридора, проходящего под сценой. Один из них был Эштон Джервис, добрый человек, обычно игравший злодеев, но на сей раз передавший эту высокую честь курчавому, носатому Вернону. Другой, низенький и круглый, одетый во все черное, был отец Браун — священник из церкви, расположенной за углом.

— Я думаю, у нее были какие-нибудь основания так разобидеться, — сказал он. — Никто не знает, что случилось?

— Кажется, она недовольна своей ролью, — ответил старый актер.

— Это с ними всегда бывает! — пробурчал мистер Мандевиль. — А я думал, что моя жена все правильно распределила.

— Я отдала ей лучшую роль, — устало промолвила миссис Мандевиль. — Ведь все ушибленные театром девицы мечтают сыграть молодую красавицу героиню и выйти за молодого красавца героя под гром аплодисментов с галерки. Актриса моего возраста, конечно, должна отступить на задний план и играть почтенных матрон. Так я и сделала.

Отец Браун пробрался вперед и прислушивался, стоя у запертой двери.

— Ничего не слышно? — боязливо спросил Мандевиль и добавил тихо: — Как вы думаете, она ничего не натворила?

— Кое-что слышно, — спокойно ответил священник. — Судя по звуку, она разбивает окно или зеркало, по всей вероятности ногами. С собой она не покончит, в этом я

уверен. Перед самоубийством не бьют зеркала ногами. Если бы она была немкой и заперлась, чтобы поразмыслить на метафизические темы, я непременно предложил бы взломать дверь. Но итальянцы умирают не так-то просто; они неспособны покончить с собой в припадке ярости. Вот кого-нибудь убить... да, это они могут... Так что будьте поосторожней, если она выскочит.

— Стало быть, вы не советуете взламывать дверь? — спросил Мандевиль.

— Нет, если вы хотите, чтобы она играла, — ответил отец Браун. — Если вы взломаете дверь, она поднимет содом и уйдет из театра. Если вы оставите ее в покое, она, вероятнее всего, выйдет — просто из любопытства. Я бы, на вашем месте, оставил кого-нибудь сторожить дверь, а сам запасся терпением часа на два.

— В таком случае, — сказал Мандевиль, — давайте репетировать те сцены, в которых она не занята. Моя жена позаботится о реквизите. В конце концов, самый важный акт — четвертый. Начнем?

— Что вы репетируете? — спросил священник.

— «Школу злословия», — сказал Мандевиль. — Может, это и хорошая литература, но мне нужны пьесы. А жене нравятся эти классические комедии. По-моему, в них больше классики, чем смеха.

В эту минуту к ним подошел, ковыляя, старик прихватчик, которого все звали просто Сэмом, — единственный обитатель театра в те часы, когда нет ни репетиций, ни спектаклей. Он дал хозяину визитную карточку и сообщил, что его хочет видеть леди Мириам Марден. Мистер Мандевиль ушел, а отец Браун еще несколько секунд смотрел на его жену и увидел, что по ее увядшему лицу блуждает слабая, невеселая улыбка.

Потом он тоже вышел в фойе вместе с актером, который его привел, — своим близким другом и единоверцем, что не так уж редко в театральной среде. Уходя, он слышал, как миссис Мандевиль все тем же ровным тоном приказывала миссис Сэндс занять пост часового у запертой двери.

— Миссис Мандевиль, как видно, умная женщина, — сказал священник своему спутнику, — хотя и держится все время в тени.

— Когда-то она была очень интеллигентной, — грустно сказал Джервис. — Она отцвела и опустилась, выйдя замуж за такое ничтожество, как Мандевиль. У нее самые

высокие театральные идеалы. Но, разумеется, ей не часто удается привить их своему супругу и повелителю. Вы представляете, он хотел, чтобы такая женщина, как она, играла мальчишек в балаганных пантомимах! Он признавал, что она хорошая актриса, но говорил, что пантомимы выгодней. Из этого вы можете заключить, как чутко и внимательно он относится к людям. Но она никогда не жаловалась. Как-то она мне сказала: «Жалобы всегда возвращаются к нам, как эхо с другого конца света; а молчание укрепляет нашу душу».

И он указал на широкую черную спину Мандевиля, беседовавшего с двумя дамами, которые вызвали его в фойе. Леди Мириам была высокой, томной и элегантной дамой, красивой той современной красотой, которая взяла за образец египетскую мумию. Ее черные прямые стриженные волосы казались шлемом, а сильно накрашенные губы оттопыривались, что придавало лицу презрительное выражение. Ее спутница была очень живая дама с некрасивым, но привлекательным лицом и волосами, как бы посыпанными серебряной пудрой. Звали ее мисс Тереза Тальбот. Говорила главным образом она, леди Мириам казалась слишком усталой, чтобы говорить. Только когда Браун и Джервис проходили мимо, она нашла в себе силы сказать:

— Театр, вообще говоря, — скука. Но я никогда не видела репетиции в обыкновенных костюмах. Может быть, это забавно... В наши дни так трудно найти что-нибудь новое...

— Конечно, я могу дать вам ложу, — поспешно ответил Мандевиль. — Будьте добры, пройдите сюда. — И он повел их в другой коридор.

— Интересно, — задумчиво промолвил Джервис, — этот ли сорт женщин предпочитает Мандевиль?

— А какие у вас причины думать, — спросил священник, — что он вообще предпочитает кого-нибудь собственной жене?

Прежде чем ответить, Джервис не меньше секунды смотрел на него.

— Мандевиль — загадка, — серьезно сказал он. — Да-да, я знаю, что он похож на самого среднего обывателя. И тем не менее он — загадка. У него что-то на совести. Его жизнь что-то омрачает. Я совершенно случайно знаю об этом больше всех. Но я не могу понять то, что знаю.

Он огляделся — нет ли кого поблизости — и прибавил, понизив голос:

— Я не боюсь рассказать вам, ведь вы крепко храните тайны. Вчера меня очень поразила одна вещь. Вы знаете, что Мандевиль работает в маленьком кабинете в конце коридора, прямо под сценой. Так вот, мне дважды пришлось пройти мимо, когда все думали, что он там один. Более того, я оба раза точно знал, где все женщины из нашей труппы. Одни были у себя, других не было в театре.

— Все женщины? — переспросил Браун.

— У него была женщина, — почти шепотом сказал Джервис. — Какая-то женщина постоянно ходит к нему, и никто из пас ее не знает. Я даже не знаю, как она туда попадает — вход только из коридора. Кажется, я как-то видел какую-то даму в вуали или в капюшоне. Она бродила точно призрак около театра. Но это не призрак. Я думаю, это и не «интрижка». Скорее всего, тут пахнет шантажом.

— Почему? — спросил Браун.

— Потому, — сказал Джервис уже не серьезно, а мрачно, — что я слышал, как они ссорились. И под конец она сказала звонко и грозно три слова: «Я — твоя жена».

— Вы думаете, он двоеженец, — задумчиво сказал отец Браун. — Что ж, двоеженство и шантаж идут рука об руку. Кстати, репетиция, кажется, началась...

— Я не занят в этой сцене, — улыбнулся Джервис. — Сейчас репетируют только один акт — ждут, пока одумается ваша итальянка.

— А ведь верно, — заметил священник. — Интересно, одумалась ли она?

— Мы можем вернуться и поглядеть, если хотите, — сказал Джервис; и они снова спустились в коридор, одним концом упиравшийся в кабинет Мандевиля, а другим — в уборную синьоры Марони.

Недалеко от другого конца коридора они увидели актеров, поднимавшихся по лесенке на сцену. Впереди шли Вернон и старик Рандол — они очень торопились; миссис Мандевиль шла за ними своей обычной размеренной поступью, а Норман Найт, кажется, отстал нарочно, чтобы поговорить с ней. Браун и Джервис случайно услышали отрывок их разговора.

— Я вам говорю, к нему ходит женщина! — гневно говорил Найт.

— Тсс! — отвечала миссис Мандевиль своим серебристым голосом, в котором все же звенела сталь. — Вы не должны со мной так говорить. Помните, что он — мой муж.

— Хотел бы я об этом забыть! — сказал Найт и бросился на сцену.

— Не вы один знаете, — спокойно сказал Браун, — но вряд ли это наше дело.

— Да, — пробормотал Джервис. — Похоже на то, что это знают все, но об этом никто ничего не знает.

Они подошли к тому концу коридора, где грозный страж охранял итальянскую дверь,

— Нет, не выходила, — мрачно сказала миссис Сэндс. — И не умерла, двигается. Не пойму, какие она там еще фокусы задумывает.

— А вы, случайно, не знаете, мадам, — с неожиданной изысканностью обратился к ней Браун, — где сейчас мистер Мандевиль?

— Знаю, — ответила она. — Видела, прошел в кабинет минуты две назад. Только он вошел — помощник позвал всех на сцену и занавес подняли. Значит, там и сидит, вроде не выходил.

— Вы хотите сказать, что в его кабинете только один выход, — небрежно заметил Браун. — Ну, кажется, репетиция идет, несмотря на все причуды синьоры Марони.

— Да, — ответил Джервис, помолчав. — Я отсюда слышу голоса актеров. У старика Рандола прекрасно поставленный голос.

Оба замерли, прислушиваясь. Зычный голос старого актера действительно донесся до них. Но прежде чем они заговорили снова, до них донесся и другой звук.

Это был грохот, и раздался он за закрытой дверью маленького кабинета.

Браун пронесся по коридору, как выпущенная из лука стрела, и, прежде чем Джервис очнулся и побежал за ним, он уже дергал изо всех сил ручку двери.

— Заперто, — сказал он, поворачивая к актеру чуть побледневшее лицо. — Эту дверь надо взломать сейчас же.

— Вы думаете, — испуганно спросил Джервис, — что таинственная дама опять там? По-вашему, случилось... что-нибудь серьезное? — И прибавил, помолчав: — Кажется, я могу отворить. Я знаю такие замки.

Он опустил на колени, достал из кармана перочинный ножик с длинным лезвием, покопался немного в замке, и дверь распахнулась. Войдя, они сразу заметили, что в комнате нет второй двери и даже окна, а на столе горит большая лампа. Но еще раньше они увидели, что Мандевиль лежит ничком посередине комнаты и струйки кро-

ви ползут из-под его лица, словно алые змейки, зловеще сверкающие в этом неестественном пещерном свете.

Они не знали, как долго они глядели друг на друга, пока Джервис не сказал, словно освобождаясь от трудной мысли:

— Если та женщина сюда вошла, она как-то вышла.

— Может быть, мы о ней слишком много думаем, — сказал Браун. — В этом странном театре творится так много странного, что не все запоминаешь.

— О чем вы? — быстро спросил Джервис.

— О многом, — сказал Браун. — Ну, хотя бы о другой запертой двери.

— Да ведь в том-то и дело, что она заперта! — воскликнул актер.

— Тем не менее вы про нее забыли, — сказал священник.

Он помолчал, потом задумчиво прибавил:

— Эта миссис Сэндс — довольно неприятная особа.

— Вы думаете, она соврала и мисс Марони вышла из уборной? — тихо спросил актер.

— Нет, — спокойно ответил священник. — Это просто-напросто отвлеченное предположение.

— Неужели вы думаете, — крикнул актер, — что его убила миссис Сэндс?

— А это и вовсе нельзя предположить, — сказал отец Браун.

Пока они обменивались этими короткими фразами, Браун встал на колени около тела и удостоверился, что перед ними труп. Недалеко, но так, что с порога его не было видно, лежал театральный кинжал; казалось, он выпал из рапы или из рук убийцы. Джервис сразу увидел, что кинжал — из реквизита и ни о чем не говорит; разве что эксперты найдут на нем отпечатки пальцев. Тогда священник встал и внимательно оглядел комнату.

— Надо послать за полицией, — сказал он. — И за доктором, хоть это и поздно... Вот я смотрю па комнату и не понимаю, как наша итальянка могла это сделать.

— Итальянка? — воскликнул Джервис. — Ну нет! Помоему, если у кого есть алиби, так только у нее. Две комнаты, обе заперты, в разных концах коридора, и у одной еще сидит часовая.

— Нет, — сказал Браун. — Не совсем так. Вопрос в том, как она проникла сюда, а как она выбралась из своей уборной, я себе представляю.



— Неужели? — спросил Джервис.

— Я говорил вам, — сказал Браун, — что я слышал, как разбилось стекло — окно или зеркало. По глупости я забыл одну хорошо мне известную вещь: синьора Марони очень суеверна. Она ни за что не разбила бы зеркала. Значит, она разбила окно. Правда, ее уборная в подвальном этаже, но там, наверное, есть какое-нибудь окошко на улицу или во двор. А вот тут нет никаких окон.

Он поднял голову и долго разглядывал потолок.

Вдруг он быстро заговорил.

— Надо подняться наверх, позвонить, всем сказать... Какой ужас! Господи... Слышите? Они там кричат, декламируют. Комедия продолжается. Кажется, это называют трагической иронией.

Когда театр волей судьбы превратился в дом скорби, всей труппе предоставилась возможность проявить удивительные качества, присущие актерам. Мужчины вели себя как истинные джентльмены, а не только как герои-любовники. Не все любили Мандевиля, и не все доверяли ему, но они сумели сказать о нем именно то, что нужно. А по отношению к вдове они проявили не только сочувствие, но и величайшую деликатность.

— Она всегда была сильной женщиной, — говорил старик Рандол. — Во всяком случае, она умнее всех нас. Конечно, бедняге Мандевилю до нее далеко, но она всегда была ему образцовой женой. Как трогательно она иногда говорила: «Хотелось бы жить более интеллектуальной жизнью...» А Мандевиля... Впрочем, о мертвых — ничего, кроме хорошего. Так, кажется, говорят?

И старик отошел, грустно качая головой.

— Как же, «ничего, кроме хорошего»! — хмуро заметил Джервис. — Впрочем, он, я думаю, не знает о таинственной посетительнице. Кстати, вам не кажется, что его убила загадочная женщина?

— Это зависит от того, — сказал священник, — кого вы называете загадочной женщиной.

— Ну не итальянку же! — поспешно сказал Джервис. — Да, в отношении ее вы были совершенно правы. Когда взломали дверь, оказалось, что окошко наверху разбито и комната пуста. Но, насколько удалось выяснить полиции, она просто-напросто пошла домой. Нет, я имею в виду женщину, которая ему тайно угрожала, женщину,

которая называла себя его женой. Как вы думаете, она действительно его жена?

— Возможно, — сказал отец Браун, глядя в пространство, — что она его жена.

— Тогда есть мотив: ревность, — сказал Джервис. — Она ревновала его ко второй жене. Ведь у него ничего не взяли, так что нечего строить догадки о вороватых слугах или бедствующих актерах. А вот вы заметили странную, исключительную особенность?

— Я заметил много странного, — сказал отец Браун. — Вы о чем?

— Я имею в виду общее алиби, — сказал Джервис. — Не часто случается, чтобы у всех сразу было такое алиби: они играли на освещенной сцене, и все могут друг за друга поручиться. Нашим положительно повезло, что бедняга Мандевиль посадил в ложу тех дамочек. Они могут засвидетельствовать, что весь акт прошел без сучка и задоринки и никто не уходил со сцены. Репетицию начали именно тогда, когда Мандевиль ушел к себе. И, по счастливому совпадению, в ту секунду, когда мы услышали грохот, все были заняты в общей сцене.

— Да, это действительно очень важно и упрощает задачу, — согласился Браун. — Давайте посчитаем, кого именно покрывает это алиби. Во-первых, Рандол. По-моему, он терпеть не мог директора, хотя теперь старательно скрывает свои чувства. Но его надо исключить — именно его голос донесся к нам тогда со сцены. Далее — мистер Найт. У меня есть основания думать, что он влюблен в миссис Мандевиль и не скрывает своих чувств. Но и он вне подозрения — он тоже был на сцене, на него и кричал Рандол. На сцене были Обри Вернон, миссис Мандевиль — стало быть, исключим и их. Их общее алиби, как вы это назвали, зависит преимущественно от леди Мириам и ее подруги. Правда, и здравый смысл подсказывает, что если акт прошел гладко — значит, перерыва не было. Но законы, с точки зрения суда, только показания леди Мириам и ее подруги, мисс Тальбот. Они-то вне подозрения, как вы полагаете?

— Леди Мириам? — удивленно переспросил Джервис. — О да! Вас, наверное, смущает, что она похожа на вампира. Но вы и не знаете, как нынче выглядят дамы из лучшего общества... Почему нам сомневаться в их словах?

— Потому, что они опять заводят нас в тупик, — сказал Браун. — Разве вы не видите, что это алиби фактиче-

ски исключает всех? Кроме тех четырех, ни одного актера не было в театре. И служители вряд ли были, только Сэм сторожил вход, а та женщина была у двери мисс Марони. Значит, остаемся только мы с вами. Нас, безусловно, могут обвинить, тем более что мы нашли труп. Больше обвинять некого. Вы, часом, его не убили, когда я отвернулся?

Джервис взглянул на него, замер па секунду, снова широко улыбнулся и покачал головой.

— Вы его не убили, — сказал отец Браун. — Допустим на минуту, исключительно для связности, что и я его не убивал. Актеры, бывшие на сцене, вне подозрения, так что остаются итальянка за дверью, горничная перед дверью и старик Сэм. А может, вы думаете о дамах в ложе? Конечно, они могли незаметно выскользнуть.

— Нет, — сказал Джервис, — я думаю о незнакомке, которая пришла к Мандевилю и сказала, что она его жена.

— Может быть, она и была его женой, — сказал священник, и на этот раз его ровный голос звучал так, что его собеседник вскочил на ноги и перегнулся через стол.

— Мы говорили, — сказал он тихо и нетерпеливо, — что первая жена могла ревновать его ко второй.

— Нет, — возразил Браун. — Она могла ревновать к итальянке или, скажем, к леди Мириам. Но ко второй жене она не ревновала.

— Почему?

— Потому что второй не было, — сказал отец Браун. — Мандевиль — не двоеженец. Он, по-моему, исключительно моногамен. Его жена бывала с ним, я сказал бы, слишком часто — так часто, что вы по широте душевной решили, что это другая. Но я не могу понять, как она сумела быть с ним тогда. Она все время была на сцене. Ведь она играла одну из главных ролей...

— Неужели вы всерьез думаете, — воскликнул Джервис, — что незнакомка — просто миссис Мандевиль?

Ответа не было. Браун смотрел в пространство бессмысленным, почти идиотским взором. Он всегда казался идиотом, когда его ум работал особенно напряженно.

— Какой ужас, — сказал он. — По-моему, это самое тяжелое из всех моих дел. Но я должен через это пройти. Будьте добры, пойдите к миссис Мандевиль и спросите ее, не могу ли я поговорить с ней с глазу на глаз.

— Пожалуйста! — сказал Джервис и направился к выходу. — Но что с вами?

— Ах, я просто дурак, — ответил Браун. — Это часто бывает в нашей юдоли слез. Я такой дурак, что забыл, какую пьесу они репетируют.

Он беспокойно шагал по комнате, пока не вернулся Джервис.

— Ее нигде нет, — сказал он. — Никто ее не видел.

— И Нормана Найта, наверное, тоже никто не видел? — сухо спросил отец Браун. — Ну что ж, мне удалось избежать самого тяжелого в моей жизни разговора. Я чуть было не испугался этой женщины. Но и она меня испугалась — испугалась каких-то моих слов или решила, что я что-то увидел. Найт все время умолял ее бежать с ним. Ну вот, она бежала, и мне его от всей души жаль.

— Его? — спросил Джервис.

— Не так уж приятно бежать с убийцей, — бесстрастно сказал его друг. — А она ведь гораздо хуже, чем убийца.

— Кто же хуже убийцы?

— Эгоист, — сказал отец Браун. — Она из тех, кто смотрит в зеркало раньше, чем взглянуть в окно, а это самое скверное, на что способен человек. Что ж, зеркало принесло ей несчастье именно потому, что не было разбито.

— Я ничего не понимаю, — сказал Джервис. — Все думали, что у нее самые высокие идеалы... что она в духовном плане гораздо выше нас.

— Она сама так думала, — сказал отец Браун. — И умела внушить это всем. Может быть, я в ней не ошибся потому, что так мало ее знал. Я понял, кто она такая в первые же пять минут.

— Ну что вы! — воскликнул Джервис. — С итальянкой она вела себя безукоризненно.

— Она всегда вела себя безукоризненно, — сказал Браун. — В вашем театре мне все рассказывали, какая она тонкая и деликатная и насколько она духовно выше бедняги Мандевиля. Но все эти тонкости и деликатности сводились в конце концов к тому, что она — леди, а он — не джентльмен. Знаете, я не совсем уверен, что в рай пускают именно по этому признаку.

— Что касается прочего, — продолжал он все горячее, — я из первых ее слов понял, что она поступила не совсем честно с бедной итальянкой, несмотря на всю свою утонченность и холодное великодушие. Об этом я тоже догадался, когда узнал, что у вас идет «Школа злословия».

— Не спешите так! — растерянно сказал Джервис. — Не все ли равно, какая идет пьеса?

— Нет, не все равно, — ответил Браун. — Она сказала, что отдала итальянке роль прекрасной героини, а сама удовольствовалась ролью пожилой матроны. Все это было бы правильно в любой пьесе, но не в этой. Ее слова могли значить одно: итальянке она дала роль Марии. Разве же это роль? А скромная и незаметная матрона — это же леди Тизл! Только ее и захочет играть любая актриса. Если итальянка действительно «звезда» и ей обещали перво-классную роль, у нее были все основания беситься. Вообще итальянцы зря не бесятся. Римляне — люди логичные и не сходят с ума без причины. Эта деталь показала мне ясно пресловутое великодушие миссис Мандевиль. И еще одно. Вы рассмеялись, когда я сказал, что мрачный вид миссис Сэндс дает мне материал для характеристики, но не для характеристики миссис Сэндс. Так оно и есть. Если вы хотите узнать женщину, не присматривайтесь к ней — она может оказаться слишком умной для вас. Не присматривайтесь к окружающим ее мужчинам — они могут видеть ее по-своему. Присмотритесь к женщине, которая всегда с ней, лучше всего — к ее подчиненной. В этом зеркале вы увидите ее настоящее лицо. А лицо, отраженное в миссис Сэндс, было отталкивающее.

— Что ж я увидел еще? Все говорили мне, что бедный Мандевиль — ничтожество. Но это всегда означало, что он не стоит своей жены, и, я уверен, такие толки косвенно шли от нее. Да и они — не в ее пользу. Судя по тому, что говорили ваши актеры, она каждому из них рассказывала о своем интеллектуальном одиночестве. Вы сами сказали, что она никогда не жалуется, и тут же привели ее слова о том, как молчание укрепляет ее душу. Вот оно! Этот стиль ни с чем не спутаешь. Те, кто жалуется, — просто обычные, хорошие, надоедливые люди; я ничего против них не имею. Но те, кто жалуется, что никогда не жалуется, — это черт знает что! Да, именно черт. Разве это хвастовство своей стойкостью — не самая суть байроновского культа сатаны? Все это я слышал. Однако я никогда не слышал, чтобы она пожаловалась на что-нибудь конкретное. Никто не говорил, что ее муж пьет, или бьет ее, или не дает ей денег, или хотя бы просто неверен ей, если не считать слухов о таинственной посетительнице. Но это она сама мелодраматически терзала его монологами в его собственном кабинете. И вот когда увидишь факты, а не ту атмосферу мученичества, которую она сама вокруг себя создала, все выглядит совсем иначе. Чтобы ей угодить,

Мандевиль перестал ставить пантомимы, приносящие ему доход. Чтобы ей угодить, он стал выбрасывать деньги на классику. Она распорядилась на сцене как хотела. Она потребовала пьесу Шеридана — ее поставили. Ей захотелось сыграть леди Тизл — ей дали эту роль. Ей пришлось в голову устроить в тот самый час репетицию без костюмов — и репетицию устроили. Обратите внимание на то, что ей этого захотелось.

— Но какой смысл во всей вашей речи? — спросил актер, удивленный, что его немногословный друг говорил так долго. — Мы углубились в психологию и далеко ушли от убийства. Она сбежала с Найтом; она одурачила Рандола; она одурачила, допустим, и меня. Но мужа своего она не могла убить. Все сходятся на том, что она была на сцене. Может быть, она — плохой человек, но она — не ведьма.

— Ну, я не так уж уверен, — улыбнулся отец Браун. — Но здесь и не нужно ведовства. Я знаю теперь, что она сделала. Это очень просто.

— Откуда же вы знаете? — спросил Джервис, удивленно глядя на него.

— Потому что репетировали «Школу злословия», — ответил отец Браун, — и именно четвертый акт. Я позволю себе еще раз вам напомнить, что она расставляла декорации и мебель на сцене, как ей нравится. И еще я напомню вам, что сцена вашего театра специально приспособлена для постановки пантомим — тут должны быть люки и запасные выходы. Вы говорите, свидетели могут подтвердить, что все актеры были на сцене. А я напомню вам, что в этой сцене одно из действующих лиц находится на сцене, но никто его не видит. Один человек формально на сцене, но фактически может уйти. Помните то место, где леди Тизл прячется за экран? Вот оно, алиби миссис Мандевиль.

Наступило молчание. Потом актер сказал:

— Вы думаете, она спустилась через люк в его кабинет?

— Как-то она туда вошла, вероятнее всего именно так. Это тем более вероятно, что она нарочно устроила репетицию без костюмов. Нелегко скользнуть в люк в кринолине восемнадцатого века. Есть и другие сложности, но все можно объяснить.

— Я одного не могу объяснить! — сказал Джервис и чуть ли не со стоном опустил голову на руки. — Я просто не могу поверить, что такая светлая, спокойная женщина

могла до такой степени потерять, как говорится, власть над своей плотью, не говоря уж о душе. Были у нее веские причины? Она очень сильно любила Найта?

— Надеюсь, — ответил Браун. — Это было бы для нее единственным оправданием. К сожалению, я в этом сильно сомневаюсь. Она хотела избавиться от мужа — отсталого, провинциального дельца, к тому же не слишком преуспевающего. Она мечтала стать блестящей женой блестящего актера. Но скандала она боялась — ей не хотелось участвовать в житейской школе злословия. На бегство она решилась бы только в крайнем случае. Ею владела не человеческая страсть, а какое-то дьявольское преклонение перед условностями. Она постоянно изводила мужа, требовала, чтобы он развелся с ней или как-нибудь иначе ушел с ее дороги. Он отказался — и она рассчиталась с ним. И еще одну вещь я хочу вам напомнить. Говорят, что у этих сверхлюдей особенно высокое искусство, философский театр и прочее. Но вспомните, какова почти вся их философия! Какую дрянь они выдают за возвышенный образ мыслей! «Воля к власти», «право на жизнь», «право сильного»... Вздор и чепуха, тем более страшные, что они могут совратить неискушенного!

Отец Браун нахмурился, что с ним случалось весьма редко. И морщины на его лбу не разгладились, когда он взял шляпу и вышел в ночь.

## *Рассказы о людях театра*

Я оказалась первым читателем этой книги.

Английские и американские писатели взволнованно и страстно говорят о театре. Честно, подчас грубо, без прикрас, без грима показывают они будничную жизнь артиста, раскрывая перед читателем его душу, полную высоких, благородных мечтаний. Показывают его повседневный труд, требующий неимоверного напряжения. Каждая страница этих удивительных историй как бы освещена и согрета особым, негасимым огнем творческого горения. Все это не могло не привлечь внимания.

Мне дороги и понятны герои этих рассказов, понятны их радости и огорчения, их неустанные поиски, дорого их святое чувство служения сцене.

Многое здесь напомнило историю нашего русского до-революционного театра, трагические судьбы наших артистов. А герои этих рассказов в большинстве своем — наши современники. Тем острее воспринимается правда их жизни, показанная талантливыми и честными писателями.

Я познакомилась с самыми различными героями — детьми и стариками, бездарными, посредственными и гениальными, умирающими в нищете, и прославленными «звездами», растерявшими свой талант в коммерческом театре.

Рассказы о судьбах актеров дают широкую картину жизни общества. Даже в самых идиллических историях, посвященных судьбам детей, при всем желании авторов придать своим повествованиям мажорное звучание, то там, то здесь прорываются настораживающие потки страха перед будущим этих талантливых людей, таких беззащитных в буржуазном мире.



Меня очень взволновала судьба Мелиссы, с малых лет вынужденной зарабатывать деньги на сцене театра. А мисс Боббит («Дети в день рождения») — автор ведь не случайно так рано обрывает жизнь этой поразительно одаренной девочки. Среди всеобщего поклонения она так и не встретила необходимого ей понимания и сочувствия...

Судьба старых, заслуженных артистов... Их талант, умноженный необычайным мастерством, вызывает всеобщее восхищение. И — не парадоксально ли? — именно они оказываются выброшенными за борт искусства. Это и спившийся «жилец», в прошлом известный драматический артист («Одержимость»), и старый трагедийный актер из рассказа «Моа». Потерявший рассудок, он продолжает играть (и как!) перед пустым зрительным залом заброшенного театрального здания. И только такой же бездомный, как сам артист, нищий мальчуган шумно аплодирует старику, изображая восторги несуществующих зрителей.

Герои в рассказе «Громовержец», этот на редкость одаренный актер, прозябает где-то в затхлом провинциальном театре и влачит полунищенское существование. Лишь единожды удалось ему тайком пробраться в зал столичного театра, где репетировалась пьеса, в которой он мечтал сыграть главную роль.

Он спрятался на балконе, и оттуда раздался его насмешливый хохот. Мэйфорту не оставалось ничего иного, как «попросить» Герона помочь исполнителям. И вот скромная, болезненного вида фигура в старом свитере появилась на сцене — Герон, заменив режиссера, перестраивает мизансцены, показывает самому Мэйфорту, как надо играть эту роль — роль, которую Мэйфорт, в сущности, украл у Герона.

Герои — это гениальный артист, бескорыстный и самоотверженный рыцарь сцены. По-своему примечателен и образ Мэйфорта, прославленного бродвейского актера салонного толка.

Пожалуй, наибольшего расцвета и признания своего таланта достигает Плюшка, героиня рассказа «Одержимость». Но каким путем! И какого таланта! Свой путь в искусстве Плюшка прокладывает с единственной целью — прославиться. Родившейся в нищете, не знавшей даже материнской ласки, этой неграмотной девочке, собиравшей куски с чужих тарелок, чтоб расплатиться ими за уроки у актера, были чужды какие бы то ни было представления об искусстве. Поразительная ее настойчивость приво-

дит к победе. Ее называют самой смешной актрисой мира. Это приносит ей славу.

В чем же сила ее дарования? Оказывается, в уникальности — зрители смеются, видя ее в роли... Джульетты. Трагедийную роль играла она как фарсовую... Причем на самом высоком профессиональном уровне, вызывающем удивление самых строгих, опытных ценителей.

Мучительны и беспросветны творческие и житейские пути героев рассказов «Провидение и гитара», «Работа», «Ритм». Не может радовать нас судьба героини даже такого «благополучного», сдобренного сентиментальной концовкой рассказа, как «Кукла в розовом платье». Выгодное замужество, отказ от сцены в этом мире, — пожалуй, единственный верный путь для самой расталантированной актрисы, как бы утверждает автор.

Конечно, в капиталистических странах есть деятели искусства, умеющие отстаивать свое право. Многие из них знакомы и нам, советским артистам; радостно бывает встречаться с ними, видеть их работы, отмеченные духом гуманизма и подлинного художественного вкуса. В рассказах, вошедших в этот сборник, отчетливо звучит стремление многих персонажей к настоящему искусству.

Рассказы различны по жанру — здесь и психологическая новелла, и фапстатика, и детектив.

В реалистических картинах жизнеописаний артистов я не встретила бесстрастной фиксации того, что бездумно попадает в поле зрения. При всей разностильности (и в этом — ценность сборника) рассказов их содержание подчинено главному — изображению сложных процессов творческой деятельности.

Воспитательное значение сборника очень велико. Ценность же этой книги для нас, советских артистов, в том, что, знакомясь с жизнью героев этих рассказов, мы еще и еще раз сможем оценить то всенародное уважение, которое ощущаем мы в нашей стране повседневно.

В рассказах этих много горечи — такова уж жизнь героев. Но много и света, излучаемого искусством.

И еще одно — эмоциональность! Эта книга увлекательна. Рассказы проникнуты высоким гражданским пафосом и отмечены подлинным талантом и мастерством. Мне кажется, книга вызовет доброе чувство читателей.

В. МАРЕЦКАЯ

## *Об авторах*

**Мериленд Райли Аллен (Maryland Riley Allen).** Американская писательница. Рассказ «Одержимость» («The urge») опубликован в ежегоднике рассказов американских писателей за 1921 год, отмеченных премией имени О'Генри («O'Henry Memorial Award; Prize Stories of 1921», 1922).

**Перл Бак (Pearl S. Buck; р. 1892).** Известная американская писательница, автор романов, рассказов и очерков; многие из них переведены на русский язык. Лауреат Пулитцеровской (1931), а затем Нобелевской премий по литературе (1938). Рассказ «Мелисса» («Melissa») переведен по тексту, опубликованному в сборнике «Fourteen stories» (1961).

**Арнольд Беннет (Arnold Bennet; 1867—1931).** Известный английский прозаик, автор романов, рассказов, пьес и критических статей; некоторые переведены на русский язык. Мастер короткого рассказа. Рассказ «Две стороны медали» («Outside and inside», буквально — «Снаружи и внутри») напечатан в сборнике «Elsie and the child and other stories» (1924).

**Джеймс Болдуин (James Baldwin; р. 1924).** Известный американский прозаик, по мнению многих критиков — самый значительный из современных негритянских писателей США. Был актером, хорошо знает театр. Автор романов и пьес, а также сборника рассказов «Встреча с человеком» («Going to meet the man», 1965), где и был опубликован рассказ «Возвращение» («Previous condition», буквально — «Прежнее состояние»).

**Генри Джеймс (Henry James; 1843—1916).** Известный американский писатель, автор многих романов и рассказов. Рассказ «Частная

жизнь» («Private life») переведен по тексту, опубликованному в сборнике «The altar of the dead and other stories» (1922).

**Вашингтон Ирвинг (Washington Irving; 1783—1859).** Первый американский писатель, получивший международное признание. Плодотворно работал в различных прозаических жанрах — новеллы, очерка, эссе. Многие произведения Ирвинга переведены на русский язык. Рассказ «Антрепренер бродячей труппы» («Strolling manager») переведен по тексту, опубликованному в сборнике «Tales of a traveller» (1824).

**Джек Иэмс (Jack Iams; р. 1910).** Американский писатель и журналист. Рассказ «Актер» («The trouper») переведен по тексту, опубликованному в сборнике «Лучшие театральные рассказы» («Best theater stories», 1968).

**Трумэн Капоте (Truman Capote; р. 1924).** Современный американский писатель. Известен как мастер психологической прозы. Творчество Т. Капоте глубоко гуманистично, характеризуется пристальным интересом к внутреннему миру «маленького человека» (роман «Обыкновенное убийство», повесть «Завтрак у Тиффани» и сборник рассказов «Голоса травы»). Рассказ «Дети в день рождения» («Children on their birthdays») переведен по тексту сборника «The grass harp and a tree of night» (1961).

**Джеральд Керш (Gerald Kersh; р. 1909).** Современный английский писатель, автор многих романов и сборников рассказов. С некоторыми его произведениями советский читатель уже знаком. Рассказ «Поденщик» («The hack») переведен по тексту, опубликованному в сборнике его рассказов «Men without bones» (1955).

**Ирвин Шрусбери Кобб (Irwin Shrewsbury Cobb; 1876—1944).** Американский прозаик, драматург и киносценарист, популярный в первой трети XX века. Рассказ «Моа» («The great auk», буквально — «Исполинская гагарка») переведен по тексту, опубликованному в антологии «Best short stories of 1916».

**Ринг Ларднер (Ring Lardner; 1885—1933).** Американский новеллист, журналист. Рассказы «Один день в обществе Конрада Грина» («A day with Conrad Green») и «Ритм» («Rhythm») переведены по тексту полного собрания его новелл («The collected short stories of Ring Lardner», 1929).

**Виктория Эндикотт Линкольн (Victoria Endicott Lincoln; р. 1904).** Американская писательница, автор многих романов и рассказов.

Рассказ «Моя артистическая карьера» («My experiences on the American stage», буквально — «То, что я пережила на американской сцене») переведен по тексту, опубликованному в сборнике «Grandmother and the comet» (1944).

**Леонард Меррик (Leonard Merrick; 1864—1939).** Английский драматург, романист и новеллист. Многие свои произведения посвятил театру. Рассказ «Кукла в розовом платье» («Doll in a pink silk dress», буквально — «Кукла в розовом шелковом платье») переведен по тексту, опубликованному в сборнике «The bedside book of famous British short stories» (1940).

**Уильям Сомерсет Моэм (William Somerset Maugham; 1874—1965).** Английский писатель. Автор многих книг различных жанров — романов, рассказов, пьес, литературно-критических этюдов, мемуаров. Рассказ «Голос горлицы» («The voice of the turtle») переведен по тексту, опубликованному в Полном собрании сочинений писателя (W. Somerset Maugham, The collected editions of the works, vol. 1—21, 1934—1959).

**Шон О'Кейси (Sean O'Casey; 1884—1964),** Известный английский писатель, ирландец по происхождению. Художественная проза, публицистика, драматические произведения Шона О'Кейси, посвященные национально-освободительной борьбе ирландцев, борьбе трудового народа за свои права, широко известны советскому читателю. Рассказ «Работа» («The job») переведен по тексту, опубликованному в сборнике «The green crow» (1956).

**Джон Бойнтон Пристли (John Bointon Priestley; р. 1894).** Английский прозаик и драматург, автор многих романов, пьес, рассказов; некоторые из них переведены на русский язык и пользуются широкой популярностью в нашей стране. Рассказы «Король демонов» («The demon king») и «Мой дебют в опере» («My debut in opera») переведены по тексту, опубликованному в сборнике его рассказов «Going up?» (1952).

**Роберт Луис Стивенсон (Robert Louis Stevenson; 1850—1894).** Английский писатель, представитель школы неоромантиков. Автор авантюрно-приключенческих романов («Остров сокровищ», «Черная стрела» и др.). Писал также рассказы, стихи, статьи, пьесы. Рассказ «Провидение и гитара» («Providence and the guitar») переведен по тексту Полного собрания сочинений (R. L. Stevenson, The works, 1924).

**Вирджиния Трейси (Virginia Tracy).** Американская писательница, автор книги рассказов о театре «Просто актеры» («Merely players»). Рассказ «Громовержец» («Giant's thunder», буквально — «Гром великана») был напечатан в сборнике лучших американских рассказов 1926 года («The best short stories of 1926. II. American», 1926).

**Гилберт Кит Честертон (Gilbert Keith Chesterton; 1874—1936).** Английский писатель, журналист и критик. Романы Честертон в серия новелл о «патере Брауне» построены на острой, занимательной интриге, изобилуют парадоксами, представляют собой своеобразные памфлеты, направленные против правящих кругов Англии. Рассказ «Алиби актрисы» («Actress and the alibi») переведен по тексту, опубликованному в сборнике «Father Brown omnibus» (1935).

## Содержание

<b>Мериленд Аллен. Одержимость</b> . . . . .	5
Перевод Л. Беспаловой	
<b>Перл Бак, Мелисса</b> . . . . .	25
Перевод Б. Ключевой	
<b>Арнольд Беннет. Две стороны медали</b> . . . . .	42
Перевод М. Кан	
<b>Джеймс Болдуин. Возвращение</b> . . . . .	56
Перевод Р. Рыбкина	
<b>Генри Джеймс. Частная жизнь</b> . . . . .	73
Перевод Р. Рыбаковой	
<b>Вашингтон Ирвинг. Антрепренер бродячей труппы</b> . . . . .	110
Перевод И. Гуровой	
<b>Джек Иэмс. Актер</b> . . . . .	121
Перевод Н. Трауберг	
<b>Трумэн Капоте. Дети в день рождения</b> . . . . .	133
Перевод С. Митиной	
<b>Джеральд Керш. Поденищик</b> . . . . .	155
Перевод Р. Рыбкина	
<b>Ирвин Кобб. Моа</b> . . . . .	162
Перевод Л. Васильевой	
<b>Ринг Ларднер. Один день в обществе Конрада Грина</b> . . . . .	187
Перевод Р. Рыбкина	
<b>Ринг Ларднер. Ритм</b> . . . . .	201
Перевод Р. Рыбкина	

<b>Виктория Линкольн.</b> <i>Моя артистическая карьера.</i> . . . . .	212
Псу) ев од М. Кригер	
<b>Леонард Меррик.</b> <i>Кукла в розовом платье.</i> . . . . .	218
Перевод Ю. Жу копой	
<b>Сомерсет Моэм.</b> <i>Голос горлицы.</i> . . . . .	235
Перевод Е. Вансловон	
<b>Шон О'Кейси.</b> <i>Работа.</i> . . . . .	252
Перевод С. Мити ной	
<b>Джон Бойнтон Пристли.</b> <i>Король демонов.</i> . . . . .	260
Перевод В. Ашкенази	
<b>Джон Бойнтон Пристли.</b> <i>Мой дебют в опере.</i> . . . . .	274
Перевод В. Ашкенази	
<b>Роберт Л. Стивенсон.</b> <i>Провидение и гитара.</i> . . . . .	279
Перевод Н. Трауберг	
<b>Вирджиния Трейси.</b> <i>Громовержец,</i> . . . . .	302
Перевод Г. Головнева	
<b>Гилберт Кит Честертон.</b> <i>Алиби актрисы.</i> . . . . .	336
Перевод Л. Больнганновон	
<b>Рассказы о людях театра.</b> . . . . .	351
Послесловие В. Марецкой	
<b>Об авторах.</b> . . . . .	354



Моя артистическая карьера. Пер. с англ. Пос-  
М 87 лел. В. Марецкой. М., «Искусство», 1974.

360 с. (Рассказы зарубежных писателей)

На обороте тит. л. сост.: Р. Л. Рыбкин.

В книгу вошли произведения английской и американской литературы. Герои этих рассказов и новелл — актеры и писатели, художники и музыканты, посвятившие свою жизнь театру. Здесь представлены и произведения писателей прошлого века и современные рассказы. По жанрам это и психологическая новелла, и детектив, и сатира, и фантастика.

М 80105-102 46-72  
025(01)-74

063